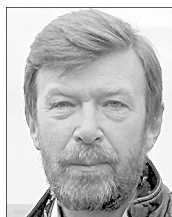


ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 2 (3 7) / 2 0 2 1



ЕВГЕНИЙ
ЮШИН
Москва

4



ИГОРЬ
ГОЛУБЬ
Калининград

9



ЛАРИСА
БУХВАЛОВА
г. Павлово
Нижегородской обл.

20



МИХАИЛ
ТАРКОВСКИЙ
с. Бахта Краснояр-
ского края

25



АЛЕНА
БАЙКИНА
г. Выкса
Нижегородской обл.

36



АНДРЕЙ
НОВИКОВ
Липецк

40



ЛЮДМИЛА
БРАГИНА
Белгород

79



ВАЛЕРИЙ
МАККАВЕЙ
Нижний Новгород

97



ПЕТР
РОДИН
р.п. Воскресенское
Нижегородской обл.

115



АНДРЕЙ
УХЛИН
г. Выкса
Нижегородской обл.

136



НИКОЛАЙ
БЕНЕДИКТОВ
Нижний Новгород

182



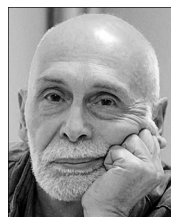
ФЕДОР
СЕЛЕЗНЕВ
Нижний Новгород

192



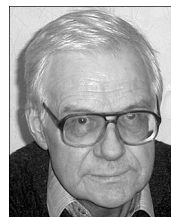
АЛЕКСАНДР
ЦИРУЛЬНИКОВ
Нижний Новгород

195



ЛЕОНИД
ЮЗЕФОВИЧ
Москва-С.-Петербург

231



ЭДУАРД
ЮЗНЕЦОВ
Нижний Новгород

236

16+

В НОМЕРЕ

Поэзия

Евгений ЮШИН	
СМОТРИТ РОДИНА НА МЕНЯ....	4
Игорь ГОЛУБЬ	
НО СЛОВО ВО МНЕ ГОРЧИЛО...	9
Людмила МЕЖИНЬШ	
МЫ – ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ МАТЕРЕЙ СВЯТОЙ РУСИ...	13
Семён ЭПШТЕЙН	
В СУХИХ ЛЕСАХ КУКУШКИ НЕ КУКУЮТ...	17
Лариса БУХВАЛОВА	
НИТОЧКА ПОСКОННАЯ, НЕБЕСНАЯ	20

Проза

Михаил ТАРКОВСКИЙ	
СКВОРЕЧНИК	25
Алена БАЙКИНА	
МЫШКИНЫ СЛЕЗКИ	36
Андрей НОВИКОВ	
ЕСЛИ ПОВСТРЕЧАЕТЕ ЗОЛОТО...	40
КНИЖНЫЕ ЛЮДИ	46
Максим ВАСЮНОВ	
ПРИВЕТ, ФИДЕЛЬ!	50
Георгий КУЛИШКИН	
ПРИЮТ В ПРИЮТЕ	59
Людмила БРАГИНА	
О СЧАСТЬЕ	79
ОКОШКО	86
Павел ЛАКАЕВ	
ПЕРЛ-ХАРБОР	88
Юлия РЯДИНСКАЯ	
КОРОБКА	91
Валерий МАККАВЕЙ	
ФИЛОСОФИЯ СПИЧЕЧНЫХ КОРОБКОВ	97

Поэзия

Людмила КУЗНЕЦОВА-КИРЕЕВА	
...ДАРИТЕЛЬ ДНЕЙ, СТИХАМИ ГОВОРЯЩИХ	101
Валерий СКОБЛО	
КТО ОКЛИКАЕТ НАС НОЧЬЮ... ВО СНЕ... СРЕДИ ТЬМЫ?..	105
Марина ЩЕЛОКОВА	
ОПУСТИТЬ ГЛАЗА И НАЙТИ РАСПЯТИЕ...	108
Виктор ЛЯПИН	
МНЕ ПРИСНИЛИСЬ СЧАСТЛИВЫЕ ГЛАЗА МИНОТАВРА.	111
Петр РОДИН	
РОДНАЯ МОЯ ГЛУХОМАНЬ	115

Проза

Павел ЧХАРТИШВИЛИ	
МАЛКЕ	119
СБЕРЕЖЕНИЯ, КИСЕЛЬ И ЛОЖЕЧКА	133
Андрей УХЛИН	
БОГ ТЕРПЕЛ...	136

Лев ГРИГОРЯН	
АЛИСА	142
Светлана СЕРГЕЕВА	
ЖИЗНЬ РАДИ ПРАЗДНИКА	162
Анжелика ФОРС	
АВРОРЫ	165
Амина СЕРКАЛИЕВА	
ЯБЛОНЯ	168
Инна ЧАСЕВИЧ	
ФА, СИ, ЛЯ...	171

Стихи по кругу

Роман КРУЧИНИН	174
Константин СТРУКОВ	175
Софья РЫБКИНА	177
Павел РОСЛАВСКИЙ	177
Лариса ДЕГТЯРЕВА	178
Надежда СЛЕПЦОВА	178
Александр ОФИЦЕРОВ	179
Светлана КРЮКОВА	179
Александр ПОПОВСКИЙ	180
Сергей ФИЛИППОВ	180
Юрий ПРЯДИЛОВ	181

К 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

Николай БЕНЕДИКТОВ	
ИМЯ РОССИИ	
К 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.	182
Фёдор СЕЛЕЗНЕВ	
ХРАНИТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ	
Время Александра Невского	192
Александр ЦИРУЛЬНИКОВ	
РАДИ ЭТОГО СТОИТ ЖИТЬ	195
Протоиерей Владимир ГОФМАН	
КУПОЛА, СМОТРЯЩИЕ В НЕБО (<i>продолжение</i>).	226

Литпроцесс

Леонид ЮЗЕФОВИЧ	
БОЛЬШЕ ЧЕМ БИОГРАФИЯ:	
Сергей Есенин глазами Захара Прилепина	231
Эдуард КУЗНЕЦОВ	
ЗЕМНАЯ, НО НЕ ПРИЗЕМЛЁННАЯ	
О стихах Людмилы Калининой	236

Евгений ЮШИН

Родился в 1955 году в городе Озёры Московской области. Детские годы прошли на Оке и на Воже в рязанской деревне Лужки. Школу и пединститут (историко-филологический факультет) окончил в Улан-Удэ. С 1978 года работал редактором в Центральном Доме культуры железнодорожников Москвы. Здесь же несколько лет руководил литературным объединением «Магистраль». В 1986 году перешел на работу в журнал «Молодая гвардия», которым руководил в течение ряда лет.

Стихи публиковались в центральных журналах, альманахах, транслировались по радио и телевидению, переведены на болгарский, немецкий, французский, сербский, азербайджанский языки.

Автор двенадцати поэтических книг. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии «Имперская культура», премии имени Александра Невского «России верные сыны», Большой литературной премии России.

Секретарь Союза писателей России. Живет в Москве.

СМОТРИТ РОДИНА НА МЕНЯ...

* * *

У отца – голубы глаза.
У отца отдохнуть нельзя, –
Всё рассказы и всё расспросы.
А за окнами – лес стеной.
А за окнами – свет льняной.
И о детстве шумят берёзы.

А отец мне: – Ну как живём?!
Хорошо ещё, что жуём.
Кое-как огородом сыты.
Вот вернули в Россию Крым –
Это правильно. Победим!
А свои старики забыты. –

– Батя, что я тебе скажу?
Одиноко тебе, гляжу.
Одиночество – хуже плена.
Виноват я, прости, родной. –
Травы – раннею сединой.
Обмерзают родные стены.

Прогуляться пойду, взгрустнуть.
Память давняя стелет путь.
И луга под росой – белёсы.
Друг – уехал, другой – убит.
Звёздный рой надо мной гудит,
Волны катятся нетверёзо.

За оврагом туман обмяк.
Всё как прежде, но всё не так.
Школа – вот она – дверь забита.
Дом соседский пошел на слом.
Песня тянется над селом.
Вилы ржавые – у корыта.

Возвращаюсь домой скорей.
Но цепляет меня репей:
– Не спеши! Оглянись! Послушай! –
Нет в селе уже ни огня.
Только ветер и тополя,
И над полем – родные души.

Нет в селе уже ни огня.
Смотрит родина на меня
Из смородины, из рогоза.
Узнаёт меня, узнаёт,
Всё вопросы мне задаёт,
Окаянные всё вопросы.

Вот я в доме. Крадусь впотьмах.
Месяц – клювышком в тополях,
Дух черёмухи из потёмок.
Вот поднялся отец: – Приляг!
Ты скажи мне, сменили флаг... –

Голосок половицы тонок...
Ходит старость на белых ногах,
Чуть покачиваясь спросонок.

* * *

Я оттуда, где ветры песками рябы,
Я – разбитый дождями просёлок.
Небеса – голубы, васильки – голубы
И глаза голубы у девчонок.

Мама, мамочка! Лес под зарёю горит!
Я оттуда, из этого чада,
Где языческий идол в тумане зарыт
За калёной церковной оградой.

Всё смешалось: молитвы смиренных стогов,
Фейерверк петушиного крика

И мордовские скулы крутых облаков,
И по речке моей – ежевика.

Ежевика, малина... И там – над рекой,
Где пытит одинокая баржа,
Открывается сердцу простор и покой,
Древних звёзд неподкупная стража.

Ураган

Кусты – в узлы! Вонзает ливень пули
В берёзу, в крышу, хлещет по двери!
Во тьме шныряют молнии-ходули.
Стихия!!! Ничего не говори!

Молчи, ничтожный! Ты ещё не знаешь,
Гордынею объятый человек,
Что эти ураганы ты рождаешь,
Враждой и злобой засеваешь век.

Вот отчего природы потрясенье!
Кардиограммы молний – знак суда.
Молись, несчастный, о своём спасенье.
Господь – простит. Природа – никогда.

А дождь ушел

Луг отдыхает в тёплой неге.
Далёких молний белый хруст.
Весь мир – сплетение энергий
Галактик и любимых уст.

А дождь ушел. И в свежей сини
Кипит соломенный пожар.
Мерцают броши на калине,
Дымит над крышей белый пар.

И трясогузка-недотрога
Бежит с оглядкой на кусты.
Осталась мокрая дорога
И просветлённые цветы.

* * *

Сергею Щербакову

Листья слетают с деревьев – свобода, свобода!!!
Остановилась... Покоя желает природа.

Оторопели, свиваются жёлтые листья,
Рыжим хвостом заматают дорогу по-лиси.

Смотрит старуха. Глаза голубы, словно вёсны.
Чавкает под сапогами удрёмная осень.

Заговорила старуха: – Я всё уж видала.
Было и больно, и сладко, а всё-то мне мало.

– Хочешь пожить?
– А и как не хотеть-то? Весёло!
Эко скуласта картошка, укропны рассолы!

– Будет зима. Как прожить-то тебе в одиночку?
– В печке урчит огонёк, что мой котик в носочках.

Я напеку пирогов – по соседям, по дали...
Там и весна уж, а с солнышком – нету печали.

Так вот иду, и в пыли под стопою моею –
Скифский кафтан и потёртый колчан Челубея,

Ржавый палаш бородинского дымного ада
И черепа уцелевших домов Сталинграда.

– Ну и куда ты идёшь по разбитой дороге?
– К Богу иду я, покуда шевелятся ноги.

* * *

Я осень тихую приемлю
Без рваных северных ветров,
Когда листва летит на землю
И гонит к стойбищу коров.

Ну и какие в том печали?
Всему на свете свой черёд.
– До встречи! – птицы прокричали.
– До встречи! – выдохнул народ.

И вышли все, и смотрят долго
На птиц, плывущих в небесах.
От луговины ветер волглый
Протаял слёзы на глазах.

– Курлы!.. –
И что же в том такого?
Простор. И журавлиный свет.
И всё ж душа рождает слово
О всех, которых с нами нет.

Кто так же пели и любили,
Хранили Русь, страдали с ней,
И вот однажды проводили
Своих последних журавлей.

А в чем печаль? Печали нету.
Всему на свете свой черёд.
И снова озоруют дети,
В соседский лезут огород.

Холмы пологие печальны.
Зарёй течёт небесный мёд.
И звёздный берег – дальний-дальний
Молитву древнюю поёт.

* * *

На исходе осень – входим в зиму.
Поклонюсь божнице, прошепчу,
Чтобы все родные были живы,
Ничего иного не хочу.

Разве б только донеслись до слуха
Волны ржи и песня в полутьме,
Разве б только, чтобы внук Илюха
Помогал скворечник ладить мне.

Чтоб травинку гусочка щипала
Неторопко около ворот,
Чтобы внучка куклу одевала,
Пела так, как мама ей поёт.

Просто всё, когда без потрясений.
С Богом в сердце так идти, идти
По весенней тропке, по осенней,
По снегами сбитому пути.

Игорь ГОЛУБЬ

Родился в 1984 году в Калининграде. Окончил Балтийский федеральный университет им. И. Канта по специальности «журналист».

Поэт, прозаик, редактор и издатель всероссийского молодёжного литературного журнала «Веретено», составитель и издатель антологии молодёжной поэзии России «111».

Автор пяти поэтических книг, сборника рассказов «Жить» (2020). Публиковался в журналах «Подъём», «Бельские просторы», «Наш современник», «Симбирск». Лауреат литературной премии «Молодой Петербург» (2018). Живет в Калининграде.

НО СЛОВО ВО МНЕ ГОРЧИЛО...

* * *

Меняются слепые мерки
В дождливом городе моём,
Движение узоров мелких
Улавливает водоём,

В союзе камышей и ряски
Всё делится напополам,
Плывут стремительные краски
По мутноватым зеркалам,

Весенней свежести мотивы
Не могут никогда солгать,
И глядят чуть заметно ивы
Воды пленительную гладь,

В воображении сольются
Тепло и сонная вода,
Так солнце воду пьёт из блюдца,
Но не напьётся никогда.

* * *

Песка после ветра намыло,
Люблю я такие места -
Ловил здесь когда-то налима,
У маленького моста,

А ты это место забыла,
Таких ещё будет пятьсот...

Морозная песня залива
Ложится на рыжий песок,

И кажется, сонное лето
Нескоро придёт и тайком,
И башня кирпичная где-то
За ветками – маяком,

И веток слепое движенье,
Как в прошлом, лелеет вода,
Но наше в воде отраженье
Такое же, как и тогда.

* * *

В лесу, в сети знакомых троп,
Где ветка каждая упруга,
Я часто нахожу окоп,
Он тянется почти до луга...

Наступишь – и насквозь прожгло, –
Как посмотрел святой с иконки...
Здесь тянутся так тяжело
Стволы берёз со дна воронки.

Берёзок непрерывен строй,
Я молча примыкаю к строю...
Спокойно спи в земле, герой,
Я сон твой не побеспокою,

Тебе деревья и цветы
Годами отдают поклоны.
А я вернусь домой – и ты
Посмотришь на меня с иконы.

* * *

Несёт вода в темпе вальса
Тревожный свой непокой.
Как часто я оставался
Один на один с рекой.

Под брюхом пустого пирса
Узоры вода плела,
И окунь на дне крутился,
И билась в траве плотва.

Уходишь с тоской отсюда,
Но мысли всегда легки,
Ты молча уносишь чудо
Из царства большой реки,

Оно не в богатстве Слова,
А в тихой игре лучей,

К реке ты вернёшься снова,
Как впавший в неё ручей.

Когда постучится старость
В скрипучую дверь клюкой,
Я просто опять останусь
Один на один с рекой.

* * *

Теряли и обретали
С печалью и интересом...
Горчило в моей гортани
Словечко с серьёзным весом.

То радостно, то зловеще
Стучало в больные дёсна,
Горчило во мне словечко,
Звенело внутри несносно...

Я прятал его, как жемчуг,
Как имя, что прячут в списках,
От самых ранимых женщин,
От самых далёких близких.

Но слово во мне горчило,
Сурово и неподъёмно,
С годами нашлась причина
Его не держать под небом,

И слово ушло, конечно,
Как Солнце, в большие дали,
Мы, прячась от жизни вечно,
Что спрятано в том словечке,
Теряли и обретали.

* * *

От холода город колотит,
Он молча сползает в закат...
Я – лист в этой жёлтой колоде
Повсюду разбросанных карт.

Здесь осень, почти что допета,
Себя погружает в строку.
По венам пустого проспекта
Я кровью случайной теку –

В барокко далёких Италий,
В далёких Румыний ампир,
Но вся эта гамма деталей
Не вытащит плачущий мир

Из грустно-красивой палитры...
Ноябрь, седой интроверт,
Кладёт на бетонные плиты
Последний осенний конверт.

* * *

Из дождливого непостоянства,
Где танцуют шальные ветра,
На балкон мой привычно и часто
Прилетают синицы с утра,

Потому что их манит кормушка,
Замерзающих во дворе,
Потому что уют, потому что
Птицам нужно тепло в ноябре.

Дочка ходит на цыпочках, чтобы
Волшебство в этот миг не спугнуть.
Я смотрю на синиц из-за шторы,
Сквозь узорную белую муть,

И склоняюсь в спокойном поклоне,
Наблюдая весёлый полёт.
Это жизнь на холодном балконе,
Что угадываешь с трёх нот,

Отзывается в мёрзлой душе, но
Огибает капкан жадных рук,
Потому что она совершенна,
Как и каждое чудо вокруг.

Людмила МЕЖИНЬШ

Родилась в Риге. Гражданка России. Художник-керамист. Много лет работала культурологом в Юрмальском санатории «Белоруссия», занималась творчеством с детьми (Чернобыль, зоны Гомельской области).

Поэт, прозаик. Издала четыре книги стихов, четыре книги для детей. Лауреат Всероссийской премии им. П.П. Ершова, Международной премии им. С. Михалкова (за книги для детей) и других.

Член Союза писателей России. Сопредседатель Рижского Союза литераторов «Светоч». Председатель Общества детских писателей «Светлячок». Член Исполкома Международного сообщества писательских союзов (Москва).

МЫ – ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ МАТЕРЕЙ СВЯТОЙ РУСИ...

Надежда одна – на нас...

В морозно-хрустящей Риге, по площади Первой Ёлки*,
Шёл Роланд**, небесный рыцарь, однажды Крещенской ночью.
А на пьедестал почётный он, вместо себя, ворону
пока водрузил и очень просил, чтоб не улетала.

У сумрачного строенья с названием «Музей оккупации»
проснулся знакомый сторож. Сперва заперев ворота,
с дворнягой договорился, чтоб стала безумно лаять
и даже таскать за полы того, кто посмеет только
приблизиться на мгновение к хранителю тайн – музею,
пока старый добрый сторож пойдёт обсудить с друзьями
жизнь, посланную в наследство и Роланду, и латышским
стрелкам, что втроём застыли в гранитных шинелях долгих***.

А каменные исполины, со сторожем, в час урочный,
зелёные сдвинув кружки с пузырьчатым пенным пивом,
сказали всего две фразы:
– Мы сделаем всё, что сможем, чтоб не было плохо в Риге
ни сирым бомжам голодным, ни выброшенным собакам,
котам, человечьим детям... И чтобы, как на Майдане,
не зверствовали бы люди, свершится пусть это чудо
сегодня, Крещенской ночью! Сейчас разожжём кострища
у Дома Черноголовых, у Ратуши, у музея...
Надеяться на кого нам?
Надежда одна – на нас...

* На Ратушной площади в Риге, по одной из версий, в 1510 году была установлена первая в мире рождественская ёлка.

** Памятник немецкому рыцарю Роланду в Риге на Ратушной площади.

*** Памятник латышским стрелкам, как и «Музей оккупации», также на Ратушной площади.

Мы – потерянные дети

Мы – потерянные дети
матерей святой Руси.
С ветром бродим по планете.
Сердце, сердце не гаси!

Мы добры и одержимы,
окунаем взгляд в родник,
но куда бы ни пошли мы,
камень, лёд, скала – тупик.

Взгляд полощется в рассвете,
в чистоте былых времён.
Мы стареющие дети
неповерженных икон.

Снег скрипит... За новой эрой
к звёздам льнёт луны белок.
У берёзы индевелой
ветром воет белый волк.

Здесь белый русский храм

Здесь белый русский храм
В снегах до чёрных окон
Любовью бережёт
Лишь Божье Отчье Око...
Да синие снега
Укрылись в берега
До самого прозрачного истока.

Но нет живых людей,
Чтоб жертвы приносили,
Чтоб с исповедью шли
И милости просили,
И чтоб вступились вновь
За Веру и Любовь
Небесные защитники России.

Конь со звездой во лбу
В морозно-синей раме
Оконце продушал
Горячими ноздрями
С той стороны зари,
Где небо всё горит
Рассветно-незакатными лучами.

В лучах летящий дуб
Под инистой короной
Вбирает тишину
Душой своей зелёной,

Чтоб неба закрома
Не застила зима,
Чтоб снова засветиться
нежной кроной.

Айседора

Вдруг на сцене продолжалась
Шёлком пурпурных шарфов;
И поэту улыбалась –
Жестом рук, без лишних слов.

В исступлении шептала:
«Золотая голова!»
Ничего ещё не знала,
Но во всём была права.

Воплощала лепки вазы
В оживлённый ропот роз.
Плавню, медленно... – и сразу! –
В крылья хрупкие стрекоз.

Русских деток из детдома
Научила танцевать:
«В небо прыгай, лягушонок! –
Станешь бабочкой порхать!»

Между ветром, плотью, духом
Танца трепетной листвы
Плавность веток нежным слухом
Чутко чувствовали вы!

«Еду к славе! Ах, прощайте!
Звёзд уже не меркнет свет!
Айседору вспоминайте
В босоножках детских лет!»

Чайкой розовой взлетала,
Жглись жемчужины воды...
И у моря оставляла
Босоногие следы...

Отливается осени медь...

Отливается осени медь...
Колокольным набатам звенеть.
И не хочется солнце схватить
За паучью нежгучую нить.

Я войду в эту осень, как тать,
Буду дни у тебя воровать,

Иль, назойливой гостье под стать,
Откровеньем тебя донимать.

Ты потерпишь? Придётся стерпеть.
Я-то знаю, недолго мне петь.
Зазвенит серебро, а не медь,
И наступит пора онеметь.

Я любила тебя на Земле.
Не кипеть мне за это в смоле!
Оживут ручейки по весне,
И меня ты увидишь во сне...

Где плыву от земных я людей
В мир серебряных птиц – ле-бе-дей...

Семён ЭПШТЕЙН

Родился в 1957 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт, по окончании которого проходил интернатуру в ОДКБ г. Архангельска. Потом 3 года работал педиатром в ЦРБ Вилегодского района Архангельской области. С 1990 года живёт в Израиле.

Автор шести поэтических сборников, литературных публикаций в России, Германии, Израиле, Украине, Австрии. Член Союза писателей Израиля. Лауреат премии «Золотое перо Руси» (Москва, 2007). Дипломант литературных конкурсов в России, Германии, Израиле, США, Австрии. Живет в Беэр-Шеве, Израиль.

В СУХИХ ЛЕСАХ КУКУШКИ НЕ КУКУЮТ...

Спектакль-жизнь

Антракт истёк, в кулисах звук трубы,
Второй звонок, уже пора, не так ли,
Тому, кто тянет ниточки судьбы,
Призвать к финалу занятых в спектакле.
Грядёт развязка, принимай скорей
Картоны из подсобки бутафора:
Причёски пальм, серёжки фонарей
И красный глаз дракона-светофора,
Гортанный говор избранной страны,
Закаты цвета спелого граната,
Овец отары, словно валуны,
И валуны, как белые ягнята.
На этой сцене выпало дожить,
А всё же лихо был сюжет закручен.
Свет угасает. Что нас ждёт, скажи,
Когда опустит занавес подручный?

Набережная. Февраль

Анне

Волны предшествуют ритмам, размерам, звукам.
В крыльях воздушного змея трепещут перья.
Тени сгущаются к вечеру, дай мне руку,
Яффо зажжёт огни и закрючил двери.
Ветром сдуваются краски за край заката.
Бледной бархоткой луны горизонт отмечен.
Наши надежды, мы сами уже за кадром,
Дай же мне руку, держи меня крепче, крепче.

Михайловский сад. Май

С. III.

Ты помнишь: май, сирень стояла гордая?
Проходит всё, и некого винить.
А девушка босая шла по городу
И просто попросила прикурить.
Вся вдалеке и мыслями, и чувствами,
Проходим улыбаясь наяву,
Шла девушка босая, безыскусная,
Не приминяя первую траву.
Не вспомню ни по взгляду, ни по голосу...
Ах, память, ты давно пустая клеть.
Но девушка босая шла по городу –
Так проще оттолкнуться и взлететь.

Адриатика

Ближе к вечеру волны богаче рыбой
И баркас качает сильнее и чаще,
Мы сознательно сделали этот выбор,
Но над городом высечен крест кричащий.
Прибываются к берегу те, кто выжил,
С остальными удача уже не дружит,
Городская стена всё темней и выше,
Принимайте добычу и наши души.

Холмы Рухамы*. Февраль

Зима в пустыне – памяти разлад,
Февраль травой и маками неистов.
И мы на них который год подряд
Глядим с восторгом юных колонистов.
Пусть нет берёз, но взгляд издалека,
Что в поисках реликвий так реликтов,
Находит их почти наверняка
В ободранных, как липка, эвкалиптах.
Здесь в прошлое распахнуто окно,
Дождь забирает горизонт в кавычки,
Картина, что знакома нам давно,
Что так близка и всё же непривычна.

Дорога за горизонт

Здесь в феврале зелёные поля,
В траве белеют нити паутины.
Отвалы глины, лужи, колея –
Забывтая российская картина.

* Природный заповедник на юге Израиля.

Цветы пустыни – пасынки весны.
Наступит март – осиротеют маки.
Останутся мечтания и сны,
Что видят только дети и собаки.
Не угадать, какой отмерен срок,
В сухих лесах кукушки не кукуют.
Я выбрал эту Землю. Дай мне Бог,
Чтоб детям не пришлось искать другую.

Н

Я тебе не звоню, не пишу,
О тебе я не думаю даже.
Я не трушу, я просто спешу
Затеряться в знакомом пейзаже.
Отпусти ты меня, не мани,
Стало прошлое – просто словами.
Я забыл наши ночи и дни,
Я забыл всё, что сказано нами.
Только пепел, зола и песок
Да судьбы непосильная ноша.
Но стучится, стучится в висок:
«Не бросай меня, милый...» – «Не брошу...»

Причитание

Я тебя оплакала загодя,
Спи сынок.
Прорастёт слеза сладким снадобьем,
Выйдет срок.
По воде ходил словно посуху...
Нынче что ж?
Милосердна смерть, тронет посохом,
И уснешь.
Разнесёт слова твои званые
Ветерок.
Я тебя оплакала заново,
Спи сынок.

Лариса БУХВАЛОВА

Родилась в 1969 году в городе Павлове Нижегородской области. Окончила Павловский автомеханический техникум, Работает в ОАО «Павловский автобус» инженером-технологом.

Публиковалась в журналах «Нижний Новгород», «Литературный меридиан», коллективных сборниках и альманахах. Автор пяти книг стихов. Дважды финалист и дипломант международного фестиваля «Мгинские мосты» (2016, 2017, Ленинградская область); Лауреат Всероссийского фестиваля «Чистое детство», дипломант двух Всероссийских фестивалей «Русский смех» Живет в Павлове.

НИТОЧКА ПОСКОННАЯ, НЕБЕСНАЯ

Голубая нитка на бобине

В каждый нитяной клубок бабушка вкладывала тело – орешек, бумагу, мой тетрадный ученический лист. Начиная накручивать, творила молитву, о жизни говорила, думала, смотрела в окно на наш кургузый тополь – на лето, осень, зиму, на вёсну. Именно на «вёсну». В ней были вёсла, лодка смолёная, в путь налаживаемая. По весне, по волне, по первой борозде на усаде. С лопатой, с лопастью по винту накручивалась на спираль пряжа, кудель галактики, шло повествование, сотворение, стихотворение.

Помню с детства – мамина любимая –
крепкая, в коробочке хранимая
нитка на бобине очень прочная.
Мама умерла, а нить не кончена.
Ушивали многое и разное
этой нитью выгоревшей, ситцевой:
Бабушка с иглой умудряется,
мамино лицо, моё – традиция.
Ниточка посконная, небесная
не порвётся, потому что честная.
Ариадны нить во тьме космической.
Третье поколение – не истрачена.
Сколько ей и платьев перетачано,
сколько ей носков, трусов заштопано.
Нитка жизни. Ниточка семейная.
Из бобины, переданной Макошью.
От иконы Троицы, от вервия.
Тянется она, как будто вечная.

Дочке подаю – вот нитка крепкая,
голубая, бесконечно прочная.
Связанная тайной связью с предками,
через сто галактик не закончится.

Игра с огнём

Одна – ни братьев, ни сестёр.
Мне ближе всех стал враг –
бегу стремглав кормить костёр,
с мальчишками в овраг.

И вот – огонь большой горит –
попынь и сухостой.
Трещит, гудит и говорит
со мною злой огонь.

Он жулик рыжий, как и я.
Он рвётся в языки.
И дым пускает на меня,
и ест с моей руки,

как пёс голодный и родной.
И я в восторге вся.
Любуюсь золотой золой,
как выводком лисят.

Ему я снова есть даю –
возьми, поешь, живи!
Щенки твои с ладони пьют
дары моей любви.

За сердце бабушка схватясь,
взмолилась в вышине,
с обрыва, набожно крестясь.
А я чуть не в огне.

А я с костром-то говорю,
девчонка – друг огня...
И страшно ей, что сотворю.
Ей страшно за меня.

Огнёвка то, растёт в дому,
она ж нас всех сожжёт!
– А я огонь люблю! Ему
гудрон дарю, как мёд.

И вот уж чувствует меня
сметливый конь-огонь.
Я для него – дитя огня,
сама огонь – лишь тронь.

А бабушка мнит о худом,
схватила за ремень.

от топота гудит наш дом
в кромешный божий день...

И вот, как в детстве, я с огнём –
стихами выжгла мир –
горячим, золотым пером.
И жизнь прожгла до дыр.

* * *

Памяти бабушкиной сестры Грунюшки

От кромешной тоски,
между небом «осьмым» и девятым,
тётя Груня носки
полосатые вяжет робятам.

Не своим, а чужим,
коль своими судьба обделила.
Нитка жизни спешит,
что давно померла, позабыла.

Месяц, будто, январь,
воскресение дня выходного.
В печке, в вольной, стоят
караваи большие ржаного.

Свет, от утречка свят,
сквозь герань пробивается резкий.
На окошках хрустят,
инда снег по зиме, занавески.

Из деревни из всей
На показ ришелье вырезное.
В Елизарово ей.
Припасла накануне сувои.

Только хлебу остыть.
А кукушка молчит. Эка жалость.
Видно, встали часы.
Вот и «Утро в бору» задержалось.

В сени выйти дока.
Нынче дух, аж зашлось, осязаем.
И отколь облака
на приступок крыльца напозают?..

Луковое горе

За окошком солнышко такое –
свет апреля, первое число.
На окошке – луковое горе
Чиполинкой смелой проросло.

В списанном стакашечке гранёном
утвердилось, медное, и вот –
пёрышком весёлым и зелёным
всей кипучей радостью живёт.

Круглое, укоренясь на зависть,
разомлело, будто это Рай.
и права стаканные качает
каждый вечер, только подливай.

А сегодня головою медной
покачнулось в гранях, на окне.
И шепнуло тихо и безвредно:
– Не могу, устало, горько мне.

* * *

Как незатейливо чиста
на фоне нашей круговерти
та траектория листа
с берёзовой прохладной ветви.

Мгновение ещё храня,
свой сон, пространственно не тесный,
просвеченный рентгеном дня,
потерянный и неизвестный,

один из простеньких миров,
отживши век миниатюрный
на фоне шлаковых домов
с обшарпанною штукатуркой,

не защищён и не храним,
забывши имя, отлетает...
Я усложняю этот мир,
а траектория простая.

Беление льна

Стелю на снег холсты льняные –
заплаты тусклые земные,
что первозданны и черны,
натканые во тьме зимы.
Проволгнуть, вызябнуть, отмякнуть.
На солнце – глянь – лежат и ясны.
Всех деревень и всех времён –
белись, мой домотканый лён.
Холсты – картины жизни, мира.
Так бабушка моя белила.
Так жили люди испокон.
Его растили, били, мяли.
Страдали век, любили, ткали,
носили и рождали вновь.
Всё тело ноет, руки в кровь.

Белись, мой лён, моя любовь.
Дубей и звёздни в ночь, а в утро
весь в инее звени, как будто
ты жизнь и смерть, мой вечный лён.
Для жениха – в конях рубаха.
Для сына, дочери, для брата,
для савана и для икон –
и причащение, и поклон.
Моя любовь – мой белый лён.

* * *

Села, да и устала –
свет на себе несла.
Веточки краснотала
с искорками тепла.
Холмы, доли да реки,
чёрных дорог брикет...
Руки легли, как плети –
тяжек ты, белый свет.
Ровно чего мне мало?
Птицам в небе легко.
Что ж ты несла, да встала?
До смерти-то далеко.

Проза

Михаил ТАРКОВСКИЙ

Родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина по специальности «география и биология». В 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского края, работал полевым зоологом на биостанции, затем охотником в селе Бахта, где и живет по сию пору. В 1991 году окончил Литинститут им. А.М. Горького.

Автор книг стихов и прозы, публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник» и других. Лауреат премий журналов «Наш современник», «Роман-газета», «Новая юность», литературных премий Белкина, «Ясная Поляна» и других.

Главный редактор альманаха «Енисей». Член Союза писателей России, член Союза кинематографистов РФ.

СКВОРЕЧНИК

1

Из детских вёсен одна мне вспоминается особо. В конце зимы к нашей кошке Мяке повадился ходить через форточку уличный кот. Мяка у нас тигровая с белыми носочками, гладкая и до родного близкая каждой полоской. Когда плоско лежит на боку, а ты её гладишь, перед ладонью набегает шёлковая складочка.

Мне нравились особенно розовый и мокрый её нос и две круглые ворсистые подушки с точечками, из которых растут усы. Жизненную необходимость усов я понимал, но пухлые подушки с рядами точек восхищали особо, и я не сомневался, что существуют они исключительно для красоты и забавы. Любил задрать их толстую слоёную мякоть, вывернуть до розовой изнанки, чтобы у Мякиной морды вышло клыкастое и свирепое выражение, которое я называл «мышинный король». Если раскрыть-расклинить рот настезь, то можно потрогать аккуратнейшую ребристую насечку нёба. А можно потрогать и сам язык в светлом игольчатом ворсе, но Мяка начнёт делать им отчаянное выталкивающее движение и раздражённо подметать хвостом. А я умудряюсь ещё и уловить хвост в самом основании, комле, где одушевлённо-крепко ощущается зарождение движения. Кошка гнусаво взмывкивает и выраввшись, убегает, задрав хулигански хвост.

Любил смотреть, как Мяка лакает молоко, и как, взбивая молочный столбик, двигается шершавый её язычок, и его биение образует розовый туманчик. А молоко стоит столбиком.

И тут кот. Он был как порыв ветра с сухим снегом и цементной пылью: дикий, с пепельной, как на офицерской ушанке, шерстью, плотной и будто пыльной, беспородной, короткой, а шрамы на морде и голове как выбоины на шапочном ворсе. Морда широкая и бакенбарды объёмисто-крепкие, будто пустые, и весь кот грубый, боевой, насквозь пропитанный улицей.

Едва я вошёл в комнату, как он метнулся к форточке и был таков. Выражение Мякиной морды поразило: она лежала как ни в чём ни бывало — расслабленным калачиком. Я испытал сильнейшее ревнивое чувство: как так её, такую домашнюю, мягкую, *нашу*, не возмутил грубый облик кота, шарящегося неизвестно где и с кем. На следующий день котяра снова порскнул в фортку, и я обнаружил рядом с Мякой тёплую лёжку. Мяка так же невозмутимо лежала и живо на меня поглядывала. Удивляло, что на улицу она не ходила, а котяра-то про неё прознал, всё продумал и точнее и вертикально взмывал форточку. Скорее всего она *так* сидела на подоконнике, что он, именно *наглядевшись*, решился на дерзкий запрыг. Это понятно теперь, а тогда мною владело единственное желание — предпринять что-то решительное, и я решил устроить коту ловушку.

Казалось, если закрыть форточку, то он, лишившись подтока уличных сил, будет наказан за наглость. Что делать с ним дальше меня не заботило — вся страсть сошлась на поимке. Караулить кота не получалось, и я пошёл по пути внезапности. В очередной раз подкрался к двери и, бесшумно её открыв, влетел в комнату, на долю секунды увидев кота, удобно прилежавшегося к Мяке. Серой молнией метнулся он к окну, но я опередил его и, захлопнув форточку, ещё и повернул вертушку, похожую на грибок в разрезе. И вертушка, и рама были грубо и многожды покрашены по облупленной поверхности, и слои краски выпукло повторяли очертания каких-то полуостровов.

Я бросился к бабушке в соседнюю комнату с криком: «Кот в ловушке! Кот в ловушке!» Кот заметался и жалко забился под кровать. Мяка метнулась вдоль стены, подавленно опустив хвост. Вместо охотничьей радости я испытал разочарование и чувство, что нарушил важнейшее равновесье. Дальше не помню: скорей всего мы отворили форточку и вышли. А бабушке очень понравился крик «Кот в ловушке!», и она рассказывала знакомым о моей охоте.

Главное же, что я запомнил: это ощущение вмешательства и пропасть между упоением победой и той беспомощностью, в которой оказались Мяка и её знакомый. Эту атмосферу вторжения в чужую тайну я вспомнил через несколько лет, читая «Тамань» Лермонтова.

К Лермонтову у меня было особое отношение — считалось, что меня называли Михаилом в его честь (пусть и наравне с Кутузовым) и по настоянию бабушки. Если прозу Лермонтова я прочитал классе в шестом, то с его стихами бабушка меня познакомила намного раньше. «Белеет парус одинокой», «Тучки небесные, вечные странники», «Смерть поэта» — всё было знакомое, настольное, ранне-детское. «Белеет парус одинокий» — читала ещё Бабушка Вера.

Лермонтов виделся продолжением Пушкина. Оба казались двумя гранями одного и того же самоцветного и дикого камня, и я долго не мог понять меж ними границы: оба писали поэмы, прозу и погибли на дуэли. Разъять их было не под силу, равно как и понять, зачем Богу угодно было сказать дважды об одном и том же.

Пушкин был рядом с ранних лет, глядел с чудной картинки на шоколадке: с пером и бумагой в золоте свете, а над ним космически-глубоко

синело небо с тонким месяцем. Пушкин звучал бабушкиным голосом: «У Лукоморья дуб зелёный»... Жил в большой детской книжке «Сказка о Царе-Салтане», где мне особенно запомнился бой коршуна с Лебедью, море в пенных завитках и чешуйчатое перо Лебеди. Издатель же Дед-Гиз казался собратом Старика из «Рыбака и рыбки». В моих семь лет мы читали «Евгения Онегина» вслух, то я главку-стих, то бабушка. С торжеством и трепетом она произносила: «Уж тёмно: в санки он садится. “Пади, пади!” – раздался крик; морозной пылью серебрится его бобровый воротник». Восхищали её и строки: «Ещё бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но звон брегета им доносит, что новый начался балет»... Пушкин... Уложенное в душу на самой её заре, золотое, янтарное сокровище, ведёт сквозь синеву лет и вмещается в одно слово – *родное*.

Не удивительно, что именно Пушкин запомнился сразу на всю жизнь, а десятки других книг – хороших, но именно детских, и словно укороченных, такого следа не оставили! То, как описывает бабушка те дни, для меня было открытием.

5 февр. Вымыла пол, вымыла Мишку – обоих очень чисто. Спит, свинка, в чистенькой постели. Ручка его не пишет, всё перо скособоечно – завтра покупать, а у меня денег 7 р. – 4 на школьные завтраки в понед. отдавать.

2 дня не ходил в школу – по радио позволили из-за мороза, а я под предлогом дала отдохнуть. И начали читать «Тимура» (кстати приходится всё объяснять, но интересуется очень, всё просил читать ещё.)

Вчера прочитали «Тёму и Жучку», а сегодня ещё «Неслуха» про медвежат, что взял в школе давно ещё. Читает ещё плохо. То начинает с середины слова, то задом наперёд, и никогда не догадается по контексту, пока не прочтает что это за слово. Удивительный тяжелодум. Многих слов просто не понимает, например, вчера «свежескошенная» и сегодня в «Тимуре» не помню какие слова. Учительница раз сказала «Способный мальчик, всё на лету схватывает». Какой уж там лёт! Просто она взяла штамп. Он понимает, когда что-то точно, ясно. Надо понять и запомнить, но без применения живого ума и смекалки. Как-то не так пишу... Не могу объяснить. Будем читать вдвоём до беглости, а потом вероятно через год начнёт читать один. Сейчас ему лень; и плохо понимает.

Мишка ужасен. Уроки делает так же, как ест. Куда-то бежит, отвлекается, то рисует, то с каким-то пластилинами мажется к машине. Весь день уходит на мишканье, сегодня 2 раза всыпала ему полотенцем.

В первом классе учила нас замечательная учительница Екатерина Фроловна, человек чудный, добрейший и глубоко чувствующий именно это родное, и поскольку от учителя ничего более и не требуется, особенно любимая бабушкой. Прекрасное имя её поразило меня на всю жизнь, и я в одной книге так и назвал учительницу. Теперь хотел было назвать Елизаветой Ниловной, но не выдержал вынужденности и искусственности, оставил как есть: Екатериной Фроловной. Екатерина Фроловна носила телескопически-толстенные очки, и когда однажды их сняла, до слёз тронутая наивным словечком ученицы, то лицо её с мокрыми щеками оказалось поразительно босым, беззащитным и молодым.

Ей на смену пришла Нелли Григорьевна, круглолицая и крупная молодая женщина в тёмно-коричневой, цвета указки, паре: кителе и короткой юбке. Причёска – того же цвета волосяной шар в сетке. На высоких каблуках она ходила неуклюже, в раскачку, и по бабушкиному делению была совершеннейший «вырви глаз».

В прочем и я не промах был: со своей вредностью отстаивал наше с бабушкой русское, живое, трепетное, не завёрнутое в хоть какую-то обёртку. В посленовогоднем сочинении описал праздничные приготовления подчёркнуто разговорным языком. «В комнате по середке поставили ёлку» и «нажарили картошки», а Нелли Григорьевна исправила «середку» на «середину» и «картошку» на «картофель» и поставила тройку.

Однажды Нелли Григорьевна вызвала меня читать «Зимнее утро». Стою у угла стола и читаю: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась»... Нелли Григорьевна останавливает, говорит, что слово «вечор» надо отделять паузой: «Вечор, это имя собственное, ты разве не видишь, что оно даже запятой выделено?! Вот и читай: «Вечор, (пауза) ты помнишь вьюга злилась?» Стихотворение я дочитал, оставшись при своём мнении, а дома доложил бабушке. Она сказала задумчиво: «А ты бы прочитал ей: “И, кажется, вечор ещё бродил я в этих рощах”»... «А что это?» – спросил я на свою голову. «Пушкин. Нельзя быть таким “серым” и так мало читать!» Примечательно, что слова «под голубыми небесами великолепными коврами», я сам читал через запятую после «небесами», будто ковры относятся к небесам. И много подпутывал, «от меча и погибнешь», мне слышалось как «отмечай, и погибнешь». В смысле, с мечом придёшь и, считай, погибнешь.

Бабушку произошедшее лишь утвердило в её правиле: что читать книги следует до того, как их растрактует учитель. Её стремление упредить касалось не только чтения, а многого остального: к примеру, меня отдали в школу, когда мне не хватало двух месяцев до семи лет. Многих первоклассников с такой нехваткой родители передерживали до следующей осени. Им было уже по восемь лет, и я оказывался на год моложе.

По росту я стоял ближе к концу, но об этом не задумывался, будучи покладист и вечно заморожен чем-то посторонним. Первым стоял Колька Лианозов, очень видный и крупный малый и всеобщий любимец. Лицо у него было классическое мужское, значительное, сбитое, с подбородком, но больше всего выражал взгляд: пытающийся мир на прочность, спокойный, и сонный, и вызывающий одновременно. Не помню, чтоб он как-то особо отличился, сказал что-то яркое – и так был хорош, хоть и успевал плохо.

Бабушка про него написала в тетрадке:

Ещё Лианозов – он у них командир. Кто родители не знаю. Учится в музыкальной школе – рояль. Самый большой ростом, видимо, взрослее по уму. Мишка стал подворачивать козырёк у серой ушанки. Вчера говорит: «Знаешь, почему Лианозов подворачивает козырёк? Ему ушанка велика». Лианозов собирает марки. Мишка спросил много ли у нас галльских петухов. Хочет видимо для Лианозова. Спрошу у Нелли Григорьевны, что это за мальчик.

Я шалил, учился невнимательно и мне без конца подсаживали девочек-отличниц, чтоб заразили образцовостью. Помню, была Марина, колотившая меня линейкой, и беленькая Наташа, худощавая и милая,

которой я говорил, что на ней женюсь, не питая специальных чувств, но в знак доверия. Марина говорила «Екатерина Флоровна».

Была третья девочка, которую не садили ко мне несмотря на все мои чаяния. Подобно Коле, она стояла на физкультуре первой у учениц. Звали её Люда Полякова. Выглядела она так: несколько длинное лицо, вытянутый нос и породный, надменный постав головы, роднящей её с борзой. Капризный рот, свинцово-синие непрозрачные глаза. И лёгкая врождённая даже не смуглость, а вечная загорелость, на фоне которой особенно светлыми гляделись почти белые с отливом волосы. Она заплетала их в косу, утягивая пряди с висков, со лба, и лоб оказывался особенно открыт. Пограничная же часть, не попавшая в затыл, золотисто и неухоженно завивалась по границе, создавая сияние. Главные волосы длинные, протяжные, жилистые, а вокруг лба тончайшая солнечная стружка. На конце косы, тяжёлой и будто влажной, кисть с бантом.

Красавицей не была, но излучала нечто гораздо более важное и не связанное с правильностью черт: сильнейшую врождённую женственность, которая буквально кричала и в облике, и в голосе, и движениях. В том, как, отложив ручку, смыкала кисти в замок и, вывернув наружу, медленно ими тянулась, или как, промакнув страницу, дула на неё, длинно вытянув губы. В груди, выпукло выступающей из выреза физкультурной майки и взятой пупырышками. В самом вырезе майки, который у неё был глубже, чем у остальных девочек. В разлётно-медленном грудном смехе.

Новый учитель физкультуры, бывший военный, служил с её отцом и однажды ей выговорил, что, мол, отца твоего я знал, а вот посмотрим, как ты себя покажешь: «А то я иногда гляжу... и вижу... В общем есть у тебя такое: – Я Полякова!» Мы вроде и захихикали, но для порядка, потому что сказанное звучало как признание её высшего пошиба, первейшей пробы. И потом всё повторяли краткий приговор: «Я Полякова!»

Если я был всех младше на год, то Люда – будто старше всего класса и даже Кольки, которого девочки любили с абсолютной естественной силой, а Люда эту любовь олицетворяла и ею распоряжалась.

Я попытался за Людой поухаживать, цапнуть, притереться, но она мгновенно шарахнула книгой по голове: «Сиди и не рыпайся!» Однажды оставил в её парте скомканную записку, что люблю. Она решительно подошла и сказала: «Нечего писать всякие глупости», мол, учился бы лучше, и в этой нотке педагогической обо мне заботы я нашёл ней свою сладость.

Уже будучи старшеклассником, живя в другом районе и учась в другой школе, я испытывал сильнейший зов взглянуть на наш прежний дом, по которому тосковал с первой минуты отъезда. Несмотря на его существование в одном со мной городе, возвращение к нему равносильно было походу во времени. В конце концов я в него и отправился, с каждым шагом поражаясь непоправимости изменений домов, деревьев, и даже голубей, до схлёста смыкающих крылья за спинами. Только дом наш стоял незыблемо родной и извечный, но уже с забытыми окнами, и казалось, именно забытые окна и не давали излёту прошлому. По всем правилам, я должен был встретить на улице Люду, и я её встретил. Опустив глаза, она медленно шла навстречу с мороженым. Лицо её было потяжелевшим, усталым и прекрасным. Я не посмел её окликнуть, и она так и прошла мимо, глядя задумчиво вниз. Мраморно-выпуклые веки были особенно крупны, и глаза прикрыты.

Люду отличала обострённая тяга ко всяким выступлениям, всему общественному, узаконенному. Спевки, наряды, стремление быть на виду. У неё был сильный голос и ей пророчили оперное будущее. Девочки всё время умудрялись петь – выстроится в актовом зале в рядок, Люда главная – и поют, раскачиваются, как березки то в одну, то в другую сторону. Понятно, что учительница их настроила, недоумевал я. Но отчего же они не стесняются? Откуда знают столько песен, как умудряются всё запомнить, и главное, с такой готовностью воспроизвести? Когда они успели – услышать, выучить, спеться?

Раскачиваются деревцами и поют: «То берёзка, то рябина, куст ракиты на рекой, край родной навек любимый, где найдёшь ещё такой?» Симфоническое покачивание березняка и нравилось, и навевало сильнейшую грусть-тоску, хотя я и понимал, что склонение берёз и песни важная штука. И что Люда главная берёзка, а все остальные подлесок и на неё смотрят. Нравилась и само движение музыки, перелив. И смысл тоже был понятен, кроме слов «куст ракиты над рекой», в которые мне слышалась «строка» – «у *строки* ты над рекой».

Было и чувство глубочайшей, какой-то донной погружённости в жизнь, зимней грусти, обостряющейся в актовом зале или столовой – столик, чёрный хлеб на тарелочке, котлетка и жёлтое пюре плюшкой. И помню, чувство целой эпохи оставили этот вкус пюре вперемешку с клонящимися берёзками.

На новогоднее выступление Люда приготовила номер и вышла в пачке, кокошнике и балетных тапочках, в которых переступала на носочках, а мне казалось, что в носочки вставлены пробки от винных бутылок.

Колю и Люду роднило нечто мощное. Такие люди, как отборная плоть мира сего, есть в каждом классе, как подмеченный писателями обязательный толстый мальчик или малохоленный очкарик маменькин сынок. Эти видные, бесспорно уважаемые люди взрослеют и, поперебирая покалиберно себе друзей-подруг, обязательно в конце концов находят и друг друга, и всем будто легче, безопасней становится. Ходят вместе, а потом и свадьбу сыграют роскошно, а потом годы спустя их встретишь порознь, изношенных жизнью, его – грузного, испитого, её – истерически подсохшую, и обоих с выражением усталости и тяжести: тоже особой сильнейшей породы. Слава богу, оно не всегда так.

Никогда я не посвящал бабушку в свои душевные мытарства, но однажды поддался вечерней душевной ноте. Понимая, что надо сдержаться, что не по росту предмет, стал подмучивать бабушку, мол, угадай, кто мне нравится из класса? И пролепетал словечко «влюбился». Оно претило, как чужой словарь, но я кое-как вылепил его бастующими губами и чувствуя весь «вырви глаз», и что зря полез.

Бабушка тоже чуяла лишнестъ разговора и стала показательно вынужденно перебирать фамилии девочек, мол, раз дошло, то, конечно, пожалуйста, но между естественным разговором и этим будет такая же разница, как между словечком «влюбился» и словом «люблю». И пошло мерно-задумчивое перебирание: «Ну, конечно, не Лоскутова, не Миронова, не Баукова, не Рыбина». Я помалкиваю, поддакиваю, а сам весь извожусь оттого, что причём тут Рыбина, если есть Люда Полякова... А бабушка гнёт свой перечень, в котором «не» нарастает и достигает вершины в слове «не Полякова». А я, поёживаясь от ликованья, выпа-

ливаю, что да, как раз Полякова. Как раз она. Бабушка морщится, а я не могу понять, чем Люда-то не по ней? Пристаю. Бабушка долго ищет слово, мнётся:

– Ну она... она, как тебе объяснить...

– Ну какая?

Повисает что называется трудная пауза.

– Громоздкая.

– Как громоздкая?

– Ну громоздкая... – бабушка говорит прохладным голосом, в котором ничего нет, кроме недоумения: как можно не понимать, что Люда Полякова громоздкая девочка.

Больше всего мне обидно за свою несдержанность, ведь знал, не следует такие разговоры вести, а повёл:

– Бабушка, ну как громоздкая-то?

– Ну так... Все дети как дети пришли. А она – в пачке!

То, что я не всё путал и запоминал по-своему, подтверждается бабушкиной записью:

Вчера их отпустили после трёх уроков и он ушёл с Сашкой Васильевым в их двор. Я два раза бегала в школу. Прихожу он дома. Руки в мазутной грязной воде с желтизной. Пробрала, и весь день был какой-то другой, как-то открылся, говорил о других ребятах, о секретах. Да ещё Димка с соседнего двора – говорят с ним секреты. «Я ему сказал секрет». Я не спрашиваю какой. «Только я тебе не скажу». Молчу. «Я тебе на ушко потом». – «Скажи сейчас». И он мне шепнул: «Какую девочку я люблю?» – «Какую же?» Стала перечислять. Оказалось Полякову. Вкус неважный.

В конце февраля Нелли Григорьевна таинственным и торжественным голосом сказала нам, что ближе к весне мы пойдём в «подшефный детский сад вешать скворечники». Детский сад этот был неподалёку от нас во дворе дома, который я проходил по дороге в школу и в арку видел тополя. Огромные эти зимние, предвесенние тополя я хорошо чувствовал: стволина понизу в морщинистую жилу, а дальше гладкий и холодный до дрожи. Если задрать голову – шершавые бугорки, голые ветки и синее небо с бегущими облаками.

К весне я заболел. Не слушался бабушку, набрав полные валенки снега, лазил по сугробам, проваливался, валенки застряли с носками, я умудрился ещё и побегать босой, выпендриваясь перед Мишкой Кузнецовым и нарушив бабушкино правило: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». И эту картину запомнил верно, потому что бабушка безобразия записала подробно, хоть и не знала про снятие валенок.

Был скандал с ушанкой (серой, на пуговке уши). Не хочет застёгивать. Я застегну, он растягнёт. Так и сидели минут 15 в вестибюле, а потом по дороге продолжалось. Наконец – не растёгивается, видимо руки замёрзли, идёт, ковыряет застёжку, злится, ревёт со злости. Ветер, метель... Возле дома: «Не пойду домой, пока не растягну!» – «Ну и не ходи!» Пришёл минут через двадцать со двора – полные валенки снегу, шапка растягнута... Вот злыдня!

И вот болею, голова в жару, и жар то невыносимый, тяжёлый, то сладостный, и, конечно же, малиновое варенье, и морская рябь чая в блюде,

и бабушкин голос, тон, который она будто специально держит для меня, больного, говоря коротко и немного торжественно. И мне будто и разрешается много, но и интерес ко мне особый, внимательный. И особое обострённое чувство вызывает законная свежая жизнь, которая доходит как сквозь ватный подбой и которую взрослые приносят с улицы словно мне в упрёк.

И вот завязывается озноб, и вместе с жаром начинают клубиться шершавые бездны, наваливаются адские вереницы несметных чисел, меня мутит, и я рушусь в серые пупырчатые жернова, которые всё вращаются и вращаются, и именно это вращение наконец и выносит меня отдышаться. И я ворочаюсь в потном облаке жара уже с наслаждением, и если начинаю о чём-то думать, то картины сами растут, наслаиваются и обретают необыкновенную горячую притягательность. И я, конечно, представляю своих любимых хищных птиц, которых обожаю рисовать и которые мне нравятся своим свирепым взглядом из-за нависающего надглазного козырька. И я тоже хмурюсь и очень хочу быть грозно похожим на орла, особенно при Люде. Представляю и Люду и как она бессознательно улыбается и поворачивает голову в сторону Коли, когда он городит какую-то смешную грубятину.

В жару образы обретают сверхсилу, цветную выпуклость. Я и в обычной-то жизни прекрасно чувствую тополя, а тут они буквально выдвигаются навстречу – утренние, ледяные, гладкие, как железная труба, как промёрзшая кожа. Появятся и исчезнут, и снова вскипает варево жара, а когда малиново-чёрные клубы расступаются, вижу картину, по края наполненную спасительной крепостью, потому что в неё перешли чугунные ядра, катавшие в моей голове. В ней всё просто и прекрасно: два великолепно мёрзлых, прямых как стрела тополиных ствола.

Ствола два, а нас трое: Люда Полякова, Колька и я. Люда в синем пальто и в кружевном кокошнике. За тополями у забора остатки снега, у нас под ногами тополиные корни взламывают асфальт, и на них лежат два скворечника. Чтобы их потом поднять, пояса наши обмотаны верёвками. Кто первый повесит скворечник, того и поцелует Люда Полякова. Будучи первойшей руки знатоком птиц, я лучше всякого Кольки знаю, как лезть и вешать.

Утро ясное, к обеду пригреет, и клейкие, похожие на ос в меду, почки вот-вот набухнут на ветках, и я чувствую их острый горьковатый запах. Но пока рано и морозец. А по мёрзлому стволу особенно опасно лезть.

Неизвестно откуда появляется Нелли Григорьевна с остальным классом, болеющим, ясно, за Кольку. Нелли Григорьевна не разрешает мне лезть, но я рассказываю ей про мои летние залазы, и она сдаётся. Да и Колька рвётся, а он настолько влиятелен, что Нелли Григорьевна не может отказать. Удивительно, насколько она считается с его видностью, заворачивается им. Таким никто ни замечаний не делает, ни к директору не вызывает, хотя Колька троечник, как и я.

Я опережаю Кольку и лезу на тополь, и чувствую, как простреливает под коленками, когда нога соскальзывает с бугорка. Ствол гладкий, и на бугорки вся надежда. Главное, долезть до толстой ветки. Ярко вижу голый бледно-зелёный ствол и опиленный отвилоч на фоне синего неба.

Знаю, что Люда смотрит, и когда у меня снова соскальзывает с бугорка нога, у неё вырывается нежное и испуганное: «Ахх!» Но я долезаю, сажусь верхом на развилку и победно поднимаю на верёвке скво-

решник... Колька с красным от злобы лицом карабкается по соседнему стволу и который раз бессильно сползает.

В разные залазы я то прибивал скворечник гвоздями, то привязывал за сук. И всегда труднее всего было слезть. Но я обнимаю мой тополь, что есть силы, прижимаясь щекой к его замороженной шкуре, – и, спасибо тебе, брат-дерево – небрежно сползаю на землю...

3

Лет тридцать спустя я крепко приболел в тайге, и тогда особенно часто заприходила ко мне во сне бабушка, поя малиной и читая «У Лукоморья дуб зелёный». Я всё спрашивал, помнит ли она те тополя и запах их клейких листочков, а она говорила держать ноги в тепле, а голову в холоде. И ещё, что не никогда не выздоровлю, если буду *«мало читать и так тосковать по ней и по детству»*.

Той весной я много читал, когда выздоравливал. День поправки выдался вовсе особенный – я проснулся от истошного писка: серые в полоску котята пищали тонко-тонко в картонном ящике. К ним, негромко и отрывисто взмывавшая, бежала Мяка. Неузнаваемо собранная, она мягко впрыгнула в ящик и, продолжая отрывисто мурчать, улеглась навстречу шевелящейся серой массе.

В этот день букетик верб принесла мама и поставила в длинную хрустальную вазу, на мелких гранях которой настолько причудливо заиграл свет, что ваза казалось прозрачным древесным стволом с соками, бегущими по жилам. Это были первые вербы, которые я запомнил, и они так и остались в памяти как, как заглавные. То же можно сказать и про котят в ящике, и про первую спичку, пущенную по ребристой ручью вдоль тротуара.

С этими открытиями-сокровищами я и шёл в школу солнечным тёплым днём, не забыв заглянуть в арку на тополя, которые стояли теперь особенно знакомо и заманисто.

В школе стояла беда: ходили в детский сад вешать скворечники, Нелли Григорьевна отправила Колю на тополь, а он, сорвавшись, упал головой об асфальт и теперь лежал в больнице, где ему делали «трепонацию черепа». С ряда на ряд переползало страшное это слово, которое кто-то из детишек не мог толком выговорить и произнёс «трупонация». Девочки ревя ревели. Люда, если раньше худо-бедно замахивалась на меня учебником, то теперь не замечала вовсе и, оводя заплаканными глазами класс, не задерживалась на мне или глядела как сквозь предмет.

Бледная Нелли Григорьевна в начале урока сорвалась вдруг со стула, сказала, чтоб мы сидели тихо, что её вызывают к директору, а вернувшись, сказала, пряча глаза:

– Ребята, если вас будут спрашивать, пожалуйста, скажите, что я Колю не посылала на дерево.

Мальчики молчали, а девочки пустили заговорщицкий шёпоток:

– Ребята, надо сказать, а то Неллю Григорьевну посадят в тюрьму.

Я переживал на Колю, не жаловал Нелли Григорьевну, и желание за нас спрятаться показалась мне мелковатым. Бабушке я всё рассказал в надежде, что она разделит моё недоумение. Бабушка умела так красноречиво омолчать мои умствования и так поджать губы, что ты чувствовал себя полным дурнем. Я попытался, объяснить, что, мол, она ж «вырви глаз», «ты сама говорила», но бабушка сказала, что «вырви глаз» сейчас вспоминать об этом. Я стал допытываться почему,

а бабушка завела обычное: чем спрашивать глупости, лучше поставить себя на место другого человека.

– Бабушка, – нудил я.

– А?

– А что бы ты на её месте сделала?

У бабушки был голос, который я называл «скучный» – когда она была вынуждена объяснять что-то очевидное, когда ей было удивительно, как можно очевидное не понимать, не знать нутром и проявлять такую «серость». Меня всегда интересовали коренные вопросы, связанные, к примеру, с деторождением. Однажды я крепко прижал бабушку: зачем нужны отцы и как дети попадают из живота наружу? Бабушка взялась объяснять про мужское и женское семечки, которые-де, соединяются, и потом из них непонятно как является ребёнок. Учитывая, что бабушка терпеть не могла семечки, я плюнул и перешёл ко второму вопросу. У нас дома считалось, что маме разрезают живот и оттуда тебя достают, но такая завязка на больницу и ножик казалось противоестественной, не природной: а вдруг нет рядом доктора? Так что: откуда появляются дети?! Бабушка не хотела отвечать, я нудил, и она вдруг замолчала, а потом обречённо брякнула детское словечко, обозначающее место, откуда появляются дети. Стало нестерпимо стыдно, неловко, что вынудил на откровенность, зная неспособность бабушки врать. Обречённый этот голос я и называл «скучным». И сейчас бабушка сказала «скучным голосом»:

– Я бы упала с дерева.

– Как упала?

– Да так. Не дай бог на её месте оказаться.

Никто, конечно, никакую Нелли Григорьевну не посадил и не тронул, но Коля, говорят, потом долго болел, хотя дальнейшую его судьбу я не знаю, поскольку перешёл в другую школу.

А потом настала первая моя Пасха, и мы с бабушкой пошли в Новодевичий. Ни сборов, ни дороги не помню – помню только, как подходили вдоль монастырской стены к воротам и что виднелась Москва-река. В Москве было достаточно монастырей, мне привычных, а может, и взор я ещё не набил на красоту, но прекрасный образ этого монастыря до меня тогда не дошёл.

Но то, что я испытал далее, – не забыть. Внутри монастыря возле храма длинно стояли столы, покрытые разноцветьем рушников, обильно крашеных яиц в расписных чашках, тарелок с пасхами и куличей со свечами. Кипело, гудело, ворковало оживлённое варево женщин, старушек в платках, цвело действо, старинное, дивное, яркое – я отчётливо помню его дух, питавший в те часы бабушку.

В храме на Литургии меня поразило пение Символа Веры. Вслед за батюшкой оно кругово народилось вздохом, шорохом, и я ощутил себя в центре этого рождения, многоголосого и многоголосного, когда десятки людей, неказисто иссушенных возрастом, обратились вдруг в единый чистейший напев. Особо заворожил переход на словах «Вседержителя-я-я-я», уход вверх на этом «ляяя». Ничего близкого по аскетизму и человеческой понятности я не слышал... Помню и свою зажатость меж прихожанами, и непривычку долго стоять, борьбу с собой... Но самое незабываемое началось дальше: когда совсем рядом режущесвеже возрос сильный и особенно живой голос, который стебельчато перевиваясь с остальными, уводил их под купол. Пела совсем рядом молодая женщина с большими серыми глазами. Что поразило в её пе-

нии? Полное отсутствие концертного желания показать себя и при этом небоязнь петь во всю силу. Она будто говорила: «Да. Я могу сказать о главном так вот прекрасно, но меня здесь нет, а есть образ, и я знаю, как он отзывается в вас, и именно силой этого отзова и жив мой голос».

Напев, уже ставший моим, повторился в Отче Наш, и снова шла служба, и мне всё труднее стоялось, и я чаще поглядывал на бабушку в надежде на поблажку. Но она смотрела вперёд и, чуя моё перемирание-топтание, не переводя взгляда, крепко взяла меня за руку. Зычный богатый голос возгласил: «Христос Воскресе!» и, исподволь зашелестев, эхово преобразуясь под сводом, стал нарождаться шелест листьев, переплеск крыл, который, олетая весь храм, собрал по зёрнышку «Воистину Воскресе» во единый протяжный, мятущийся колос.

Так впервые по милости бабушки испытал я благодать соборного единения. И теперь ощущаю исходящую от бабушки в тот день осязаемую волну: быть здесь со мной – и в храме на Литургии, и на улице у праздничных столов. Чувствовать ликование обступивших старушек в платочках, синего неба, воробышков, клюющих крошки от куличей. И не проронив слова, сказать *всё* счастливым и строгим своим видом, торжественным молчанием, означающим одно: «Внимай». Такое бывает в единственном случае – когда приходят на Родину.

Бабушка, я внял всему, что ты завещала. Сберегу, не предам и не отдам на поругу ни ракутного кустика земли родной. Передам завещанное правнукам, яко же приях. Одного лишь не в силах исполнить: не тосковать по тебе и по детству.

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием.

И восшедшаго на Небеса, и сядуща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и славима, глаголавшаго пророки.

Во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино Крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых,

и жизни будущаго века.

Аминь.

Алена БАЙКИНА

Родилась в посёлке им. М.И. Калинина Ветлужского района Горьковской области. Окончила исторический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Десять лет учительствовала в школе, работала на радио, главным редактором газеты «Выкс@.ru», в настоящее время сотрудник библиотеки «Отчий край».

Живет в Выксе.

МЫШКИНЫ СЛЕЗКИ

Знаешь, в ней реально что-то было... Беспокойство, что ли...

С лестницы она мелким горошком, на ней кофточка какая-то воздушная, летит восторженная, улыбается. Обнимается со всеми, на цыпочки встанет, и руки на шею. Сама тоненькая, а когда вытянется, совсем струночка. Мужики лыбятся – еще бы, этакое счастье привалило!

Он стоит в сторонке, чужой, огромный, неуваянный такой, кепка эта дурацкая пол-лица закрыла. До него когда очередь дошла, аж пятнами от смущения покрылся. Он и без того краснел по любому поводу, а уж тут...

– Привет! – сияет вся, будто пряник ей посулили. – Ты не волнуйся, все будет хорошо!

И норовит под кепку в глаза заглянуть, смородины свои круглые тарашит. Чему радуется?!

Было хорошо. Так хорошо, что он и не мыслил себе. Ночь они тогда проговорили, а утром уж и не разлепить. На прощание посмел, за плечи взял. Потянул к себе, она подалась. И лбом в козырек треклятый уперлась, щурится, смеется:

– Ты мне позвони! Я буду ждать.

Она ждала. А он не мог. Едва из автобуса вышел, сел на лавочку и давай звонить.

– Привет...

– Привет...

Помолчали оба.

– У нас солнышко...

– У нас тоже...

– А через улицу кошка бежит. Черная.

– Сестренка... Младшая.

– Почему?

– Ну как почему! Я же в прошлой жизни кошкой была. И в будущей тоже буду. Мяфф!

Так у нее забавно вышло, будто и правда кошка мяфкнула.

Засмеялись оба.

– А я заяц. Большой, старый, ленивый заяц, вот.

Они в те дни часто смеялись. Она ему про песни любимые рассказывала, по телефону слушать давала. Он ей книжки цитировал наизусть. О. Генри, Довлатова, Лосева. Довлатова он сильно любил, она в книжный сбегала, нашла сборничек, всю ночь читала.

Стругацкими они оба зачитывались. И много было того, что «оба»... Не сговариваясь, сразу попадали. Как эхо друг друга откликались:

– Да, я тоже...

– Да, и мне...

Пела внутри синхронность эта, она ходила счастливая и пела:

– Ой, Юра-Юра-Юра,

Я такая дура, что в тебя влюбилась...

И от идиотской песенки этой становилось еще веселее. На вопросы отвечала коротко:

– Влюбилась!

Кто ж поверит, когда тебе сороковник доходит, две девчонки почти взрослые, муж умница. Лежала ночами, думала, сравнивала. И уже близка была к тому, чтобы сказать все. Мыслимо ли дело – такую любовь в сердце прятать. Разорвется сердечко.

Не выдержала. Придумала дело, с работы сорвалась, и махнула к нему. Месяц прошел. Только бы глянуть разок, а там...

Квартирка крохотная, воды горячей нет, а на кухне рыба сушится. И запах от рыбы сногшибательный. Он ее целовал, она голову запрокидывала и всякий раз, как открывала глаза, рыба эта прямо перед носом висела. Ее смех душит, а он обижается:

– Я что-то не так делаю?

– Нет-нет, все так, только давай отсюда уйдем! Ну, в комнату хотя бы. А то тут вобла твоя подсматривает.

– Я рыбов ловить люблю, – коверкая слова, он стал показывать, как толстый зайчище с удочкой идет на рыбалку.

– Где ж ты зайца с удочкой видал?

– Значит, я первый.

И опять смеялись. На полу сидели, прижавшись, слушали музыку – она ему диск привезла своей любимой.

В наручники тебя,
И на железный стол,
И 220 вольт...

Это Мара расстаралась. И в другой раз она бы камушка не оставила от такого текста. А тут...

Целовались до головокружения. Он рукой по шее провел, она поехала, и он больше не пытался. Ругал себя потом – как мальчишка, как школьник! Да обоих держало.

Нет, о ее девочках он не думал. Как-то всегда воспринимал ее отвлеченно, мечтал о ней, желал ее, готов был в огонь и в воду за нее. А что жена мужняя, мать там... Это нет, отдельно где-то записано.

Впрочем, не совсем. Что муж, мужчина, который прав имеет больше, чем он, с которым она в постель ложится, – тут сердечко, конечно,

шкалило. Только он думать себе об этом запрещал, потому что тяжело непосильно.

В магазин на углу не заходил с месяц. А вот как началось все, так и не заходил.

– Юр, она кто? – и как-то посмотрела... Ну чисто Кошка.

– Да кто она... Продавщица. Мышка, одним словом.

Мышка... Ну, беда тебе. Когда кошка в доме, даже и рядом делать нечего.

Та не пыталась. Пришла раз только, сама пришла.

– Ничего мне от тебя ведь не надо. Просто побуду. Можно? Не выгонишь?

Не выгнал. До вечера молча просидели. Она кровать разобрала, разделась, легла. Он покурил на балконе, пришел и бросил на пол бушлат.

– Я тут переночую.

Утром сделал вид, что не слышал ее ухода.

У Мышки тоже были две дочки. Худенькие, с косичками, погодки. Младшенькая, Светка, первая не стерпела.

– Мама, а почему дядя Юра к нам больше не приходит?

Мать похолодела, охнула и расплакалась.

Назавтра Светка заболела. В школу не пошла, лежала, глядя куда-то мимо всех. Врача вызвали.

– Что-то случилось? – врач спросил так, будто Мышка виновата была. – На простуду не похоже, я бы сказала – нервное это.

Теперь Мышка плакала над Светкой. Старшая ходила мрачнее тучи. Звонила ему, он трубку не брал.

Светка дождалась, когда все утомонятся, сунула ноги в тапочки и тихонько прокралась в коридор. Там было темно, и она поторопилась на улицу.

Они читали Брэдбери, когда в дверь не постучали. Нет, поцарапались. Похоже, Мурзика соседи домой не пустили, вот он и клянит ночевку.

Ей все труднее становилось находить предлоги для отлучек из дома. Все тяжелее уезжать потом от него. Будто что-то проросло в них обоих и все плотнее притягивало друг к другу. Октябрь шуршал за окном уютным дождем, под который так славно плакать или пить чай с мятой. Надо было что-то решать, и она чувствовала, будто ее разывают надвое. Где-то надо было рвать. Резать живое. Анестезии на такой случай никто не придумал.

Под дверью скреблись еще настойчивее. Спросил – кто, раздалось нечто невнятное. Ему показалось, что там плачет ребенок. Во втором часу ночи и не такое причудится.

Распахнул дверь.

Перед ним стояла Мышкина Светка. В тапках и мокрой насквозь пижаме.

– Дядя Юра... А почему ты к нам больше не приходишь? Я тебя так люблю...

На мгновение он оцепенел. Потом схватил детское тельце в охапку, сунул неловко на кровать и замотал в одеяло.

– Светка! Как же ты... На чем?

– Пешком...

Ее взгляд наткнулся на чужую женщину и больше от нее не отрывался.

– Дядя Юра... – не глядя.

– Что, малышка! Как же ты... Я сейчас чаю тебе...

– Дядя Юра... Не надо! Я уйду сейчас. Я только хотела сказать...

И все смотрела, смотрела. Попыталась высвободиться из-под одеяла. Он держал, такой большой, неуклюжий, растерянный. Обнял, прижал к себе, стал укачивать. Бормотал что-то, уговаривал. Светка сначала вырывалась, потом ослабла как-то и, наконец, расплакалась. Он уткнулся лицом в ее мокрые волосы.

– Малышка... Как же ты...

Других слов он просто не мог припомнить. Качал ее в одеяле, качал. Понял вдруг, что ребенок перестал плакать. Ужаснулся, разжал объятия, заглянул в лицо. Девочка спала. На щеках еще блестели полоски, и всхлипывала она во сне. Но спала. Он опустил ее на подушку.

– Это Мышкина. Младшенькая... Через полгорода ведь... В пижаме...

Она не ответила.

Он обернулся.

Ее в комнате не было.

Дождь все шел. И она шла. Так они брели по сонным улицам маленького городка, поочередно отражаясь в лужах. Она молчала, дождь выводил свою нехитрую мелодию. До утра и первого автобуса оставалось почти три часа.

Времени было достаточно.

Андрей НОВИКОВ

Родился в 1961 году в селе Алабузино Тверской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал корреспондентом, ответственным секретарём в газетах, специальным корреспондентом РИА Новости по Липецкой области, главным редактором газеты «Город Лип».

Публиковался в журналах, альманахах, коллективных сборниках. Автор пяти книг поэзии и прозы. Награжден большой серебряной медалью Н. Гумилева, лауреат премии литературного журнала «Петровский мост», VI открытой Международной Южно-Уральской литературной премии. Секретарь Союза писателей России. Живёт в Липецке.

ЕСЛИ ПОВСТРЕЧАЕТЕ ЗОЛОТО...

Девятнадцатилетняя Настя жила в небольшой избе в два окна. Жилье ей выделили после интерната соцработники в небольшом северном поселке возле золотоносной реки. Конечно, Насте была положена квартира, но давать благоустроенное жилье одинокой, забитой и юридически неграмотной девушке никто не собирался. В соцзащите лукаво улыбнулись и выдали детдомовке бумагу на этот дом. Сказали разыскать главу местного поселения. Настя нашла его, он провёл девушку по всему поселку. У одиноко стоявшего на окраине дома нарочито театрально открыл дверь, протянул ей ключи и весело крикнул:

— Владей, всё твоё!

Насте показалось, что глава был немного пьян. Она в первую ночь хорошо натопила печь, на ужин обошлась пачкой «роллтона» и банкой килек в томате. Но все равно в новом жилье было сыро, прохладно и все вокруг казалось чужим. В доме громко скрипели облупленные половицы, Настя понимала, что дело плохо, если лаги под полом стали двигаться, то домишко долго не простоит.

Тогда у Насти был парень, Виктор, но ехать в поселок, пусть из большого районного города, он не захотел, и девушка осталась одна. Она всю ночь не могла уснуть, смотрела в окно и, дыша на холодные стекла, писала его имя. Настя осторожно мечтала, мечты были просты — спать каждый день на чистых простынях, чтобы их стирал кто-то другой, гладил и стелил, но только не она. И пусть будет волшебный шкафчик, в который кто-то неведомый станет складывать стиранные и глаженные носки, трусы, футболки для Насти. И печку пусть топит тоже кто-то другой. Пусть он пилит и колет вечно сырые дрова.

Впрочем, она понимала, что строить с ним будущее было невозможно, Виктор был молодым, отчаянным, матерым вором, на память он

оставил Насте охотничий карабин «Сайга». Их общение окончательно закончилось, когда он упросил Настю поучаствовать в гоп-стопе. В поселок приехали богатые охотники-москвичи. Насте нужно было только попасть на их гулянку и вовремя открыть дверь Виктору и его местной шпане, что затаились в соседнем доме. Столичные гости были лошенные по-городскому, сладкие до ужаса, при деньгах, у всех ногти на руках холёные и чистые. Настю они сами позвали в гости, увидев на улице. В доме стоял уже дым коромыслом, богатая закуска. К Насте тут же подсел здоровый пожилой пьяный мужик, кожа на его красном лице была бугристой, похожей на фрикадельку. «Фрикаделька» всё пытался Настю тискать, шепча в ухо липкими, толстыми губами: «Пошли ко мне. У меня тут комната есть свободная», – а девушка пьяно смеялась, запрокинув голову: «Погоди! Давай выпьем ещё, а потом уже пойдём». Он кивал в ответ, а у самого глазёнки искрились от нетерпения. Настя смотрела на него и думала: «Дурак! На тебя сейчас нож точат в соседнем доме, а ты размышляешь о моих сиськах!» Затем она сделала вид, что идет в туалет, а сама юркнула в коридор и открыла замки входной двери. Приятели-разбойники мигом влетели в дом и поставили всю компанию под ружья и ножи. Москвичи отдали все, что было, и ранним утром исчезли из поселка. Тогда Виктор и подарил Насте за удачный гоп-стоп карабин «Сайга». А может просто хотел избавиться от улики и отвести от себя подозрение, но больше Настя его не видела. Удивительно, но в милицию москвичи так и не обратились.

Глава администрации еще несколько раз заходил к ней, спрашивал, как устроилась, приносил чай и сахар. Один раз они даже сыграли в карты, Настя заметила, что у него длинные и тонкие нервные пальцы, они дрожали, когда он держал в руках помятую колоду. Потом он куда-то пропал, уехал, а главой поселения стала подозрительная, тихая пенсионерка, которая практически не выходила из дома.

Настя, оставаясь в своем неуютном доме, часто всматриваюсь в чужие ночные окна, пытаюсь представить, что там, за шторами. Ей казалось, что там другая, интересная, беззаботная жизнь, и все чаще она вспоминала свое такое же неуютное детдомовское детство, при живых, пьющих родителях, взрослых братья и сестрах, которых судьба близких людей почему-то совершенно не интересовала. Деревянный, старый, обшарпанный одноэтажный детский дом, где стойко пахло кухней и половой тряпкой. Старая мебель, старая одежда, старые неуклюжие игрушки. Кормили одним и тем же: суп, тошнотворное, ссохшееся гороховое пюре, слипшиеся макароны, синюшные вареные яйца, серое пюре из подмороженной картошки, кисель с черным хлебом. Съедали все до крошки, а хлебом набивали карманы. А еще они хорошо умели врать, сваливать всю вину на другого. Они словно ждали, чтобы ты споткнулся, чтобы наябедничать: мол, посмотрите – я хороший, а он плохой. До поры до времени Настя верила в чудо: что вот откроется дверь, войдет воспитательница и скажет: «За тобой пришла мама». Настя любила мечтать об этом моменте, пока не поняла, что все впустую. Однажды, когда Настя была в шестом классе, удочерили девочку Веру, с которой она дружила. Втайне от всех Настя месяц ночами редела в подушку. Она все понимала, но от этого еще больше душила бессильная обида.

День в детском доме начинался с линейки, на которой директор говорил одну и ту же фразу: «Запомните, вы – никто и вы не нужны никому. У вас нет прав, у вас одни обязанности».

Настя слушала его совсем не по-детски и уже тогда понимала, что жизнь – странная вещь. Ее текучесть подобна реке.

Поселок был буквально умирающий, некогда богатого сырьевого района. Промышленная выработка золота закончилась еще лет двадцать назад, но в отвалах, которые находятся на реке прямо за огородами, еще можно намыть приличное количество драгоценного металла. Участок реки давно негласно поделен между местными жителями, нравы сибирские суровые, появится чужак золото мыть, даже предупредить не будут, сразу берутся за ствол. Местный участковый на реку даже носа не сует, понимает, что народу нужно как-то выживать. Золото закончилось, заканчивается и жизнь. Кто-то еще работает на драге, кто-то хищничает, кто-то охотится, кто-то пьянствует. Добытое золото не пошло на пользу ни поселку, ни району. Причем как при царях и коммунистах, так и при олигархах. Ни нормального жилья, ни дорог.

Чтобы не было скучно, Настя пустила жиличку – поселянку, бывшую воровку на доверии Светлану, она отбывала теперь уже на полувольных хлебах трехлетний срок. Дом был старый. Печка вела себя скверно, ее приходилось зимой все время подтапливать. Подруги пытались её ремонтировать, но ума и умения так и не хватило. А печка, будто живое существо, казалось, издевалась над ними, заунывно шумела и требовала больше дров. Они понимали, даже по звукам, что есть трещина на чердаке между жестяными коленами, тепло предательски уходит. Не только уходит, но может и убить.

Однажды, в морозную ночь, изрядно намучившись с печкой, да и хорошо выпив, подруги решили пораньше закрыть заслонку на трубе и уснули. Если бы не собака Найда, которую от мороза пустили ночевать в дом, скорее всего Настю и Свету нашли бы утром мертвыми. Собака настойчиво будила девочек, лаяла, покусывала и все же заставила подняться. Настя с тяжелой головой сразу поняла, что происходит, еле дошла до двери в сени и, широко распахнув ее, практически в бессознательном состоянии осела на пороге, глотая живительный морозный воздух. Собаку, породистую немецкую овчарку, Настя случайно выиграла в карты у солдат в тюремном питомнике. Тогда на кону было много чего, играли долго. Солдаты кинули на кон сотовые телефоны, ноутбук, деньги. Настя кинула весь золотой песок, который намыла за полгода. Карта у нее была хорошая, но и тюремные солдаты улыбались. Настя предложила кинуть им на кон щенка овчарки, она знала, что в питомнике недавно оценилась молодая сука. Но солдаты тупо мотали отрицательно головами, дескать, их за такого щенка под суд отправят. Насте давно хотелось породистую овчарку. И она неожиданно поставила себя на час против щенка. Господи! Как она тогда боялась! Один только бордатый мужик на небе был в курсе, как она испугалась своего голоса, когда это предложила солдатам. Солдаты смотрели на Настю страшно, гадливо улыбаясь... Карты вскрыли, солдаты все проиграли. Найда была забавной и крошечной, Настя долго спала ней в одной койке.

Беспросветность жизни Настя полностью ощутила, когда заболела и поехала в районную больницу на прием к врачу. Она шла по улице и ощущала чужие холодные взгляды на своей старенькой фуфайке, потерявших спортивных брюках, неуклюже подшитых валенках. Ей казалось, что во всяком встречном взгляде она видит только одно: «Нищая!» Она словно сама себе говорила: «Не делайте мне больно, не селите в моём сердце злобу и гнев. И самое главное – не селите в моём сердце зависть! Я ведь завидую вам».

Несколько рецептов, которые ей выписал молодой симпатичный терапевт, она тут же смяла и выбросила в снег, выходя из больницы. Денег на лекарства у нее не было. От этого и от общения с красивым врачом, который ей показался человеком из другого мира, ей еще больше не хотелось жить.

В райцентре она зашла только к своему бывшему однокашнику по интернату. Как оказалось, этот бывший детдомовец неплохо в жизни устроился. Насте он никогда не нравился. Нос у него был большой и широкий, как у китайского заварного чайника. Чалдонские глаза-ириски, вечно бегающие в поисках то ли жертвы, то ли наживы, постоянная испарина на лбу, даже в лютые морозы. Занимался он тем, что мотался по деревням и скупал у старух иконы. Пару раз сидел за мошенничество. Зековская погремушка у него была интересная – Комиссар. Продрогшей Насте он даже не предложил стакан чаю, а сразу стал хвастливо показывать добытые иконы. «Досочек» этих у него было видимо-невидимо! С почерневших от времени «досочек» укоризненно на Настю и Комиссара смотрели лики святых. Уходя от него на автобусную станцию и после, смотря из окна «пазика» на разбитую дорогу, Настя все вспоминала его алчные слова:

– Настя, прикинь, Богоматерь – триста! Иисус с разбойниками – пятьсот! Цены в долларах! Только доллары!

С подругой они часто выпивали, скорее от безысходного времяпровождения, заквашивали из таежных ягод кислую брагу. С тяжелого похмелья, с пустого желудка, Настю часто рвало, а похмельные сны были вовсе кошмарные. Часто снился волосатый, рыжий черт. Он скакал по комнате, цокая гнилыми копытцами и мерзко потирая руки приговаривал: – «Нет больше конфет! Закончились конфеты!» В полусне Настя не могла дожидаться, когда он отстанет со своими дурацкими конфетами, спрашивала сама у себя, шевеля пересохшими губами: «Какие ещё конфеты? Почему они у него кончились?!»

Проснувшись она под утро от слабости и стыда. Ночью со Светланой они выпили всю кастрюлю браги и подрались. Но больше Настя ничего не помнила. В доме на полу куча стреляных гильз от карабина «Сайга», у Светланы порвано веко и пороховой ожог на плече. Одно окно разбито и заткнуто Настиной подушкой. У нее был только один немой вопрос: «Почему именно моей?» Светлана ничего не помнила, а «Сайга» с разряженным магазином стояла у печки. В голове только и вертелось: «Калибр 7.62». Настя и карабин долго смотрели друг на друга, и ей казалось, что «Сайга» ее когда-то точно переглядит.

Иногда к подругам заходил сосед-пенсионер. В этот раз он появился на пороге со словами:

– Увидел подушку вместо окна у вас и решил зайти, мало ли чего...

Дед живёт один, бабка у него умерла давно, дети с внуками в Красноярске. Настю все время удивляло, почему дед такой старый, а зубы здоровые, пусть и желтые. А дед ощерил рот сквозь седую бороду:

– Пьёте сильно, девки. Завязывайте, зачем из ружья палили, небось, весь поселок растревожили!

Настя, не вылезая из-под одеяла, лениво ответила ему:

– Дед, угомонись! Жизни не учи. Супчика похлебаешь?

В доме уже действительно пахло супом, у печки виновато суетилась с помятым лицом и копной рыжих волос Света. Она варила хороший суп, даже с похмелья. Дед согласился поесть, с удовольствием хлебал суп и всё разговаривал. Дед всю жизнь прожил здесь, лет сорок работал

на драге, золото мыл. Пару раз сидел за что-то, но не очень страшное, за что, Настя точно не знала. После супа дед сходил за стеклом и стеклорезом и поставил стекло. Наконец подушку из окна вытащили. Дед принес бутылку водки, вина, конфет и полтора десятка яиц. Настя с удовольствием смотрела на конфеты, вспоминала ночного черта, дескать, не зря нечистый конфетами донимал. Яйца подруги не видели несколько месяцев. Наелись впрок, Настя знала, что Света любит, когда желток с белком перемешан, а она предпочитала наоборот. Любила целый желток собирать булкой, ела жадно, чувствуя себя змеей, которая заползла в птичье гнездо. В этот раз случился у них целый «дедовский» вечер. Слушали музыку, ища в ноутбуке ту, что хотел дед. Старик первый раз видел ноутбук, очень удивлялся:

– Что это у тебя, говорящая книжица?

– Это окно в мир, – в один голос хохотали Настя и Света.

Смешной дед. Напился, разговорился. Настя смотрела на него и думала: «Дед! Не умирай только, поживи ещё немного». А он всё слушал ролики и приговаривал:

– Эх, девки! Просрали мы страну! Сами пожили, а вам и не досталось ни хрена!

На этом старик неожиданно заплакал. Света укорила его:

– Дед! Ты что же это, пришёл к нам сырость разводить?!

В ответ старик только беззлбно огрызнулся на нее:

– Рот закрой! Бикса непоротая!

С этими словами он уснул прямо на стуле. А подруги еще долго хохотали над его словами, допивая крепкий вермут.

Переписываясь по интернету с разными людьми, Настя неожиданно получила посылку из Ростова. Доброжелатель прислал куртку и лыжи. Настя и радовалась, и негодовала, даже в порыве написала:

«Мужик из Ростова! Обращаюсь к тебе, чертовски спасибо за куртку и лыжи. И как ты догадался, что именно широкие лыжи нужны. Не суть! Короче, больше ничего не нужно присылать. Мы куртку вертели и поняли, что стоит она дорого. Отблагодарить тебя нечем. Это раз! Второе, я ничего не просила. В общем, если ещё раз придёт с почты извещение о посылке, то я туда не пойду. Ничего не нужно!»

Однако, немного подумав, поняла, что иногда люди просто хотят помочь, без унижения и благодарности. И добавила в личку:

«Спасибо за куртку! Целую тебя, куртка и задницу прикрывает от холода и ветра, и под грудь правильно сделана».

Первого января девчонки не смогли усидеть дома. Всё же праздник проходит... Выпросили утром у деда немного денег в долг и пошли на лыжах в соседний посёлок. В полдень уже были там. Света на старых лыжах, а Настя опробовала новые и поняла, что они очень хороши. В соседнем поселке у Насти была знакомая по интернату Нина Ершова. У неё всегда быть весело. Два года назад она уезжала в город, но вернулась со шрамом на губе и порванными мочками ушей. Стало быть, поиски девичьего счастья в большом городе не получились. За столом посидели аккурратно и к ночи вернулись домой.

Самое скверное, что работы никакой у Насти и Светы не было. Добрую половину населения поселка составляли расконвоированные, будто государство пыталось сбросить с себя этот ушлый народ, ведь зэков нужно было кормить, а чтобы иметь какие-то наличные деньги, все мыли втихаря золото. Добыча золота ведется в основном на площади, загроможденной прежними отвалами, то есть под слежавшимися

кучами гравия, песка и глины. На этих бывших, еще с советских времен, отвалах еще много металла, он залегает до самого верховья речки. Настя восхищалась золотом, оно было для нее доступным и одновременно недоступным металлом. Насте казалось, что золото умеет разговаривать. Золото любит труд, ежедневный, с утра и до вечера. Потаскай ведра с породой да помаши кайлом и лопатой, помой лотком в ледяной воде и поймёшь, что золото стоит намного больше тех бумажек, на которые его меняют.

Настя вываливает серую глиняную массу вместе с галькой в решето с большими отверстиями, вставленное в емкость. Она тщательно просеивает грунт, руками промывает гальку в воде над решетом и откидывает крупные куски породы. Начинается длительный процесс вымывания породы в шайке, затем в деревянной лотке, почему-то сделанном из кедра и формой напоминающей лодочку. Мыть драгоценный металл любит она одна на реке. Порой смертельно уставшая, от холодной воды ноют ноги и руки, но стоило ей посмотреть на намывое золото – и все казалось прекрасным. Хотя в голове не осталось никаких мыслей – лишь монотонное чавканье грязи под ногами и гудение мошки. Она только шептала золоту: «Прелесть! Ты теперь мое», – но тут же холодный пот пробирал ее до нижнего белья. Намывое золото приходилось отдавать вездесущим скупщикам-азербайджанцам практически за бесценок. Да никто золото постороннему и не продаст: для черных старателей такая коммерческая самостоятельность чревата серьезными проблемами, порой жизнью. Каждый золотодобытчик «закреплен» за определенным скупщиком, как крепостной за баринном. Только недавно она осознала, что нет ни у нее, ни у подруги ни одного кольца или серёжек из золота. Но с намывтым тяжким трудом драгоценным металлом она расставалась по-особому, словно провожала его в новую жизнь. Перед тем, как продать его перекупщикам, шептала про себя: «Милое, дорогое золото, отомсти там за меня, наделай богатым плохого и злого, да и про кровь не забудь». И казалось ей, что золото отвечает тихим, мерцающим голосом: «Не вопрос, Настя! Это я умею. И зла наворочу, а уж кровью точно перемажу, обещаю!» Настя точно знала, что отправляет свое золото в кровавое путешествие, после перекупщиков оно уходит всё дальше и дальше, дескать, такой привет передайте от меня, если золото повстречаете...

КНИЖНЫЕ ЛЮДИ

После окончания культурно-просветительного училища Аня получила распределение на работу в большое село Подгорное. Она стояло в девяти километрах от райцентра. Комнату ей пообещали снять у сельской пенсионерки. Рейсовый автобус сломался на середине пути и Ане, единственной пассажирке пришлось зимней ночью идти больше часа пешком. Ей даже показалось, что на пустынной дороге, огороженной деревянными снегозащитными щитами, она видела волка. В темноте из придорожных кустов горели два внимательных глаза. Она шла и боялась обернуться. Так и вошла она в темное село, нужный дом спросила у стоявшей у колонки женщины:

— Это вам к Елизавете Дымовой, — опустила оцинкованное ведро закутанная в теплый платок селянка, — вот тот дом, из красного кирпича возле склада, видите, окно горит?

Аня благодарно кивнула и пошла на слабый огонек за красной занавеской. Дом у пенсионерки Дымовой был небольшой, кирпичный, в одно окно, с пристроенным двором из самана. Весь двор был заполнен желтыми и оранжевыми тыквами, часть из них уже успела подгнить. Старушка Елизавета встретила Аню приветливо, быстро оценив, что новая библиотечарша сильно продрогла.

— Автобус сломался, — виновато сказала Аня, — я полдороги пешком шла. Мне кажется, я волка видела, сильно испугалась.

— У нас такое бывает, — кивнула пенсионерка, — ты полезай-ка на печь, задницу греть, а я щи тебе разогрею.

Аня, молча и с благодарностью вошла в пальто на полати. Они пахли старыми валенками, шиповником и сухой глиной. Уже через полчаса она согрелась, а бабка Елизавета разогрела щи на электрической плите.

Она подала Ане щи прямо в помятой алюминиевой кастрюле, нарезав несколько пластиков сала и черного хлеба. Эта простая еда показалась Ане самой вкусной на свете. В это время бабка Елизавета, бурча себе под нос, перешла к разговору о личной жизни. На стене, в деревянной рамочке висели старые, пожелтевшие семейные фотографии. Одна была самая крупная, с человеком в военной гимнастерке:

— Вот я с Петром Федоровичем тридцать лет прожила, умер десять лет назад от воспаления легких. Шестерых детей родили, трое померли, а остальных жизнь по всей стране развела. Редко приезжают, внуков всего два раза видела. Мужа всю жизнь по имени и отчеству звала, не так как теперь у вас принято, в строгости жили, даже ни разу не поцеловались.

Аня от неожиданности поперхнулась щами:

— Как это так, шестерых детей сделали и не поцеловались?

– А что я, – хитро улыбнулась бабка Елизавета, – спать лягу, он сзади пристроится и что-то там ворочается себе, а я вид делаю, что сплю. Так дети и получались, без всяких ваших поцелуев!

Библиотечные дни были похожи один на другой. В натопленном большой металлической печью зале стоял резких запах типографской краски, книг, газет, журналов. Молодая библиотекарша Аня откровенно скучала целыми днями, дожидаясь конца рабочего дня. Уже была прочитана вся периодика, а любимые книги, которые она перечитывала, вызывали теперь раздражение и равнодушие. Она часами смотрела на тихую сельскую улицу, на кладбище, примыкавшее деревянному зданию библиотеки. Читателей не было. Изредка в библиотеке появлялся кто-то из школьников. Она до сих пор помнит своего первого читателя, смышленного белобрысого подростка, – как его почему-то боялась и непонятно почему рекомендовала четырнадцатилетнему мальчишке рассказы Борхеса. Он принес книжку через день, разочарованно признавшись, «как скучно и куце пишет этот дядя».

Ученики просили книги из школьной программы, иногда забавно путая названия и авторов, не зная, что им вообще нужно. Или просили книжку про войну или приключенческую. Школьная программа ее все более настораживала, даже на привычные басни Крылова она стала смотреть с подозрением. Вот ведь пишет: «На ель ворона взгромоздясь». Сколько же должна весить такая ворона, чтобы «взгромоздиться»? А стихотворение Некрасова о медведе, которого зритель принял за генерала? Употребил классик неуклюжее сравнение «Мохнатый седачок»... Один из юных читателей и вовсе рассмешил, попросив стихотворение Пушкина «Я помню жуткое мгновенье...» Иногда Аня делала обход по домам должников, книги возвращали в потрёпанном виде, были и с коричневыми следами от тарелки с супом. Библиотекарша только вздыхала и пеняла нерадивым читателям, предупреждала, что книги больше не даст, однако покорно выдавала нужную литературу проштрафившимся читателям.

Путь к домам нескольких должников проходил прямо через кладбище, так было короче. По дороге Аня с интересом рассматривала припорошенные снегом, заросшие сухим бурьяном могилы, читала таблички с именами усопших. «Да здесь все библиографические данные!», – невольно осенила ее лукавая мысль, она хорошо помнила, как пару дней назад в библиотеку наведальсь районное начальство и требовало увеличить количество читателей, грозили урезать финансирование или вовсе библиотеку закрыть.

– Что я сделаю, если нет читателей? – робко оправдывалась Аня. – кто на селе книги читает, кроме школьников?

– Вы плохо работаете, – с непроницаемым лицом отвечал ей молодой чиновник в модной финской дубленке, – ищите индивидуальный подход к сельскому труженику. Объясните трактористу или доярке, что книга – источник знаний.

Библиотекарша слушала и покорно молчала, другой работы все равно не было. Но выход из положения она нашла, и весьма необычный.

Так Аня завела в библиотеке новые формуляры с фамилиями покойников. Вначале она боялась, что обман может вскрыться, но отчеты проходили нужные инстанции, и на них никто не обращал внимание. Есть новые читатели и есть. Иногда она, осторожно проходя по кладбищу, останавливалась у могилы потустороннего абонента и весело спрашивала:

– Ну, что Валерий Иванович Карпенко, новый роман Донцовой понравился?

Ей казалось, что могильный холмик с колеблющимися на ветру останками проволочных венков глухо отвечает:

– Да разве можно это читать?

Однажды, к концу рабочего дня, сидя за столом в библиотеке Аня услышала, как тихо скрипнула входная дверь и раздались шаркающие шаги. Она привычно не подняла глаз и спросила:

– Вам какая книга нужна? У нас есть новые поступления.

Через секунду Аня подняла глаза, но в передней никого не было, только в открытую сквозняком дверь, как ей показалась, метнулась длинная тень. Но ведь шаги она явно слышала? Более того, на полу остались большие мокрые следы. Аня не испугалась. Она стала ждать, что будет дальше. Но ничего больше в этот день не происходило. От безделья Аня даже сама попробовала написать книгу, но смогла только вывести черной авторучкой на салатовой клеенчатой обложке общей тетради название: «Село и люди».

– Какие люди? Какое село? – вслух невольно произнесла она. – Мужики почти все спились и вымерли от суррогатного спирта, а бабы злые, молодежь разбежалась...

За Аней несколько дней пытался ухаживать местный парень. Он возил в село баллоны с газом. Алексей был мешковат, хотя ему было всего двадцать пять лет. Он считался завидным женихом на селе, работает газовиком, зарплата для села большая, и служебным грузовиком он пользовался как личным. Начальство позволяло ему держать машину в заулке возле дома, Алексей ездил на ней в лес, на рыбалку, иногда калымил, была она и хорошим подспорьем в личном хозяйстве. Некоторое время он пристрастился было к спиртному, но его властная мать Полина быстро пресекла слабость сына, отобрав у него пластиковую карточку, на которую начисляли зарплату. Он как-то пригласил Аню в местном клубе на танец, неуклюже обнимал, а после они смотрели польский фильм в этом же клубе, где, как ей показалось, Алексей смеялся в ненужных местах. Аня отчужденно смотрела на его профиль в темноте зала и думала, зачем у него на таком большом лице такой маленький нос? От бабки Елизаветы она недавно слышала, что чем больше у мужчины нос, тем больше его мужское достоинство. Рассуждение старухи тогда очень насмешило ее. «Может быть, поэтому Алексей до сих пор не женат», – невольно подумала она.

Один раз она ужинала в доме Алексея, ее поразила властная мать, жидкая темная похлебка с грибами, которую молча, как по команде, ели за столом. Полина расспрашивала Аню о родственниках, учебе в педучилище. А после, высокомерно глядя на библиотекаршу, сказала, что хотела бы для Алексея невесту из местных девушек.

Алексей отвел глаза и промолчал. Больше они не встречались.

В этот день, Аня пришла в библиотеку за полчаса до ее открытия. Она просто спешила уйти из дома бабки Елизаветы, житье на квартире у старухи становилось немыслимо. Бабка постоянно заводила разговоры о повышении квартплаты, у Ани стали исчезать ее продукты, мелкие деньги. Ранний час библиотеки был пустым и душным от печного отопления. Она с оторопью увидела, как к ее столу подошел мужчина в сером мешковатом костюме и заснеженных домашних тапочках. Лицо у мужчины было землистого цвета с тонкими синими губами.

– Я вам, наконец, книгу принес, три года назад брал почитать Островского да и забыл о ней. Вчера случайно в серванте нашел.

– Вы у меня ничего не брали, – пролепетала Аня странному абоненту. – Вам не холодно из дома было в костюме идти?

Мужчина ничего не ответил, медленно повернулся и вышел на улицу, унося с собой потрепанную книгу. Аня только обратила внимание на его неестественно прямую спину со следами больших черных ниток и мокрой земли на костюме, необычную шаркающую походку. Буквально через минуту раздался телефонный звонок. Районный начальник перешел к делу без ненужных вступлений:

– Как вы посмели покойников в библиотеку записывать! – услышала она истеричный голос в трубке. – Как до такой мерзости додумались? Вас впору под суд отдать!

– А что мне делать, – севшим голосом пролепетала библиотекаря. – Вы читателей требуете, а их нет...

– Приезжайте в район, пишите заявление об уходе, я как-нибудь утрясу скандал. Один из бывших жителей села увидел в ваших отчетах своего давно умершего родственника и еще нескольких сельских покойников.

Собралась Аня быстро, с бабкой Елизаветой даже не попрощалась и уже через час была на автобусной остановке. Удивительно, на душе было почему-то не горько, а радостно и впереди озорно светило яркое февральское солнце, обещая новую жизнь.

Максим ВАСЮНОВ

Родился в 1988 году в Нижнем Тагиле. Выпускник факультета журналистики Уральского государственного университета, Главный редактор газеты «Козельск». Снимает документальные фильмы, в том числе на околотературные темы («Чехов Интерстеллар», «Деревенский Данте», «Доктор Пауст», за последнюю ленту удостоен телевизионной премии «ТЭФИ»). Преподает журналистику в Калужском государственном университете.

Публиковался в журналах «Урал», «Наш современник», «Знамя», «Юность», «Дружба народов» и других. Участник Форумов молодых писателей России и стран СНГ (Липки). Автор сборника стихотворений «От стрекозы до Луны» (Калуга), повести «RASSOLNIKI» (Санкт-Петербург), готовится к изданию сборник прозы «Фабрика игрушек». Живет в деревне Богдановке Калужской области.

ПРИВЕТ, ФИДЕЛЬ!

I

«Сегодня ночью умерла Надя. Никогда не думала, что придется это писать. Она до последнего верила, что сможет победить. Спи спокойно, ангел».

Под постом о смерти Нади была ее фотография в черной рамке. Та самая фотография, которую сделал я, когда мы вместе отдыхали в лагере для городских активистов. Она здесь влюблена и улыбается какой-то неземной улыбкой. В общем, если бы я выбирал фотографию для прощального поста, тоже поставил бы эту.

Надя, Надя. Странные параллели. С ней связана моя первая влюбленность. И с ней же – первое дыхание смерти. До этого никто из ровесников не умирал и смерть казалась привычкой стариков. А тут – на те. «Зря обо мне забыли, я хожу за каждым. Вы чувствуете иногда холодок по спине? Вы еще вздрагиваете, как от удара током? Так вот – это я балуюсь».

Надя, Надя. Нет, у нас не было ничего серьезного. Обычная влюбленность подростков. Бумажные сердечки, длинные смс, медленные танцы, прогулки после отбоя на Мыс любви – типичная романтика загородных лагерей. И все же, что-то случилось тогда между нами – мы еще долго общались в сети, следили за жизнью друг друга. И вот в эту ее жизнь я был влюблен даже больше, чем в наши с ней воспоминания. Надя не жила, а летела. Университет, КВН, театр, молодежный парламент, маленький бизнес, путешествия, паломничества, организация концертов, бег по утрам в субботу, литературные вечера... Селфи

и фото обновлялись каждый час. И так было лет десять. Потом я уехал в другой город. Дела, заботы, семья – за Надиной жизнью было уже не угнаться. Да и времени на соцсети стало меньше. Чем взрослее человек, тем меньше ему хочется ставить лайки.

Однажды мне прислала сообщение наша общая знакомая:

– Мы собираем деньги на лечение Нади.

– Что случилось?

– Рак. Уже три химии позади.

– Как это? Шансы есть?

– Небольшие.

Полез на страницу Нади. Там ни слова о болезни. На фото – как всегда улыбающаяся, счастливая. Только теперь все чаще – в платочке.

– Она молодец, держится.

– Да, она умница. Не сдаётся.

Прошло месяца три. Что-то дернуло меня написать Наде. Она ответила. Поболтали, посмеялись, договорились, что когда я приеду на малую родину, вместе сгоняем в тот наш лагерь, там красиво. К тому же, есть что вспомнить!..

Через два месяца ее не стало.

И вот я приехал один. Просто после похорон мне некуда было идти.

Вывеска над железными воротами «Звездный» – буквы синие вперемишку с ржавчиной. На воротах замок. Что за фигня? Неужели не попасть внутрь? Чуть в стороне на территории лагеря домик охраны. Он же когда-то был административным корпусом. В одном из трех окон горит свет. Хоть что-то. Пинаю по воротам, машу руками, кричу: «Эй, есть кто? Алеее!» Кричу и вспоминаю, как однажды, в день самоуправления, Надя была директором лагеря, а я навязался охранником. Чтоб быть с ней рядом. Ух и строгой она оказалась! За опоздание в столовую лишала обеда, за прогул зарядки – завтрака. А тому отряду, который плохо подготовится к вечернему концерту, обещалось самое страшное – лишение дискотеки. В итоге кто-то выбил стекло в кабинете директора. Влетело мне, как плохому охраннику.

...Пружина на дверях пропела старой гармонью, на крыльце административного корпуса показался человек в спортивном костюме и в очках с толстой оправой. Маленький, пришибленный, меньше всего он походил на охранника. «Дядя Федя!» – сразу узнал я его. Или как он называл себя «Фидель». Я его запомнил, потому что в отличие от других охранников Фидель выпускал из лагеря без всяких вопросов. И так же – впускал. Иногда мы оставляли ему за такую чуткость пару бутылок пива.

– Тебе что?

– Да я вот тут...

Попытался ему рассказать коротко, зачем я приехал. Он долго смотрел на меня из-под очков, будто хотел узнать.

– А в каком году тут были?

– Кажется, в четвертом.

– Нет, не помню. Да тут столько всех перебывало, согласен? – И снова взгляд из-под очков.

– Ну, заходи что ли, – наконец «узнал» он. И открыл ворота.

– А лагерь давно закрыт, не работает, – рассказывал охранник, пока мы шли в корпус, – я тут один живу.

– Охраняете?

– Нет, живу.

– Как это?

– Так вот, это дом мой. Приватизировали еще в девяностые. Люди помогли. Так и живу.

В доме пахло сигаретами, сыростью, кошками. Все было завалено коробками, книгами, старыми половиками. Работал маленький телевизор в углу. Рядом с входом накалялся железный чайник на электроплитке.

– Ну... ты это, иди тогда, наверное, погуляй, – Фидель не растерял чуткости за эти годы, – тут ничего не изменилось, а потом приходи чай пить, побазарим с тобой, раз приехал!

В эту минуту я пожалел, что не взял с собой выпить. Хотя хотел.

Второй раз я пожалел тут же, когда вышел и свернул на главную аллею лагеря. По обе ее стороны стояли длинные одноэтажные корпуса, между ними – карусели, качели, спортивные площадки, веранды... Я запомнил все это живым, многолюдным – «общий план» лагеря засел в моем сознании как что-то шумное, яркое, солнечное; карусели крутятся, качели взмывают до неба, девчонки визжат, на верандах идут репетиции, на площадках парни режутся в настольный теннис... Теперь ни шороха, ни звука, качели, карусель – не сдвинуть с места, старые теннисные столы провалились, и в целом вид у всего приплюснутый, скукоженный, будто лагерь придавило горем. Не от смерти Нади, нет, здесь какое-то свое горе, какая-то своя смерть.

Я дошел до конца аллеи, до последнего корпуса, все думал о том, что вот так же ветшают наши воспоминания, наши мечты, все наше прошлое. Лишь моменты – веселая шумная карусель, а в целом – полоса ржавых качелей. Не потому что не было ничего хорошего, а потому, что мы за делами настоящего редко вспоминаем свое прошлое, редко трогаем его, и оно ржавеет, приходит в негодность.

Сначала, наверное, обижается от нашего невнимания, пытается напомнить о себе скрипом, треском, шорохом листвы. Но разве докричишься до кого сегодня? – все разъехались, переженились, заработались. Так и умирает прошлое – от невостребованности. Кладбище воспоминаний.

Возможно, я все-таки не прав. Возможно, приди я сюда по другому поводу, приди сюда с Надей, у меня бы рисовались другие образы и ассоциации. Возможно, ту же ржавую карусель я бы обнимал и гладил по холодной коже, в благодарность за то, что она помнит минуты наших нежностей и радостей. Помнит наше тепло.

Возможно... Но сейчас захотелось убежать отсюда и больше не возвращаться. Я даже не дошел до Мыса любви, самой высокой точки лагеря. Оттуда были видны извилистая река и леса, что раскрасили пространство от горизонта до лагеря всеми оттенками зеленого. А по ночам с мыса доставали звезды. Головокружительный вид.

Хотя, будем честны, голова здесь кружилась не только от пейзажей.

Сегодня на мыс не тянуло. Вероятно, я боялся, что и пейзажи будут уже не те, не наши.

...Спустя пять минут я вернулся к Фиделю.

II

– Вы здесь один живете? Тут же можно с ума сойти!

– Давай выпьем за знакомство, ко мне редко люди заходят! – Фидель достал бутылку водки, поставил ее на табурет перед своим креслом – на табурете уже стояли рюмки и лежали огурцы. Я сел на пуфик рядом – такие раньше были в корпусах для малышей.

– Ну как тебе наше хозяйство нынче? – он кивнул на окно, которое выходило на главную аллею.

– Грустно все, – признался я.

– Хм, грустно! – усмехнулся он. – Да это вообще швах. Такой лагерь загубили! Все области сюда приезжали! Активы! Спортсмены! И все... как не было.

– А вы-то тут как застряли?

– А я че, – и дальше Фидель стал рассказывать историю, которая меня так захватила, что я даже перестал думать о Наде. Нет, в этой истории не было богатых перипетий, не было красочных событий. В том-то и дело, что это была история человека забытого и потерявшегося, но при этом какая-то очень наша что ли, русская.

– У меня мамка здесь работала поваром, потом сторожем. Мы здесь круглый год жили, в школе я был на домашнем всегда. Мамка моя с девок тут ишачила. Ей за это еще при Брежневе квартиру обещали. Но так и тянули. А в 90-е уж стало понятно – не видать квартиры. Вот она и пошла к одному начальнику, другому, всех их знала, тут же их дети всегда отдыхали, а ее как главного повара ценили, ты что – такие блюда готовила, в лучших санаториях не подавали! И не воровала никогда. «Ты, Наташа, не ворует, потому у тебя так вкусно всегда», – директор говаривал, правильный мужик.

Ну, в общем, к одному сунулась, к другому, потом приезжает: «Все, – говорит, – дали нам жилье». – «Где, мама? Ты чего?» – «Да здесь прям, вот тут, этот дом и приватизировала. Адрес – Звездная 1, к городу относимся. Так что ты, – говорит, – Федька, нынче житель городской!» А я смеюсь – городской, ага, в городе и не бывал никогда. Да я и до сих пор в городе-то три раза был, по документам ездил, – Федя налил себе уже вторую рюмку. – А тут в прошлом году хватились, видать, – как это на территории лагеря территория приватизирована, кто допустил? А кто б ни допустил, по документам все законно, мамка – молодец, все грамотно провернула, – Фидель довольно потер свои коленки и снова потянулся к бутылке, огурцы лежали нетронутыми. – А тут, видать, территория нужна стала, считай, река вокруг, да плюс лагерь на горке стоит, виды божественные, зачем лагерь, когда можно коттеджами застроить или еще чем? И застроили, если бы не я! Меня же не выгнать, хотя пытались, – теперь Фидель затряс ногой, будто занервничал. Снял очки, стал протирать их краями олимпийки.

Молчал.

Ждет, чтобы я спросил у него, кто и как пытался выгнать, понял я. Мне было не жалко, даже интересно, потому я действительно спросил.

– Да кто, кто! Откуда я знаю! Приезжала целая комиссия. Депутаты даже, журналисты, прокуратура, еще какие-то лбы... «Вы, – говорят, – тут незаконно. Уезжайте». Ну я им и ответил все как надо. Потом один из тех, кто депутат якобы, подошел по-тихому: «Сколько ты хочешь за этот дом?» – спрашивает. А я ему: «Не продается». Так и сказал, понял?! – и Фидель снова потер колени. На этот раз он был доволен собой.

– А я бы продал, – признался честно Фиделю, – назвал бы цену кругленькую, чтоб на большую квартиру хватило. И уехал бы. Что в такой глуши делать, семье ведь здесь по любому неудобно.

– Да нет у меня никакой семьи. И не было. Мамка умерла пять лет как, я один.

– Ну тогда, наверное, здесь да, хорошо, одному-то. Если еще и работа есть.

– Мне по инвалидности платят, да так, в деревнях халтуру, хватает. Много ли надо на огурцы и доширак, согласен?

Разных я встречал одиночек, но так, чтобы жил кто в заброшенном лагере, – впервые. Да еще добровольно. Какой-то монах, только за кого и на что ему здесь молиться?

– И не скучно?

– Книг хватает, – отрезал Фидель. Я понял, что ему действительно не скучно.

– И никогда не хотелось отсюда уехать?

– Нет, – отрезал он снова. И снова выпил. Я ждал, что после рюмки он заговорит о том, что здесь у него самое дорогое место, что здесь его родина, здесь он, якобы, обрел гармонию. Или расскажет еще какую-то историю, после которой я начну завидовать его отшельнической жизни, но он молчал. Даже как-то насупился на меня, мол, че докопался.

Мы посидели, посмотрели телик, там шел какой-то бандитский сериал. Время от времени Фидель снимал и протирал свои очки, тряс ногой и гладил коленки. Я долго вспоминал, кого мне это напоминало. Пока не вспомнил младшего брата: когда ему было лет 12-13, он с таким же азартом смотрел футбол.

Потом я снова вспомнил Надю, как однажды мы с ней убежали из лагеря погулять по городу и как нас потом нашел на своей машине директор. Нам после рассказывали – когда нас не досчитались на вечерней линейке, взрослые с ума сошли. Потому как из этого лагеря никто никогда не убегал, и никто не знал, что делать в таких случаях. Мобильных в то время тоже не было – родителям быстро не сообщишь, да и стоит ли сообщать – не дай бог скандал раздуют, а это ведь лучший лагерь, что начальство скажет! О начальстве во все времена думали больше, чем о детях.

По тревоге тогда подняли весь лагерь, и все, кто старше двенадцати, прочесывали территорию до самой реки. Кричали, гудели, чуть костры не жгли. Нашли в итоге только пьяного сторожа. Вот смеху было.

– Помните, тут работал такой парень деревенский сторожем? Краснощекий! Постоянно напивался, к девкам приставал, – спросил я у Фиделя.

– Да, Леха! – оживился он. – Классный парень был! Всегда при деньгах и никогда не жалел в долг! Пил, да. Но кто не пьет, кто без греха! Давай, за Леху выпьем, не чокаясь, замерз он, на рыбалку пошел, и так в воде на берегу нашли. – Фидель выпил, и впервые за долгое время отвернулся от телевизора.

– Это же он меня Фиделем прозвал! Не, ну как он! По Фиделю-то я сам перся. У меня значков только с Фиделем было штук двадцать. Журналы собирал, флаги вешал кубинские, даже пиво было, на этикетке Кастро!

– Я думал Фидель, потому что Федя...

– Не, ты че! Мы с ним сидели как-то на веранде, уже после отбоя, пили, ясное дело. И он мне говорит: «Вот Фидель мужик ушлый, такими делами ворочает. Если бы все такие были как он, мы бы давно в шоколаде жили. А ты, – говорит он мне, – ни рыба ни мясо, двадцать пять лет, а ни работы, ни жены, одно слово, что фанат Кастро. А сам-то ты ни хрена не Фидель. Не Фидель ни фига, не Фидель». Так и звал меня постоянно – эй, Не-Фидель. А потом уж прижилось. Уже и без «не» стали называть. А мне не жалко, че, – Федя привстал, потянулся

к ближайшей связке с книгами. Достал одну верхнюю. «История меня оправдает» – успел прочесть я.

– У меня вот и книги про Фиделя есть. Я его всю жизнь изучаю. Думаю, откуда в человеке столько силы! – Федя полистал страницы. – Так и не могу понять.

Какой проницательный был Леха, успел подумать я, пока Федя листал очередную биографию кубинского революционера. Русские мужики всегда под бутылку ставят правильные диагнозы. Помню, мне Федя всегда казался каким-то чересчур инфантильным, ничего ему не надо, ничего он не умеет, ничего не хочет, ничего не интересно. «Дядя Федя, пойдем с нами за раками». – «Да на сраки мне ваши раки, я лучше покурю посижу». – «Дядя Федя, а можно вас попросить с нами в зарнице поучаствовать?». – «В заднице идите со своими поучаствовать, мне что, делать больше нечего». – «Дядя Федя, а расскажите про зеленую пионерку, она реально существует?» – «Существует, чего еще надо рассказать?». И так всегда.

Про Кастро только мог часами рассказывать. Но чем больше времени уходило с распадом СССР, тем меньше его о Кастро спрашивали.

Теперь я понял, что дядя Федя не-Фиделем был не только с нами, это его обычное состояние.

Мы допили первую бутылку, на табурете появилась другая.

– Фидель, а ты вообще где-нибудь был кроме лагеря и города?

– В деревнях был, говорю же.

– Нет, так, чтоб путешествовать.

– А на кой мне путешествовать, да и на какие шиши?

– А образование у тебя?

– Школа.

– Училище там какое-нибудь?

– Нее, а зачем? Мне после школы сразу тут работу предложили. Сначала дворником, потом в кочегарке, потом уж сторожа мамка помогла мне получить. Работка – не бей лежачего! А то все волновалась, что мне тяжело метлой ишачить да угли переворачивать. А сторожем реально по мне работка, лучшего и не надо, согласен?

– Слушай, – осмелел я, – а любовь у тебя была? Тут же столько девушек классных всегда крутилось! Лагерь для лучших же!

Фидель ответил не сразу, только после того как снял очки.

– Ну была.

– А что с ней? – когда выпиваешь на двоих вторую бутылку, то свойство бестактности у вопросов пропадает.

– В Америку уехала.

Упоминание Америки давало надежду, что, может быть, хоть история любви Фиделя окажется интересной. Тем более про любовь сейчас мне хотелось говорить больше всего – лагерь, Надя, водка опять же.

И Фидель рассказал. Было это в начале девяностых. Приехала на смену дочь директора кирпичного завода. Маруся. Толстушка, дурнушка, но Федя втрескался в нее, как Кастро в Кубу. Весь лагерь ржал над ним – нашел, кого выбрать. Ну что ему на мнение лагеря, когда мама поддерживала – хорошая девушка, из хорошей семьи. А то, что страшная, так изменять не будет. Не то что твой отец.

– Не страшная она, просто упитанная, – оправдывал Федя невесту.

Ох и любовь у них была! «Она на карусели сидит, а я ее раскручиваю, быстрее, быстрее, а она только визжит: “Федя, я обосрюсь сейчас”. А я ей: “Скажи, что любишь, тогда остановлю”. А она мне: “Может,

тебе еще дать прямо здесь?» – и смеется. Как она смеялась! Ох! Любила меня, дуреха маленькая».

Какой-то ералаш, а не любовь, подумал я. И очередная рюмка водки влила в меня очередные воспоминания о Наде. Та же карусель, тоже крутится, Надя встает на сидушку. Одной рукой прижимает подол платья, другой пытается взлететь. «Хочу лететь», – говорит она мне нежно. И отпускает платье. Карусель кружит, Надя летит, ветер оголяет ее ноги. «Как же я хочу летать!» – кричит она и просит сильней раскручивать карусель. Потом вдруг слышу: «Лови!» – и она прыгает с карусели мне в руки. Мы падаем в песок, смеемся, целуемся. Надя, Надя...

– Из-за меня она на все смены приезжала в лагерь, – все это время Фидель тоже вспоминал о своей Марусе. Я, кажется, что-то пропустил.

– А когда эмигрировала – учиться уехала, то письма писала. Три письма.

– А потом что?

– Ничего. Я же не отвечал.

– Как?!

– А смысл! Америка – это же вон где...

– Кастро там рядом же был! – пошутил я. – Вот поехал бы к Марусе! Стал бы американским гражданином уже.

Так и не понял я – на что он обиделся. На Фиделя или на американского гражданина, но после этого сторож уже не предлагал мне выпить и снова отвернулся к телевизору.

Я лишь спросил еще:

– Ты чего, реально ни о чем не жалеешь, и тебя тут все устраивает?

– Да в жопу все, – Фидель был, как и я, уже сильно пьян, не уверен, что он расслышал мой вопрос.

Минут через пять, в тот момент, когда по телевизору начались новости, я уснул, прислонившись к стене.

III

Снился холод. Оказывается, он может присниться. Какая-то белая глыба – айсберг, что ли, – медленно падал на меня. А через мою грудь текла река: ее волны сначала тоже были холодными, обжигали, но постепенно становились все теплее, теплее. В какой-то момент приснился автобус, заполненный детьми. Это нас везли в первый раз в «Звездный». Все галдели, кричали, лезли в окна, махали руками проезжающим навстречу машинам. Одна девушка сидела грустила, с зеркальцем в руках. Это была Надя, я то и дело поглядывал на нее. Потом зеркальце упало, разбилось. Я подошел, чтобы поднять его. В этот момент из зеркальца потекла кровь. Снова стало холодно. Страшно и холодно. Надя снова улыбалась. И говорила: «Я лечу».

Надя была в том же платье, в котором ее хоронили. В синем. С красными маками.

Проснувшись, я долго приходил в себя, вспоминал, где я. На мне висели половики... Наконец, ко мне стали возвращаться слова и картинки вечера. Они тоже были холодными. Пустыми. Какой-то пустой разговор. Пустая судьба. Неприятными были эти воспоминания. Не за ними я приехал в лагерь.

В углу по-прежнему работал телевизор, там шло шоу про моду, на табурете стояла недопитая бутылка. Рядом валялись книги. Фиделя не

было. За окном уже вовсю светало. Я посмотрел на часы – половина четвертого утра.

Спать больше не хотелось. Я завернулся в половик и вышел на улицу.

Деревья и кусты набухали утренней росой – росы было много, и кусты акации со своими продолговатыми желтеющими листьями в этот час больше походили на гроздья леденцов. Или льдинок.

Было еще по-утреннему ознобно. Ветер продолжал испытывать на стойкость стебельки полевых цветов, которыми заросли площадки и корпуса.

В горле сушило; несколько раз я ртом втягивал в себя прохладный воздух – не помогало. Наконец, я затянулся утром во всю грудь. Меня тут же пробил запах травы и сосен. Этот запах! В котором мы засыпали и просыпались каждое лето и который еще долго преследовал нас, когда мы разъезжались по своим городам. Соснами пахли волосы Нади...

Меня пробило. И я не мог не заплакать.

Надя, Надя. Меня потянуло ближе к соснам, в самую гущу запахов и воспоминаний. На Мыс любви. По пути я осторожно, чтобы не разреваться совсем, бросил взгляд на нашу карусель. Она по-прежнему стояла как вкопанная. Я попытался с ней заговорить – все чтобы сдержаться: «Хоть бы скрипнула ради приличия. Ради прошлого. Железная дубина!».

Но свои круги карусель уже описала в судьбах сотен и тысяч ребят, которые многое сделали на ней впервые в жизни – укатались до головокружения, прыгнули с нее в песок, поцеловались, задрали юбку соседке, покурили, обсудили девчонок из соседнего отряда, обсудили парней-старшаков, забили стрелку тому, кто тебе сильно не нравился, потому что сильно нравился той, которая нравилась тебе... Карусель как памятник, маятник, маяк...

На Мыс любви по-прежнему было непросто взобраться. Резкий подъем без ступенек, перил, без кустов, за которые можно уцепиться. Только одни толстые стволы пахучих елей да пара лип.

Еле-еле – сноровка утеряна – ставя ступни перпендикулярно тропинке, я взобрался на самый верх. И на тебе – Фидель. Сидит на детском стульчике, курит.

– А-а-а, какие люди! Ну и быстро ты вчера вырубился! Не привык, поди, такую бодягу пить?! – Фидель заржал и потянулся к коленям, но быстро убрал руки от штанов – наверное, вспомнил про сигарету. – Смотри, вон как! – сказал он уже другим тоном, замороженным, и кивнул на горизонт.

Передо мной нарисовалась картина из фэнтези или советской кино-сказки: синее-синее небо, такая же синяя река. На том берегу – могучий зеленющий лес, накрытый сиреневой дымкой. Туман, как паутина, ткался с широкой реки, с неба, окутывал саму реку, окутывал небо. Маленькие прозрачные облачка – как мыльные пузыри, которые пускал в этот час кто-то зависший между водой и лесом, – медленно проплывали мимо нас с Фиделем на расстоянии вытянутой руки.

– Красиво, согласен? – спросил Фидель.

– Да уж!

– Да не, сейчас уже не так, – Фидель запустил в один из облачных пузырей окурком, – вон, смотри. Видишь, в лесу сколько фонарей?

Я пригляделся – и правда, сразу не заметил – сквозь зелень и фиолетовый туман пробивались круги тусклого света.

– Город все ближе, а там вон – видишь, где самые яркие фонари в строй встали, трасса новая, с мостом. Раньше ничего этого не было,

выходишь сюда – и сразу в раю! Лагерь-то наш был как чудо-остров посреди всего этого, а теперь – обступают нас, скоро вытеснят к чертовой матери. Настроят тут домов, испоганят все, потравят все. Но я сказал, что пока жив – никому не дам лагерь снести, а они и не снесут, пока мой дом тут. Зачем им коттеджный поселок с моей халупой посередине, согласен?! Выкусят, на!

Фидель говорил еще, даже заводился, пару раз ударил себя в грудь, показал фигу кому-то на горизонте, сплюнул, снова закурил.

– Недавно ко мне тут девчонка приходила, – сказал он, когда успокоился.

– Какая девчонка? Тут же никто не ходит, и забор кругом.

– Да я сам не понял, откуда и кто. Видно, с деревни, что ли – там за рекой под мостом деревня начинается. За грибами, может, пошла и перелезла, кто их разберет. Но меня знает. «Привет, Фидель! – говорит. – Как живешь?» И такая болтает со мной, как со старым знакомым.

– А как выглядела?

– Ну такая, миловидная. Улыбается, волосы такие темные, волнами. А, – запнулся Фидель о воспоминания, – меня еще удивило, как она так за грибами пошла в платье. А она в платье была, таком легком. Синее, с красными маками.

Меня зазнобило. Показалось, что кто-то холодным льдом обкладывает корни моих волос.

– А когда точно приходила? Вспомни.

– Так три дня назад.

– Так это же когда она у... – Я не договорил. Сел на землю, сжал руками голову, почувствовал, как огромная глыба льда падает на мою спину и проходит сквозь меня, не причиняя мне боли, не оставляя царапин.

Пожирает вечной мерзлотой.

– Она долго тут сидела со мной, – слова Фиделя долетали до меня сквозь толстую стену льда, – молча сидела. О чем-то думала. Красивая.

Я ушел из лагеря к первому автобусу. Напоследок еще раз попробовал сдвинуть с места старую карусель – не поддалась. Обожгла ладонь остывшим железом.

Георгий КУЛИШКИН

Родился в 1950 году в Харькове. Среднюю школу окончил в Куряжской трудовой колонии для несовершеннолетних. Работал токарем, строителем, сапожником, служил в армии. С отличием окончил вечернее отделение Харьковского государственного университета (филфак). Работал в системе бытового обслуживания.

С выходом Закона «О кооперации» стал одним из первых в стране предпринимателей, основавших дело с опорой на ремесло. По его первой книге «Ближе к рублю» (Москва, Молодая гвардия, 1989) был поставлен художественный телефильм. Один из учредителей и главный редактор ежеквартально выходящего литературного альманаха «РХ». Публиковался в журналах «Дон», «Кольцо А», «Сибирские огни», «Юность» и других.

Живёт в Харькове.

ПРИЮТ В ПРИЮТЕ

Ворота, глухая калитка в них, а в особенности звонок-ревун, противнобрякнувший на весь двор, нехорошо напомнили мне Куряжскую колонию. Клацнув железом по железу, в калитке, рядом с обрезиненной кнопкой ревуна, образовалась щель, обращаясь к которой мы доложили о цели визита. Щель захлопнулась, и теперь сама калитка, дважды стукнув металлом по металлу, распахнулась на пискнувших петлях. Тут стало понятно, почему мы говорили с пустой прорезью, а не с человеком за ней: открывший служака был так мал ростом, что мог бы, скорее, общаться через замочную скважину. На нём были щеголеватые, почти новые хромачи детского размера, фиолетовые, толстой шерсти, форменные галифе, ловко сидящий чёрный тулупчик, подпоясанный португеей, и форменная линиялая фурага с пятном первородного цвета ткани на месте отсутствующей кокарды.

Всё во дворе, куда мы вошли, — и вереница низких построек, которые примыкали к проходной и от которых пахло сперва лежалыми нечистыми вещами, потом помывочной, прачечной, кухней; и серая, внаброс, штукатурка главного корпуса, и казённая ухоженность дорожек, и стриженные головы троих, разного возраста пацанов, с печальным любопытством глядящих из окна наверху, — всё говорило, что это уменьшенная копия Куряжа.

Наверное, и калитка, и ревун, и двор с его душком и нарочитым порядком готовили меня к тому, кого предстояло увидеть в кресле начальника.

Провожатый задержался у двери, чтобы по-военному провести большими пальцами под ремнём портупей, и его седой затылок и слабая морщинистая шея выдали преклонный возраст, маскируемый малым ростом и худобой. С молодцеватостью, предназначенной извещать о радости подчинения и удовольствии служить, он вошёл без нас, чтобы спустя четверть минуты просветлённым, бодрым, строгим и будто бы подростком вновь появиться в дверях, жестом приглашая нас войти.

Я сказал «Здравствуйте!» вместе со всеми, а потом, чувствуя, что моё лицо само собою улыбается знакомому лицу, прибавил:

– Здравствуйте, Аркадий Яковлевич!

За столом в форме подполковника сидел Аркаша, куряжский замнач по учебно-воспитательной части. Это был человек, неугомонно вертевшийся всей жизнью колонии, как Балда верёвкой, когда морщил чертям море. Он вёл советы командиров, где обсуждалось всё прошедшее и планы на будущее. Он держал в тонусе соревнование между отрядами и отделениями, где учитывалась и работа на производстве, и учёба в школе, и чистота, и дисциплина, и спорт, и ходьба строем, и орание девиза, и стенгазета, и – всё, всё, всё. Вплоть до того, насколько лихо бригада рявкает «Спа-си-бо!» в ответ на командирское «Приятного аппетита!» Это соревнование бригад ни в малейшей степени не было валянием дурака, потому что пацанов из передовых отделений первыми освобождали на трети срока. Дороже приза, чем тот, что получали пацаны, соперничая в Куряже, не было и никогда не будет на свете. Призом была свобода. Аркаша звал к ней, манил и щедро и честно награждал ею.

Он приглашал режиссёров ставить спектакли, к юбилеям Макаренко лично писал стихи, которые десятком чтецов выкрикивались со сцены, что называлось «монтаж». Вопреки возрасту и рутине, повторявшейся из года в год, он умел сохранить ненапускную увлечённость работой, как это бывает только с искренними людьми, с головой ушедшими когда-то в педагогическую кутерьму.

Аркаша поднялся, ответно улыбаясь мне и не узнавая. На фронте осколок отсёк ему часть челюсти и угол рта. Забываясь, он не чувствовал слюну раненой стороной и, словно маленький, мог выдуть пузырёк.

– Антон Семёнович увлѣк
Своим трудом, зажѣг задором,
Чтоб стал врачом Антон Шершнёв,
Большим учёным стал Задоров!

– прочёл я его стихи.

Аркаша пустил пузырёк и, обходя стол, направился ко мне.

– Я ваш воспитанник, – сказал я.

Сверкая чёрными, счастливыми, очаровательно хитрющими глазами, он нацелил в меня палец заострённой ранением руки, на которой не было мизинца и половины безымянного пальца, что дало повод одному остро слову на его выкрик: «Я тебе пять суток дам!» сказать: «Там только три с половиной!»

– Командир четвёртого! – уверенно воскликнул он и протянул руку, чтобы пожать мою.

– Как же вы помните! – охнул я. – Двенадцать лет прошло, тысячи людей...

– Всех помню! – с совершенно юным бахвальством заявил он. – На пенсии ещё лучше стал помнить! Ну, садись! Садитесь! – сказал Женьке и Толику.

– Докладывай! – приказал он уже из своего кресла.

– Докладываю, – сказал я, зная, что сейчас трону в нём самое незащищённое. – Отслужил армию, вот закончил с отличием университет...

Аркаша принял бордовые корочки моего диплома, словно что-то материально подтверждающее его личную, заслуженную честными трудами победу и радость.

Его ума, умноженного редчайшим опытом, конечно же, хватало, чтобы знать: мальчишек, которых после колонии благосклонно принимает жизнь, не следовало и сажать. Не система Макаренко – их держат на плаву добрые гены. Но совершенно справедливо он полагал, что их, уже посаженных, система и он позволили не загубить сроком.

– Аркадий Яковлевич, – сказал я, помня, что он любит, когда говорят коротко и точно. – Нам нужна работа.

Он глубоко вздохнул и отвёл глаза. Потом, потянув воздух, прибрал слюну, немного шамкая надорванным ртом, сказал:

– Вот скажи, кого бы, как не тебя – с педагогическим образованием, с личным опытом командирства в отряде, – кого, как не тебя, взять воспетом в колонию?! Нет, не могу! Упёрлись: судимость – крест! МВД не аттестует, и точка! Я с генералом рассорился на этой почве. Такие хлопцы приходят с такими глазами, с такой душой... И мы же вас учили, мы говорили: Родина не помнит зла, вышел – чист, все дороги твои! А выходит – не все...

– Аркадий Яковлевич, нам не воспетами... – начал я и, немного помывшись, чувствуя фальшь, вдруг, не найдя лучшего, заговорил потешным тоном Чичикова, который, как известно, представлялся пострадавшим за правду. Дескать, нам, тоже пострадавшим, нужна работа, чтобы продолжать войну за справедливость. – Дежурными по режиму (работа сутки через пять, которую нам нахвалили знакомые), например...

– А ставка? Кот наплакал! С пенсией, как вот у Илларионовича, – указал глазами на оставшегося у двери службиста, приведшего нас, – да, а вам...

– Нам не до ставки. Нам нужно побольше свободного времени и такая работа, чтобы не к чему было придаться.

Он, как это делал в Куряже, принимая новичков, чуть отвернув лицо, искоса глянул в глаза мне, а потом богатырю Женьке с холёной бородащей и внешностью барственного писателя из золотого века нашей литературы и Толику – с нервным румянцем, который делал его ещё больше похожим на образцового плакатного комсомольца.

И вдруг ни к селу, ни к городу спросил меня:

– Ты ревнивый?

– Не знаю... – опешил я. – Как-то не было повода...

– Ревнивых в дежурные опасно, могут в запале наделать беды. Вот тебя – можно, – сказал он с некоторой отстранённостью, словно ещё продолжая возиться с анализом проб, взятых у каждого из нас во взгляде. – А товарища с бородой – нет. А третьего – так просто боже сохрани!

По поводу великого себялюбца Женьки его отзыв показался мне справедливым, а мнение о Толике весело удивило.

– А почему – боже сохрани?

– Он думает очень быстро, и это не есть хорошо. А боже сохрани – потому что делает ещё быстрее, чем думает. – Это было безошибочно

точно о Тохе. Не в бровь, а в глаз. – Хотя молодёжь нам нужна просто позарез...

По последней фразе я понял, что есть варианты.

– А нет ли кого-то, кому надо заработать? Ребята бы числились, а человек бы делал и получал...

– Бывает и так... Бывает... – он задумался на мгновение и, решившись, произнёс:

– Да! По старой дружбе скажу без экивоков. Есть у меня работёнка, от которой все бегут, как чёрт от ладана. Надобность возникает по ситуации. Бывает, и месяц человек не нужен, бывает, и полтора. Как вам и надо, если я правильно понимаю. Называется штатная единица – эвакуатор. А служба – сопровождать детей, за которыми не приехали родители, до места их проживания.

– Пс-с! – вырвалось у Толика в том смысле, что, мол, это же проще пареной репы!

– Скор! – обращаясь ко мне, заметил Аркаша. – Скор! – повторил он, дважды утвердительно качнув головой. – А завыка в том, что если за детками не приезжают после телеграммы по адресу, а потом после телеграммы родителям на работу и телеграммы в местный райотдел... То это особенные детки. Из мальчишек каждый, конечно, фрукт, но мальчишки ещё туда-сюда. А вот девочки... Антон Семёнович, – склонился он ближе ко мне, говоря о Макаренко, будто о нашем с ним близком знакомом, – Антон Семёнович, как известно, из пацана вылепливал хорошего человека, как из мягкой глины. А с девочками бился, бился и в конце концов сказал – пас. Вот последний наш эвакуатор – три месяца как уволен – повёз умницу четырнадцати лет. Вагон плацкартный, на другой не имеем права. Она раз прошла по вагону, сделала глазки молодым людям. Второй раз прошла и осталась у них закусывать. Он за ней: «Вернись на место!» Она: «Нет!» Он: «Приказываю – вернись!» Эти, которые молодые, спрашивают: «Это кто?» Она говорит: «Мой дядя. Пользуется, что мама при смерти, и везёт меня к себе насилловать...» Он: «А-а... бе-е...» А что «а», что «бе»? Ни удостоверения, ни доказательств никаких. Его били всем вагоном и выкинули из поезда на ходу. Всё. Эвакуатора у нас нет. А везти ребёнка надо, двенадцать лет девочка. Уговаривал, уговаривал – уговорил нашу воспитательницу. Пенсионерка, контакт с детворой идеальный. Повезла. С перепугу привязывала шнурком за руку к своей руке, чтобы – задремлешь – не прозевать, как уйдёт. Та попросилась в туалет. Наша повела и караулит под дверью. Нет и нет. Она к проводнице. Открыли дверь – никого, и окно нараспашку. Ребёнок полез в окно убежать через крышу, сорвался и погиб. Лучшая воспитательница, ветеран, заслуженный работник ходит под следствием.

Женька, как школьник, поднял руку. Аркаша кивнул.

– Если ребёнок убежал – эвакуатору что?

– Самое малое – выговор.

– А что не убежал, как подтверждается?

– Расписка от родителей с указанием паспортных данных.

– А если я его сдал, а он в тот же день дал дёру от родителей?

– Именно так, как правило, и случается. Но родителям – ничего.

– Всё понятно. Мы согласны.

Толик, окрылённый удачей, исполнял музыкальными пальцами на баранке своей легковушки что-то торжественное.

– Боже сохрани, боже сохрани! – передразнивал он Аркашу. – А как возить мелкую шантрапу, так сразу и не «боже» и не «сохрани»!

– С развозкой шантрапы я и один управлюсь, – сказал Женька. – Ты дома нужнее.

– Но каковы малявки! – воскликнул Тоха, представляя возможные осложнения.

– Какие там малявки! – не согласился Женька. – Себя вспомни в четырнадцать!

– И я про то же. Вези и бойся! И гадай, когда и где тебя разведут на ровном месте.

– Гадай или не гадай, один чёрт останешься с носом, – авторитетно заверил Женька. – С ними, как с шулером: если сам не шулер – не садись играть.

– Заслуженная педагогичка и не хотела садиться – заставили. А мы сами напросились.

– Видишь ли... – Женька так пожевал губами, будто лизнул что-то невкусное. – Эти, с педагогической практикой... Среди них бывают неплохие люди, но нормальных я лично не встречал. Ну скажи – шнурком привязывать, караулить у параши... Нормально? А не садиться играть – это вот что: хочешь, деточка, со мной до дому доехать – милости просим, а нет – держи свой билетик, держи лично от меня пару копеек на представительские расходы и гуляй на все четыре стороны!

– А расписка от родителей?

– От кого? Как-как ты их назвал? Родителями? С этими – так. Приехал. Вломился.

«Телеграммы получали? Что ребёнок в приёмнике, знали? Паспорт на стол!!!» И заполняешь расписку. А подписать – они у меня, если что, и кровью подпишут!

Сотрудники в глаза называли Илларионовича Кутузовым. Словоохотливый и гордый своей служебной опытностью, он изъяснялся причадами. В дежурке, нашем дневном пристанище, имелось два выхода – во двор и в кладовую вещей поступившей детворы, где были стены из полок-ячеек, похожих на соты, дверь в душевую и где обитали, братаясь и враждую, неподвластные проветриванию запахи ношенной обуви, грязных носков и нестираного белья. Сама же дежурка, помимо ароматов, позаимствованных у кладовой, располагала тремя несокрушимо прочными стульями сталинской поры, у которых в верхней части спинки был вырезан рельефный герб страны, хлипким письменным столом нового времени, с почёрканной и исписанной от скуки столешницей, и полами из толстых досок, истёртых до степени, когда крепкие сучки выпирают коцками.

Я дышал сквозняком от неплотно прикрытой двери во двор и слушал.

– Служу, значит, я в Ленинграде, в знаменитых Крестах... – говорил Илларионович-Кутузов с той былинной напевностью и мечтанием в паузах, которые вырабатываются у людей, по роду занятий вынужденных брать измором служебные часы и минуты. – На дворе голодуха, народ весь в обносках, а я в форме, питают меня от пуза. Навернётся картохи толчёной, напузыришься молоком с пенкой, ремень попустишь, гуляешь туда-сюда по коридору, попёрдываешь всласть... И докладывает мне как-то один из шептунов, что мой напарник писульку с воли в камеру передал. У-вот...(слово «вот», заполнившее паузу, он вывел тягуче, предварив звук «в» звуком «у»). А я, значит, получить сведения получил,

а начальству и не донёс. Не то что напарника поберёт, а так, проморгал, прошляпил... У-вот... А сигнал-то и окажись проверочный! Напарник, не будь дурак, писульку сперва в оперчасть занёс, а там заодно решили и меня... на служебную пригодность... Умели тогда, умели... И меня, сердягу, за Воркуту. Шахту, значит, под горой долбят, как пещеру. В пещере все и живём: глубже зека, этак вот, решёткою, ворота и мы. Три года отбыл день в день. Что называется, от звонка до звонка. Только что кайлом не махал. У-вот... Зато учёный... – и для закрепления морали соответствующе плянул на меня.

– У-во-от, – пропел он в качестве зачина перед новым сказанием. – Я тут этим, как их Яклич кличет, воспетам, многое чего... У меня за плечами такое – в учебниках не прочтёшь. К примеру взять детвору тутюшнюю – правды от неё не жди, даже и не надейся. Они ему, значит: «Как тебя зовут, деточка?» Оно им: «Вася...» – «А живёшь?» Оно: «В Курске, на улице Ленина». Они депешу в Курск. А Курск отвечает – нет у нас такого Васи и никогда не было. Они: «Васенька, так ты нас обманул? Може, ты и не Вася?» Може. Оно нос повесило – «Я, говорит, Петя из Кирова». Из Кирова стучат – нет такого Пети. Они его опять – оно в слёзы. И такое сплетёт – посеедешь, слушая. А дожидись вестей – враки. И так их каждая вторая сопля за нос неделями водит! У-вот... И на что бы ты думал, я, младший чин, весь высоко образованный персонал наставил? Сколько народных де...

Кутузова на полуслове оборвал крик ревуна, от которого вздрогнуло, показалось, всё расположение. А он, ничуть не огорчась помехой, оставил бывальщину, чтобы бодро, по-командирски держась на шаг впереди меня, направиться к калитке.

Постовой в помятой несвежей форме и с кислым лицом тоскующего в городе деревенского хлопца, подталкивая впереди себя, заставил переступить порог чумазого пацанёнка лет девяти с прилизанной и чёрной, как панцирь жука, стрижкой и ударяющими дерзостью выпуклыми маслинами глаз. Из-за вальяжной походки и особой посадки головы казалось, что мальчишка выше и главнее нас всех.

– Эт вы его откуда? – спросил Кутузов, заняв место за столом.

– С уголовного розыска.

– Уголовного?

– Уголовного. Воно старуху з одного выстрела наповал.

– Иди ты! – диву дался Кутузов.

– Отож. Побирался по хатах, а та и нюни распустила, повэла до сэбэ нагодувать. Пока борща насыпала, воно у нэи в хати уси заначки пере-нюхало. Вона: «Ах ты ж такой-сякий!» И за ным. Воно вид нэи. Прыг на диван, с килыма двустволку цап. И бабце дробью усе облыччя всмятку.

Мальчишка, будто речь взрослых никоим образом его не касалась и ничуть не интересовала, со скучающим видом презрительно разглядывал захудалую вахту.

– И как же оно теперь? – растерянно поинтересовался Кутузов.

– А нияк. Який с него спрос! По вашей части дознаться, хто воно такэ е. Та сопроводить по месту.

Чумазый убийца без спросу уселся на стул, закинул нога на ногу. На нём были заграничные белые кроссовки – несбыточная мечта всей молодёжи страны. Обувь была новой, точно по ноге и замызгана невообразимо.

Я проводил постового. Когда вернулся, Кутузов записывал в истрёпанную толстую книгу:

– Ильяс. Так. А фамилия?

– Ильяс.

– Так, – невозмутимо принял Кутузов, пропуская мимо ушей надменный тон мальчишки.

– А папу зовут?

– Нема.

– Кого нема – папы?

– Папы.

– А мама?

– Ушла на гости.

– А живёшь?

– Табор.

– А в школу?

Ребёнок презрительно фыркнул в направлении потолка.

– А читать?

Ещё одно «фе!» туда же.

– Ну вот какая это буква? – с лукавством манящего в ловушку спросил Кутузов.

Ильяс нехотя покосился на заглавие в газете, выдал через губу:

– Пэ.

– А эта?

– А.

– А эта?

Ильяс отвернулся и лизнул в углу рта складку запекшейся грязи, показывая, что эта буква ему неинтересна.

– Не огорчайся, – утешил Кутузов. – Тут школа, пока из тебя адрес-фамилию вытянут, и читать, и считать научишься.

– Считать и без тебя умею!

– Ну и молодец. Давай-ка будем раздеваться. Ты вещички снимай, клади на стул и говори, как называются. А я запишу.

Цыганчонок легко высвободился из рыжей дублёнки. Месяцев восемь назад мы с Женькой заказали морякам в Одессе что-нибудь наподобие и всё ещё ожидали привоза. Дублёнка была чуть-чуть великовата, он подвернул рукава, и новая с иголочки. Однако спилок у прорези карманов он успел замусолить так, что казалось, будто карманы оторочены лицевой чёрной кожей. Карманы на джинсах престижной фирмы тоже лоснились от грязи, но удивило меня не то, как завазюкал он дорожную и редкую вещь, а то, что, оказывается, фирменные штаны бывают детских размеров.

Воду душа он пробовал с гадливостью дворового кота, которого взяли в дом и подвергают помывке. Мылился неумело и с омерзением, а смывалось с него что-то похожее на фиолетовые чернила.

В чистой, но старенькой байковой рубаше, в застиранных, с белёсыми разводами от хлористого порошка серых байковых штанах, похожих на шаровары, в ношенных, с дырами против пальцев тряпичных тапках на босу ногу, он поднимался на второй этаж всё с тем же видом начальствующего над нами. Повозившись с тапкой, которая якобы спадает с ноги, он дал отдалиться Илларионовичу и тихо, но внятно сказал мне:

– В одежде захована десятка. Скажу где – купишь мне сигарет на восемь? Два рубля твои...

Его «ты» отчасти маскировалось под детское, когда ещё не знакомы сложности этикета и круг составляют самые близкие. Отчасти – наивностью человека, быт которого связан с другим языком. Глаза,

однако, выдавали, что причина в неприкрытом нахальстве и полном презрении.

– Нет, – невольно поддавшись заданной им секретности, сказал я в полголоса.

– А за три?

– Нет.

– А пять не жирно будет? – прошипел он с возмущением и так, словно я и вправду затребовал пятёрку.

– За пять тоже не договоримся, – посмеиваясь, сказал я.

– А за сколько? – выговорил он, и глаза его подались вон из орбит.

– Ни за сколько. Никак не договоримся.

Всерьёз огорчённый несовпадением интересов, он с надутым видом миновал лестничный марш; на площадке так, будто внутри у него было пламя, полыхнул фразой:

– Стиришь десятку – стоять не будет!

Я думать не думал о его десятке и усмехнулся в ответ на никчёмную угрозу, однако что-то суеверное, памятью по себе оставляя безотчётную робость, скользнуло по душе.

В учебном классе Кутузов представил меня средних лет воспитательнице, которая во врачебном халате за учительским столом переписывала что-то в журнал, похожий на нашу книгу записей.

Пока Кутузов с рук на руки сдавал Ильяса, я огляделся. Через распахнутые широкие двери видны были спальные палаты и игровая с бильярдом, телевизором и рядами тяжёлых карболитовых кресел из кинотеатра. Разновозрастная детвора с усердием, но и с баловством, возгоравшимся то там, то здесь, разбившись на стайки, вела уборку всех помещений разом. На подоконнике в позе русалочки сидела девочка лет пятнадцати с роскошными светлыми волосами – пышными, слегка волнистыми и падающими за кромку подоконника. Щёткой-расчёской с зубчиками в резиновой подушке она водила по разнотонно выгоревшим прядям и кобальтовыми глазами мечтательно и грустно глядела сквозь стену. Кто-то из пацанят или девчушек подходил к ней с вопросом, касающимся работ. Не изменившись в лице, движением большого пальца ноги, скрытого тканью тапки, она отдавала указание, которое детвора вприпрыжку неслась исполнять.

Подходил к ней и лоботряс по виду лет двадцати, не меньше. Стриженный под ноль, в детских штанах по колено и в рубаше, едва прикрывающей пуп. Он спрашивал бархатым голосом и глядел с мольбой. Восторг, с которым он встречал приказы пальца её ноги, выхлестывал из него командами мелюзге, подаваемыми лужёным басом.

– Которая на окошке – староста, – с охотою пояснял Кутузов в дежурке. – Мама завела по месту жительства дом свиданий. Соседи по коммуналке донесли, куда следует, и маму – таво. А дочка – дома. Ну и дяди по старой памяти – к тому же порожку попросить водицы напиться. Соседи в набат! Её, стало быть, к нам на время сбора бумаг для детдома. А бумаг – кипа. И пока десятую отхлопочешь, первой срок вышел, приказала долго жить. Скоро год исполнится, как у нас. Своя. Воспеты души не чают, детвора при ней шёлковая, верёвки вей...

Мы посидели молча. Кутузов, не зная, чем занять руки, переложил книгу учёта на другой угол стола, спрятал в ящик ручки.

– Э-э! – спохватился он. – Я о народных деньгах не таво! Сколько их можно бы оставить в целости и сохранности... И чему бы, ты думал, выучил я, вохра малограмотная, воспетов? Я для них изделал ин-

струкцию ведения допросов. Изюминка в чём – спрашивай побольше и поподробнее, всё у себя записывай, а потом вертайся на второй круг, когда оно уже не помнит, что прежде брехало! Работает безотказно! Куда тому детектору лжи или как его – полиграхву!.. Без почты, без телеграмм дорогущих, без того, чтобы оно валандалось у нас неделями!.. Часок посидел с босяком и вывел голубчика на чистую воду. Не, бывают такие стреляные горобцы, которых на мякине не проведёшь. Которые беглецы со стажем – у тех легенда назубок, что у твоего шпиона. Врёт о дружке своём – и маму его называет, и папу, и место их работы, и адрес. Не собьёшь! И с места отвечают – всё точно, всё сходится, только ребёнок наш дома, вот он, при нас, за руку держим... С этими – да, с этих взятки гладки. А которые начинающие – на тех бы можно большую экономию навести... У-вот... Яклич отверг, – выговорил он, заново переживая былую неудачу. – Ему, конечно, оно виднее... – заметил он с набравшим от времени прочности старым несогласием.

– Не, ну он что говорит? – вгорячах взял Кутузов на тон выше. – Мол, коли так врут, стал быть, им там плохо, куда мы их сбыть торопимся. От хорошей, мол, жизни случаются беглецы, романтики. А так ведь от побоев бегут, от голодухи... Попустись, говорит, Ларионыч, не на свои мы их деньги содержим. Пусть поживут в чистоте, в сытости. Хорошую книжку прочтут на уроках, задачку решат. Надоест – сами запросятся. Время – оно доктор. Для них – так уж точно. Время тикает, они вырастают...

Кутузов помолчал, наново примеряясь к доводам Аркаши.

– Прав? На словах – прав. А возмёшь по отдельности каждого нашего шпындика – скажешь одно: драть некому.

Он ещё помолчал, жестами рук и подвижкой бровей выдавая, что всё ещё спорит, и наводя на мысль о силе настырности, живущей в этом маленьком человеке.

– Начальству виднее! – сказал он, закрывая тему, но без намерения забыть, что его обошли признанием.

Потом, всё с тем же неудовольствием косясь в сторону, вдруг спросил:

– А вы на что живёте? – и зорко глянул, следя за реакцией. – Все трое в достатке...

Я улыбнулся, осознавая, тем не менее, беспечность, с которой мы не подготовили легенды.

– Остатки роскоши!..

– Остатки сладки, когда знаешь, что и на завтра будет кусок... Вам, таким-то, тутошнего жалования – только облизнуться...

Он не выпрашивал, он пробовал рассуждать. С позиции дознавателя.

– Подрабатываем, – сказал я. И соврал: – Мы плитку кладём.

– Положите мне! – ловя на слове, оживился он.

– Не получится.

– Нет? – наострил он нюх.

– У нас зарок: своим не делать, – удачно нашёлся я. – Хочешь, говорят, испортить с сотрудником отношения – возьми у него заказ.

Ревун, словно нанявшийся пугать меня, ужалил Ларионыча бодростью. Он открыл женщине в форме, узнав которую по голосу, привстал на цыпочки, подтягиваясь к прорези, и приветливо отозвался:

– Люся, ты?

Люся из привокзальной детской комнаты милиции доставила заплаканную девочку лет двенадцати, домашнюю, чистенькую и с характером, с той внутренней стрункой, которая отличает девчонок, успевающих

быть отличниками, капитаншами в спорте и заниматься танцами. Оживлённо обмениваясь с Кутузовым новостями, Люся между прочим сообщила, что девочка отстала в дороге.

– Удивляюсь, как долго не звонят, не ищут. Не хотела к вам, но ребёнка бы и поесть, и отдохнуть...

Приняв от Люси два экземпляра заполненного стандартного бланка, Кутузов сделал строгое лицо, нацелил ручку и, как бы репетируя подпись, расписался сперва в воздухе, над местом, предназначенным его каракулям. Затем, как на незнакомку, глянул на милиционершу и с подозрением – на предложенную к подписи бумагу. Наконец удостоверил-таки своей фамилией и должностью акт передачи ребёнка и, выдохнув с облегчением, снова беззаботно расцвёл, улыбаясь Люсе и млея при виде её дородности.

С большой неохотой отпустив минут через десять приятельницу, он уселся описывать вещи ребёнка. Девочка положила на стул вязаную шапочку с бубоном, вязанный шарф, пальто. Расстегнув пуговицу на кофте, она остановилась и с возникшим в глазах испугом посмотрела на Кутузова, на меня. Увильнувшись взглядом от её глаз, я с вопросом сказал Кутузову:

– Пойду-ка я пройдуся?

Он поднял глаза, понял и ответил строго:

– Ты эти глупости дома оставляй! Тутушный порядок работы – он, как армейский устав, писался кровью. Не хочешь накликасть беды – знай присматривайся и делай, как заведено.

Девочка, сообразив, что мне, почти как и ей, в новинку строгости учреждения, глянула на меня с надеждой и сказала:

– Я не разденусь!

– Раздерешься, порядок ради тебя никто менять не станет, – ворчливо отозвался Кутузов.

– Не разденусь!

Кутузов привычно, как мастер, отложив не подошедший гаечный ключ, берёт другой, снял трубку с пульта внутренней связи, клацнул тумблером.

– Петровначка, – сказал воспитательнице, с которой знакомил меня утром. – Мне двух хлопчиков постарше – помочь одной умнице раздеться.

– Коники? – спросил в трубке усталый женский голос. И напрягся, выкликая: – Сумцов! И как тебя? Игорёша!

Девчушка пролепетала:

– Не надо...

– Что? – спросил Кутузов, не вкладывая никакого настроения.

– Я сама...

– Петровначка, отбой! – безразлично сказал Кутузов, наперёд знавший, чем кончится.

Последние вещицы она снимала в нервной спешке, бросала на стул.

– Веди, пусть моется, – сказал Кутузов. – Я допишу.

Она ступала босыми ногами, словно ранясь о грязный пол. Вся она была прорисована лёгким штришком, намёком на ту несомненную прелесть, какую станет через годик-другой. На пороге душевой, перед шагом на осклизлый трап она прошептала мне, боясь, не услышал бы Кутузов:

– Там грибок! Меня из бассейна прогонят, я пропаду от позора.

Я взял с нижней полки тапочки, но в них лоснился след, наеложённый чужими ногами.

- Ларионыч, у нас тапки новые есть?
- Есть-то есть. Но на них же не напасёшься, горит!
- А где?
- Выше ячейку открой!

Пробуя воду и старательно смывая чужое с початого не ею куска мыла, она шепнула:

- Можно, я голову не буду?

Я кивнул, что можно и вышел в дежурку.

– Там на открытой полке, – сказал Кутузов, – полотенца, халаты, трусы и майки.

- Пацанячьи?

- А какие ещё!

– Я не надену этого! – отложила она в сторону застиранные сатиновые трусы. – Я не могу...

- Новее не нашёл, – шепнул я, оправдываясь.

- Не потому... Можно мне моё?

- Нет, наверное.

- Тогда не надо ничего.

- А как же ты?..

- В халате.

Я хотел возразить, но она умоляюще прижала ладошку к губам, и я махнул рукой.

Мокрые тапки повесили на дверцы ячеек; в полученных от меня новых она вышла в дежурку. Кутузов недовольно покосился на её сухую голову, но смолчал.

Когда девочка была в группе, а мы на своём месте, он посоветовал:

– В поводу у них не ходи, заведут! И в стеснялки играть мы не имеем права. Иначе они туда, – показал в сторону корпуса, – и лезвия, и чего только не протащат!

- Какие у неё лезвия!

– Поработаешь – увидишь! Вот ты её в новые лапотоши нарядил, а там с неё снимут, хорошо ещё, если без драки. Добреньким быть – оно не всегда к добру...

- Значит, надо всем новые давать! – огрызнулся я.

– Ага! Ты дома всем гостям новыеставляешь? И ты же в их шкуре у Яклича побывал, знаешь: они не нас боятся, страх у них – как там своя же босячня встретит. Такая же чистюля, я принимал, пронесла с собой расчёску. А у расчёски хвост – точная заточка. После отбоя в палате она старшую и пырни... Моё счастье, что к Якличу прислушиваются наверху, а то бы...

Перед отбоем детвору сосчитали по головам – шеренгу мальчишек и шеренгу девчонок – и заперли в палатах, при которых в больших отдельных комнатах имелись умывальники и разделённые кабинками унитаза. Тем самым Петровна передала ответственность дежурным по режиму. Проводив её за калитку, засобирался и Кутузов. По правилам один из нас дежурил сутки, а второй к уходу воспитателей в помощь ему выходил на ночь. Спустя два дня второй заступал на сутки, а первый обязан был отдежурить с ним ночь. Однако от ночных смен напарники самовольно освобождали друг друга, из чего и складывалось столь привлекательное сутки – пять.

Когда, надоедливо, но обстоятельно разложив по полочкам, как действовать в случае чего, Кутузов наконец-таки отбыл восвояси, я почувствовал, как устал от него за день и как хорошо одному. Я повалился

на койке в одной из резервных палат, потом испытал себя в меткости на бильярде и включил телевизор. Вскоре мне показалось, что кто-то тихонько постукивает из палаты девочек. Я приглушил звук, и робко зовущий меня сигнал обозначился яснее.

Стоило прибрать задвижку, как дверь сама приотворилась, и из палаты выскользнула, бесшумно и скоро закрыв за собой, русалочка-староста. Её волосы походили на накидку, кроме которой на ней была простыня, узлом завязанная на плече и оставлявшая голым весь левый бочок.

– Дмитрий Сергеевич, – шепнула она голосом надолго и понапрасну наказанного ребёнка, – можно мне телик посмотреть?

И робко глянула теперь почти чёрными глазами, в которых сиреневыми лампадками посвечивали два огонька.

– Можно, – сказал я, думая не о телевизоре, а о том, как её одеть. – Только одеться...

– Я постирала... – самым невинным образом соврала она.

– Принести другое?

– Не нужно, я не замёрзну, – ответила она так, будто дело было только в этом.

Она спросила, можно ли поменять канал, и, присев на корточки, повернула туго щёлкнувший переключатель. И тут, словно включённый её рукой, рывкнул ревун. Я перетрусил куда сильнее, чем пугался днём, а она, низко пригнувшись, чтобы не мелькнуть в окнах, бесшумно улизнула в палату.

За калиткой, переминаясь с ноги на ногу, как у занятого туалета, стоял лысеющий мужчина, где-то потерявший или забывший шапку. Несколько волосин у кромок проплешин, полуживых, истончавших, стояли вертикально вверх, плавая в воздухе, как паутина.

– Дочка... Сказали – у вас...

Я понял, кто он, и из-за того, что повеяло перегаром, горько пожалел мою сегодняшнюю отличницу и пловчиху.

Кутузов не научил, как оформлять уход ребёнка. Чтобы внести потом в документ, я переписывал данные из его паспорта, а она за дверью кладовой переодевалась у ячейки с её вещами. Облизав сухие губы, родитель спросил:

– Тата, зачем ты так?

– А я просила тебя, просила?

– Просила.

– А ты?

– Таточка, ну так уж оно как-то...

– Я говорила – или это, или я?

– Таточка...

– Нет больше твоей Таточки! За этот день со мной такое...

– Что, Татуся, что ты говоришь, деточка?

– Я больше не деточка. Забудь.

От этих слов, произнесённых холодно и твёрдо, двоим, и ему.ю и мне, сделалось не по себе.

Она вышла застёгнутой на все пуговицы, в шарфе и шапочке. Сложенный в квадратик халат положила на сиденье стула, тапочки (новые!) поставила рядом на пол и спросила меня взглядом – так?

Что-то ещё было в её глазах, кроме этого чуть-чуть задиристого вопроса. Меня удивило, какая она взрослая; возникла уверенность, что взгляд её хочет передать что-то совсем не детское. Я ожидал укора, но

было другое. Она прощалась со мной. Как мы прощаемся навсегда с чем-то, что останется нашим на всю жизнь.

И я подумал и, кажется, ответил, ничуть не покривив душой, что и она останется во мне.

Выйдя за калитку, он напомнил заученно:

– Что надо сказать, Таточка?

Она измерила его от раскисших ботинок до лысеющей головы, а потом другие её глаза полную, отлитую в неразменный слиток времени секунду, как урок, повторяли для памяти моё лицо.

В таборе, который, будто мусор из кулька, рассыпался по заснеженному лугу, они, Толик и Женька, с трудом выманили из машины совсем не такого Ильяс, какой на глазах у детворы развязно усаживался туда в приёмнике. Дорогой он делался всё тише и незаметнее. Лицо, нарочно умытое перед отправкой, бледнело, покрываясь грязно-серыми пятнами, и не было сомнения, что это проступает наружу пропитавший всё его существо страх.

Худой, болезненный и невзрачный вожак прикрикнул коротко и недовольно на женщин, что-то приказав, а приехавших усадил напротив себя в войлочном балагане с завесой на входе, такой же замусоленной, как карманы на дублёнке Ильяс.

Слушал молча и безразлично. Принесли водку и грязные гранёные стопки. Толик в позыве безразличности поспешно обезопасил себя тем, что он за рулём. Женька просто отверг выпивку, предложив хозяину заполнить расписку о получении ребёнка. Тот успокаивающе кивнул и вышел. Через несколько минут, ногою ловко управившись с пологом, в шатёр вошла девочка с кованой сковородой, диаметром сравнимой с днищем бочки, в которой прищипывало и пшикало тонко наструганное мясо. Аромат свежайшего парного мяса, не тронутого приправами, острыми коготками вонзился эвакуаторам прямо в железы под подбородком.

Вернулся хозяин, жестом снова предложил выпить. Женька, сдаваясь, отчаянно махнул рукой, а Толик, сглатывая слюнки, предвкушающе потёр ладонью о ладонь.

Немного захмелев и подкрепившись поджаркой, приезжие вежливо напомнили о деле. Старший потупился, будто заранее стыдясь того, что скажет:

– Я подпишу, и вы, конечно, можете уехать. Но мы его прогоним. Кто убил – тому в таборе нет места.

Обратно в машину Ильяс садился без принуждения, но выглядел он так, как может выглядеть человек, приговорённый к пожизненному. Никто не вышел проститься, никто из хлопотавших под открытым небом не глянул в его сторону. Мальчишки больше не существовало для них.

Пацанва встретила возвращение цыганчонка шумным ликованием – воспитатели взяли за головы. Вирус самого непредсказуемого пакошничества возвращался с ним в коллектив.

Остаток рокового для него дня Ильяс провёл тихо, отгородившись от всех мрачной угрюмостью. ЧП случилось в свободное время следующего дня, когда, завершив уборку, сели смотреть телевизор. Воспитательница из-за учительского стола, поставленного позади рядов, обнаружила, пересчитав головы, отсутствие одной. На месте не оказалось Ильяс.

Его искали до отбоя. Вечером, заперев детей в палаты, на совете с дежурными по режиму решились на крайнее – звонить в милицию. И тут в игровой, где, собственно, и совещались, под тяжёлым подоконником шевельнулась реечная решётка, скрывающая батарею отопления, и выполз на свет божий жалкий и скрюченный, словно сживаемый со свету скоротечной болезнью, Ильяс.

– Зачем?! Что ты там делал?! – набросились на него.

– Плакал...

На русалочку-старосту паче чаяния выправились бумаги, она переехала в детдом, а оставленную ею власть прибрал к рукам ополчившийся на весь мир Ильяс.

Кутузов, зачуяв неладное, не скостил мне ночь, и я договорился о подмене с дежурным из другой смены, тоже отставником из органов.

Заперев после отбоя палаты, деды не пригубили за вечерним перекусом, как предполагал мой подменщик: на душе у Кутузова кошки скреблись. Приглушённый телевизор он слушал вполуха, на крик в палате мальчишек влетел, как молодой.

Дрались пятеро. Кутузов разнимать – не тут-то было. Он кликнул второго, и стоило тому войти, как вся палата бросилась на них.

Дедов, как буйных, примотали простынями к койкам. Ильяс под возню со связыванием разул Кутузова и с глубоким удовлетворением приобулся в его хромачи.

У обездвиженных отняли связку ключей, переоделись. Ильяс поверх своей дублёнки натянул тулупчик Кутузова, на который, как и на хромачи, давно положил глаз, и опоясался портупеей. Потом предусмотрительно оборвали телефонные провода и дали дёру. Ильяс требовал рассыпную, но пацанва, сбежавшая не сама по себе, а с ним, липла к нему, как к магниту.

Зато девчонки бежать отказались. Им как-то не улыбнулось шастать ночью и в стужу бог знает где. Последнее обстоятельство крепко выручило убеждённых сединой профессионалов. Их развязали, и оставшийся при обуви кинулся к ближайшему автомату звонить 02.

Наряд с собакой пошёл по следу. В критический миг Ильяс юркнул под голубую ёлочку возле райкома. Он знал – собака пойдёт за бегущими. Так и случилось. И он, пожалуй, ещё бы долго щеголял в тулупе и хромачах, столь любезных его цыганской душе, когда бы служебный пёс на сшиб удиравшего мальчишку и тот бы не завопил:

– Дядя, уберите собаку, я покажу, где цыганча!

А днём, когда бурно обсуждалось произошедшее, Аркадий Яковлевич передал через меня Женьке приказ незамедлительно сопровождать к мету жительства другого потенциально опасного ребёнка.

Это была хорошенькая бойкая барышня четырнадцати с половиной лет, помеченная самого неприятного рода заносчивостью, свойственной иногда детям милицейских работников, поймавших скорую карьеру. Её мама, брошенная свежеиспечённым начальником райотдела, желая без помех поискать себя в личном, спроводила на лето ребёнка под Чернигов к бабушке. И вскоре получила письмо, слёзно просящее забрать её обратно. Маме писала её мама, что от стыда не может выйти к колодцу, потому что внуца вытоптала с солдатами все огороды. Не допуская и мысли о том, чтобы забрать дочь, родительница телеграммой вызвала её на телефонные переговоры в местное отделение почты.

– Сдала меня, крыса старая?! – рыкнула внуця после сеанса связи. И, собрав пожитки, изо всех своих юных сил шваркнула на прощанье дверью.

В Киев проходящим поездом она прибыла в 19.00, а в 21.00 в найденной согласно вековечному принципу «свой свояка» новой компашке тусила вблизи ресторана. Смазливых девчушек, стреляющих глазками, цепляли настроенные гульнуть мужички. Они отвечали прилично одетым и не склонным к буйству, но в ресторан не шли.

– Там дорого и нудно! – убеждали юные чаровницы. – Лучше закупиться в гастрономе и упасть к нам.

На радостях счастливцев сгребал с прилавка всё, на что указывали бойкие пальчики. А в гостях, куда его приводили, уже сидела за столом шумная молодая компания, по преимуществу пацанячья. Встречали приветливо и попросту. С благодарностью принимали принесённое угощение и предлагали своё. Закусывая, вели радушную беседу. И если гость вызывал симпатию, а его кошелек способен был осилить хороший подарок, ему даже перепадало то, ради чего он потратился. Но чаще он не был достаточно мил и состоятелен. Тогда наиболее умный, поужинав с воспитанной молодёжью, мирно раскланивался. Тот же, кто, распустив слюни и считая, что вправе, начинал добиваться интима, оказывался с глазу на глаз с двумя-тремя крепкими, почти трезвыми и рассудительными парнями, которые говорили, что приняли гостя как родного, ничем его не обидели и теряются в догадках, с чего вдруг он раскатал губы на их тёлочку...

Так длилось до зимы, когда примелькавшимися симпатиями заинтересовались постовые. Мама не поехала за ней и в Киев. Оттуда, из приёмника, сопровождающий нашёлся только до Харькова, а до дома, в Астрахань, Аркаша приказал немедленно увозить барышню после того, как из-за неё в первый же день передрались пацаны.

В учебном классе, где каждый из беспризорной братии получил сильное задание, но убивал по-тихому время приличествующим его летам и смётке баловством, у учительницы, глянувшей на него, как на памятник, ненароком сошедший с пьедестала, Женька шёпотом отпросил назначенную ему спутницу.

За дверью отвёл её в тупик, к окну, где без церемоний развернул к свету, придиричиво, почти брезгливо, прошёлся взглядом выпуклых, размыто-серых глаз по её причёске, тельцу, которое не под силу было укрыть от них халату, и лицу. Когда взгляд задержался на подкрашенных сиреневым и подвазюканных по кромке чем-то чёрным её веках, губа под шёлковым усом глумливо дрогнула.

– Намазалась фуфлятиной... Смоешь начисто, по виду мне нужен невинный ребёнок. Теперь так: мухой в кладовку, взяла свои бебики и постирала-погладила. Времени на всё – до девяти завтрашнего утра. Будешь выглядеть дешёвкой или лахудрой, я с тобой не поеду.

Утром она вышла к нему в коротком жакете из черно-бурой лисы, неуместно шикарном, косо сидящем, по всем видимостям, с чужого плеча. Не зная маршрута её передвижений, он подумал бы – в мамин. Внизу были нашенные чистенькие джинсики, из которых она выросла за лето и осень, и большие на неё ботинки милитари, неуклюжие, но забавно пошедшие бы к ней без жакета. Волосы после едкого мыла дыбились в разные стороны, зато отмытое личико, взволнованное смотринами, было очаровательно.

За спиной она прятала узелок из белой наволочки с сухим пайком на дорогу.

Женька, нажав на золочёную защёлку, открыл дорожный сак из светлой натуральной кожи. Разинув его зев, бровью научил её, как избавиться от узелка. Похоронив в саквояже компрометирующую ручную кладь, она просияла, обрадованная этим избавлением и окрылённая тем, что её внешний вид принят.

За воротами Женька недвусмысленно приподнял локоть. Боясь обмануться, она заглянула ему в лицо и взяла под руку, опустив перед этим глаза, прячущие лукавое.

Вблизи железнодорожных касс он вынул бумажник и протянул ей деньги. Она откачнулась, не понимая.

– Бери, тебе на дорогу. Ты куда хочешь ехать?

«Ничего себе вопросик!» – вытянулось её лицо.

– Как то есть куда?

– К бабушке в Чернигов, к ребятам в Киев? Куда скажешь, туда и билет возьму.

– А вы? – пролепетала она потерянно и с испугом.

– Я в Астрахань, к маме твоей.

Она тихо и так, словно в этом направлении ей уже отказано, спросила:

– А мне – в Астрахань?

– Можно и тебе, если хочешь.

– Хочу, – попросила она голосом бедной родственницы.

– Угу, – понял он и направился не в хвост, а в голову очереди.

Со вчерашнего дня она думала только о нём, а сегодня, когда он предложил ей руку, когда у кромки дороги шевельнул пальцем в перчатке, которая цветом и выделкой сливалась с кожей саквояжа, и чужая машина безропотно подкатила, распахнув дверцу... И теперь, после этого, ни в какие ворота, предложения ехать туда, куда она хочет... И когда очередь перед билетной кассой от одного его взгляда сама собой отпятилась назад... Теперь она уже знала, что он не только выглядит, но и есть что-то небывалое, что-то такое, что не могло встретиться в её жизни без знака, без участия судьбы.

Она не отваживалась поверить, но настроение и эта лёгкость, которая так и подзуживала приподняться и зависнуть в воздухе, убеждали, что что-то сбывается... Сбывается.

– Покатим в служебном, – сообщил он, книжной закладкой опуская билеты в бумажник. – Тесновато, зато без свидетелей.

В узком купе с одной верхней и одной нижней полкой он, ухаживая, как за взрослой, принял её жакет, повесил на тремпель. В быструю-пребыструю разведку сгоняв взгляд, она узнала, что он одобрил рубашку из тёплой ткани в светлую и тёмную клетку, которую она выцыганила у одного из киевских парнишек, накинув и увидав, насколько она ей к лицу.

Диковинным гребнем, зубчатым в обе стороны и состоящим из четырёх – от очень тесной и до разреженной – расчёсок, он пригладил львиную гриву, а густой четвертинкой гребня прошёлся по усам. Эти его мужские вещицы – сак, перчатки, часы, гребень – редкостные и необычные, как и он сам, составляли вместе что-то уютное, добротное, необходимое и словно бы сплочённое против всего иного, заурядного мира. Неся каждая свою службу, вместе они были ещё и доспехами – защитой и рыцарским отличием. Они восхищали её, делая однако его недоступным, недостижимым и заставляя её казаться себе самой никчемной и неинтересной.

– Куришь? – спросил он.

– Курю, – сказала она, наскоро примерившись перед этим, как лучше – врать или не врать.

Возникли и легли на столик пахучие сигареты и зажигалка, броская и замысловатая, как герб на доспехах. Из сака он достал прозрачный коробок, в котором просматривались мыло, бритва, зубная паста, и снял с дужки казённое полотенце.

Вернувшись, спросил, предлагая свой набор:

– Пойдёшь?

К её приходу на столе уже было несколько стаканов с чаем, открытая конусная стеклянная баночка с погружёнными в масло ленточными ломтиками розовой рыбы, сваренные вкрутую яйца из её узелка и хлеб.

– Завтракала?

Она заметила, как выгодно с ним говорить правду.

– Не успела.

– И я не успел.

Возник нож, облепленный по рукояти двумя десятками по замыслу полезных, но никогда не применяемых финтифлюшек, и она подумала, что этим вещам, к которым она уже ревнует, не будет конца.

Свежий хлеб из узелка, податливое от тепла масло, яйца, таящая во рту солёная рыбка... Он ел, ничуть не скрывая удовольствия, которое доставляет еда его могучему, рассчитанному на обильную заправку телу. В согласии с ним бойко кушала и она.

– А вы не похожи на сотрудника.

– Да я, – усмехнувшись, – в общем-то и не сотрудник. Пришибились тут (чуть не сказал – у вас) в приёмнике с ребятами, чтобы по статье о тунеядстве не загреметь. Поцапались с начальством на бывшей работе и с милицией, воюем теперь на два фронта, а между делом вот загулявших детейшек по домам развозим.

– Загулявших... – повторила она, примеряя на себя. – Осуждаете?

– Я?! – промычал он полным ртом. – Да я сам с четырнадцати по углам скитаюсь, – прожёвывая, торопился сказать, – до сих пор места себе не найду!

– Вы?!

– Я.

– Ну нет, ну не может быть!

– О, ещё и как может! Ехать нам долго – хочешь, расскажу?

– Конечно!

– Только начинать надо с самого начала, от печки. Вот говорят, что старших обсуждать не педагогично. А что же делать, если они показывают нам пример! Я классу, наверное, к пятому, к шестому уже твёрдо знал, как жить не буду.

Ломтик нарезанного ещё кухней хлеба Женька намазал маслом для неё и готовил второй себе.

– Первый образчик – родной мой папуля. Он за стакан кулаком вышибал калитку. Бух кулачищем – стакан водяры. Идут дальше. Бух – стакан. А я реву, соплю размазываю, упрашиваю пойти домой. Знаю уже, что там будет после пяти калиток. Считается, что мы родителей любить должны и всё такое... А я бы – веришь? – не отпраивсь он сам по себе в мир иной, не замёрзни под забором, – я бы ему помог!

После этих страшных слов, произнесённых под смешок, как бы шутейно, она коротко глянула ему в лицо. Зрение успело ухватить запорожский, бульбою, нос и бунтующие ноздри.

– А второй примерчик – уже папуля названный, – продолжил он, издевательски смакуя фразу и наслаждаясь откушенным бутербродом. – Ещё одно чудо в перьях! В юности оно запало на самолёты, полезло, понимаете ли, в конструкторы, в умники. За что и схлопотал десятку перед войной. А освободившись, больше всего боялся занять заметное место. Зарабатывал, гадёныш, копейки и весь переключился на экономию...

Женька богатырским глотком отхватил из стакана чай, который уже не обжигал, как вначале, и продолжал так, словно рассказывал о чём-то, доставляющем ему удовольствие.

– Как-то на Новый год достал магазинную уточку. Сам готовил, сам нарезал порциями – по счёту, чтобы на два дня. А к завтраку после праздника не досчитался одного куска. А? Как тебе происшествие? И ему, извольте видеть, захотелось, чтобы я признался. Ведь некому больше. Ну кому было схавать, если не мне, вымахавшему, как бурьян, с кулаками, как гири, с несуразными ногами, прибавляющими в сезон по два размера? Кто, если не я, вечно косящий, что бы сожрать, вечно подьедающий за матушкой? А я не брал утки!

Тут ей показалось, что он потрянул головой и выдал деревянное «ха-ха!», чтобы не поддаться спазму, прихватывающему гортань. Она ещё раз коротким взмахом вскинула взгляд, и теперь отметилась первым планом крошка яичного желтка, засевшая в глянцево отсвечивающей каштановой с подпалинами бороде. Её потянуло снять эту крошку, чего она, конечно, не решилась сделать, но это, что не решилась, лишь усилило накотившее вдруг желание позаботиться о нём, как о маленьком.

– Я не боялся признаться. Но я не брал. А выходило – умял тайком и бздит. И я ору петушиным басом, что нет, а мне: ну ничего страшного, но признайся! Эх, как хватаю я отчима за горло и башкой о шифоньер шарах его, шарах, шарах, шарах!

Ликующий мстительный огонь вспыхнул в её глазах, впервые прямо и не мигая поднявшихся к нему.

– Зеркало в куски, кровища, а я остановиться не могу.

Он принялся за третий стакан, осушил его в два глотка.

– И ушёл из дома. И по сей день в ушедших.

– Ты не против? – сказал он после паузы и уже другим голосом. И поправил подушку, чтобы полуприлечь.

Для пепла он свернул козью ножку из бумажной салфетки и с тем же наслаждением, с каким пил и наедался, закурил. Она тоже взяла сигарету. Когда, подточенный тлением, навис хвостик пепла, он просто, как предлагал руку, чтобы идти вместе, приподнял свой, рогулькой, кулёчек. Она стряхнула нагар, и эта незатейливая услуга, предложенная и принятая, вдруг подтолкнула к доверию и чувству некоего равенства – не во всём, но в чём-то очень важном.

Её опыт общения с мужчинами и мальчишками утверждал, что близость есть необходимое и главное, если не единственное, что держит вместе. Она подумала – а вдруг и он захочет близости? И ей стало страшно. Почему-то ей показалось, что она сгорит со стыда, хотя, конечно, не посмеет и пикнуть, возражая. И не успела она подумать это, как он сказал:

– Поиграем?

Сказал без нажима и без стеснения. Сказал до того буднично, что это не могло не оскорбить.

Оглушённая обидой, она в спешном порядке искала причины оправдать его, и думала, что в устах многих других не находила в похожих предложениях ничего зазорного. Ещё ей пришло на ум, что он знает, не может не знать о её похождениях в селе и Киеве, и она почувствовала, как всё рушится – всё, что она нафантазировала о нём и себе. И чуть не прокричала в мыслях – как же, как же он, такой хороший и такой умный, не понимает, что там всё было назло! Назло!

С пунцовым лицом она поднялась, чтобы запереть изнутри дверь, и осталась на ногах, ожидая, что велят делать.

– Я не о том! – воскликнул он, стараясь не рассмеяться и смехом не уколоть её ещё сильнее. – Я предлагаю поиграть в правду.

Она подняла раздосадованные, но уже готовые к примирению глаза, а он похлопал ладонью по мяготи дивана, зазывая её обратно.

– В какую правду? – спросила она, вернувшись.

– В простую. Говорить о себе всё, как есть. Это интересно.

– А о чём?

– О том, что я спрошу. А я – о чём спросишь ты.

– Ладно, – с оглядкой согласилась она, всё ещё ожидая подвоха.

– Чур – я первый спрашиваю! Скажи, вот ты путешествовала. Что было самое-самое для тебя?

– Много чего было... – проговорила она, задумавшись и очень стараясь не покривить душой. Так стараясь, что у неё наморщился лобик и показался кончик языка, без цели гуляющий по верхней губе. – Много... И... И ничего не было... – сказала, с сомнением всё ещё перепроверя себя. – Ничего. Для меня – ничего такого.

– Хм! – выдохнул он удивлённо. – Как ты сказала интересно – много и ничего для меня.

Он ощупью нашарил пачку на столе, закурил. Поезд давно придерживал ход, теперь остановился. По коридору тяжело, с вещами, прошли люди. Возникли голоса на перроне. Стояли минут пять, он всё курил, разглядывая её лицо и будто прислушиваясь к движению там, на твёрдой почве. Тронулись так плавно, словно опасались кого-то разбудить либо хотели от кого-то улизнуть незаметно.

– Ты так сказала, что я подумал о своём. И знаешь, мне кажется, что у меня, кроме одного раза, ничего не было за всю жизнь.

– Так не бывает! – не согласилась она, свято уверенная, что весь мир только и должен делать что-нибудь удивительное для него.

– Много ты знаешь, что бывает и чего не бывает! А ведь я старался. Чего только не выкомаривал! Женился со всякими кандибоберами, разводился...

– Женились?

– Шесть раз.

– Ше-есть?..

– Шесть. Всё для себя, и почему-то всё – мимо меня. Во как! Даже интересно...

В его стаканах не осталось чая.

– Можно твоего?

Отлил немного в свой стакан, выпил.

– А к тому, что было самым-самым, я не прикладывал руки. Оно само собою. Рассказать?

– Конечно! – ответила она почему-то шёпотом.

– Женщина погладила меня по голове. Мне было столько же, как тебе сейчас. А ей... Не знаю. Что-то около того, как мне сегодня. Я жил

у неё в комнате, отгороженный книжной этажеркой. И как-то она мимоходом тронула мою голову. А вышло, что погладила самую душу...

Не дождавшись продолжения, ещё тише, чем прежде, она спросила:

– И всё?

– И всё. А я напридумывал потом вокруг этого всякой пошлятины. Столько всего наврал – тошно вспомнить.

– А как это было? – произнесла она еле слышно и заметно волнуясь.

Он приблизил руку к её волосам, которые, рассорившись все со всеми, плавали по отдельности каждый в своём электричестве, и тихонько попробовал их пригладить, не коснувшись головы.

Она затихла с закрытыми глазами, а он некой подсказкой, толкнувшейся в нём, расслышал, что это прикосновение нельзя не оставить единственным – иначе оно не сохранится в ней наивысшей ценностью её жизни.

Потом она легла спиной к нему, каким-то чудом уместившись на полоске дивана, не занятой им, и руку, гладившую её, забрала в свои руки.

Он глядел куда-то сквозь верхнюю полку, повторяя про себя одну и ту же вдруг возникшую мысль. Хотя, скорее, с ним оставалась не мысль, а чувство, приведшее к ней. Он подумал, что в загадке того прикосновения, в этом ларчике, который так долго оставался для него тайной за семью печатями, не было – как нет и сейчас у этой малышки, прикорнувшей рядом, – не было ничего, кроме его, а теперь вот и её, сиротства.

Людмила БРАГИНА

Родилась в 1967 году в Белгороде. Окончила филологический факультет Белгородского государственного университета, работала в школе учителем. Создатель и бессменный руководитель (с 1997 г.) молодёжной литературной студии «Младость», работающей на базе Пушкинской библиотеки-музея.

Лауреат премии «Молодость Белгородчины» в области литературы (1995), лауреат Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле» (2012).

Член Союза писателей России. Живет в Белгороде.

О СЧАСТЬЕ

*Спроси у человека, что такое счастье, и ты узнаешь,
чего ему больше всего не хватает.*

Начало учебного года я встретила в лор-отделении городской больницы. Я почти не спала из-за отита – по ночам болели уши. Каждое утро начиналось для меня тоскливее, чем если бы мне надо было идти в школу.

В шесть включался свет, и в палату входила хмурая заспанная медсестра с градусниками в стакане. Потом в коридоре, пропитанном неистребимыми запахами хлорки и антибиотиков, у медицинского поста следовала раздача пузырьков с таблетками. Затем – унылая очередь в выстуженную ночным проветриванием и выжженную кварцеванием процедуру. После уколов и других медицинских экзекуций я снова ложилась в кровать, забираясь с головой под одеяло. Зажмурившись и стиснув зубы я ждала, когда пройдёт ещё неделя – вторая половина обещанного лечащим врачом срока до выписки.

Как только я согревалась и расслаблялась, сердце начинало биться спокойнее. На меня накатывала дрема. Веки тяжелели, и глаза закрывались сами собой. И тут, громыхая железной тележкой, на которой стояли большие эмалированные ведра с дребезжащими на них крышками, в коридоре появлялась пожилая санитарка. Зычным голосом она созывала обитателей отделения на приём пресной и убогой больничной пищи: «Уши-уши, идите кушать!»

Двух моих соседок по палате звали тётя Маша и тётя Клава. Им обоим было под шестьдесят, и судьбы их оказались во многом схожими: полуголодное детство в колхозе, чужие углы в городе, у обеих были мужья-алкоголики, только одна развелась, а у второй – умер. Их разговоры начинались и заканчивались подробным описанием всевозможных

хворей, а в промежутках они вспоминали свою жизнь, полную тягот, невзгод и обид, выпавших на их долю.

У впечатлительного 13-летнего подростка, каким я тогда была, эти две горемыки отбирали всякие силы не только выздоравливать, но и жить вообще. Как два страшных призрака будущего, они своим примером олицетворяли безжалостность и неумолимость судьбы, ведущей через долгие страдания к трагической развязке.

Я доставала из тумбочки любимую книжку и пыталась погрузиться в неё, чтобы не дать засосать себя серому и тягучему инобытию. Но стоило мне начать читать, как буквы расплывались, и боль, как раскалённым обручем сдавливала голову.

Поглядев на мои отчаянные попытки, сердобольная тётя Клава не выдержала:

– Брось-ка ты все эти книжки, детка. Нам сейчас голову напрягать нельзя. Побереги себя, ты ж такая молоденькая, ещё жизни не видела, а уже больная вся. Садись сюда, – она провела ладонью по заправленной кровати рядом с собой, – мы лучше с тобой вот что посмотрим.

Она выдвинула верхний ящик обшарпанной тумбочки, стоящей возле кровати, и достала пакет, в котором находилось что-то прямоугольное и увесистое, похожее на кирпич. Это оказался старый бордовый плюшевый фотоальбом с затёртыми углами.

Я обречённо присела на краешек её кровати.

– Детских фоток у меня нет, растерялись, да и не много их было, зато вот! Смотри, свадебные. Мы в 61-м поженились, когда Гагарин в космос полетел. Мой это событие неделю с друзьями праздновал, потом ко мне пришёл – глаза в кучу, уши враспырку, и говорит: «Я хоть не космонавт, но тоже Юрка, выходи за меня!» А я на радостях и выскочила.

– По любви? – наивно, но с надеждой спрашиваю я.

– По дурости! – жёстко приземляет тётя Клава.

На мутной чёрно-белой фотокарточке был запечатлён стол, плотно заставленный бутылками и тарелками с едой, мужчины в тёмных мешковатых костюмах и узких галстуках, женщины в цветастых платьях и высоких шиньонах и на заднем плане на стене ковер с оленями. Рядом с улыбающейся невестой, у которой завитые волосы торчат из-под коротенькой пышной фаты, сидит пожилая измождённая женщина в скромном платочке, напоминающая тётю Клаву. По другую сторону – захмелевший жених в белой нейлоновой рубашке с мокрыми тёмными пятнами под мышками. В одной руке сигарета и рюмка в другой.

Тётя Клава водит по фото кривым от артрита пальцем, показывает на женщину в платке: «Это моя мамка. Здесь ей сорок лет».

Я недоумённо поднимаю брови, и тетя Клава поясняет: «Она с двадцатого года, всё застала: и голод, и войну, да оно и после добра не было...» – и безраздно машет рукой.

Тут в разговор вступает подсевшая к нам тётя Маша:

– А ты думаешь какая она жисть в колхозе? Не жисть, а каторга, в трудах да нищете, вот так и изработалась-то к сорока годочкам...»

Пока я своим пионерским прямолинейным умишком пытаюсь соединить высокое и почётное понятие «труд» с нелогичным для него следствием – «нищета», тётя Клава перелистывает страницы и продолжает что-то говорить.

Альбомные фотографии расположены в хронологическом порядке – и вот уже начинают появляться цветные снимки. Так и не найдя

объяснений своим мировоззренческим нестыковкам, я возвращаюсь к просмотру.

На сером картонном развороте, в фигурные прорези вставлены три фотографии, и, взглядевшись, я чувствую, что внутри у меня всё сжимается и холодеет.

У открытого гроба, стоящего возле подъезда на двух табуретках, сидит плачущая тётя Клава в чёрном платке. Внизу прислонены венки с траурными лентами. Возле усопшего полукругом собралась небольшая группа людей с печальными и сосредоточенными лицами, а чуть поодаль стоят музыканты с духовыми инструментами и большим барабаном.

На второй, как будто фотограф сделал несколько шагов вперёд и перешагнул невидимую границу, крупным планом восковое лицо покойника с бумажным венчиком на лбу. По углам гроба в изголовье стоят зажженные свечи, воткнутые в куски хлеба. На белом кружевном покрывале алым веером брошены гвоздики, и на их фоне мертвец выглядит особенно одиноким и страшным.

Я пытаюсь отвернуться, но взгляд как примагниченный следует за очередной фотографией. На ней уже поминки. Люди в тёмных одеждах сидят за столом в свободных позах, разливают по стаканам и стопкам водку, разговаривают, и у некоторых даже на лицах весёлые улыбки.

Я не знаю, что больше меня шокировало: то, что свадебная тема так резко сменилась на похоронную, или сам непонятный ритуал фотографирования смерти, да ещё так близко и подробно, или быстрота смены настроения людей, изображавших скорбь.

– Тётя Клава, а зачем вы похороны фотографировали?!

– Да раньше как-то принято так было, на память, – не очень уверенно отвечает она, – даже у нас в деревне фотографа нанимали те, кто побогаче жили.

– Так ведь помнить человека надо живым, а не мертвым...

– А живым он мне всю душу вынул своими запоями да дебошами. Глазищи с утра водкой зальёт и начинает куролесить. Последние годы его трезвым и не видела.

– Я своему за то ж пенделя под зад и дала! – подхватывает тётя Маша. – Жаль того, что полжизни мне испоганил, всё об ём помирала, надеялась, что заживём как люди... Бабкам да вытрезвителям все деньги повытаскала. Всю жисть в одном платышке ситцевом штопанном проходила. Не приведи тебе бог нашего горя мыкать, ягодка моя, – жалостливо заканчивает она и заглядывает мне в лицо. – Твой-то папка не пьёт?

– Не знаю, когда я родилась, мама с ним разошлась.

Тут она заплотшно всплескивает руками и начинает причитать:

– Кла-ава! Да что ж ты его вместе с живыми-то повставляла? Разве не знаешь, что их нельзя смешивать?! Люди старые рассказывали, что не упокоится мертвецкая душа, пока не заберёт с собой...

– Я ему заберу! Может, хоть в космосе своём проспится.

– А что с этими фото делать надо, тётя Маш?

– В черный конверт и отдельно покласть, в дальний ящик или коробку с обуви. И выкидать нельзя...

Интересно, когда мужа отнесли и зарыли на кладбище, тётя Клава могла говорить, есть, пить, улыбаться? Или только тогда и смогла? Я смотрю в её выцветшие глаза, и мне хочется прямо в халатике выскочить на улицу и бежать без оглядки, сколько хватит сил от неё, от этих

долгих «задушевных» разговоров, от этого места, где всё пропитано стонами, вздохами, ночными криками во сне.

Столетнее краснокирпичное здание городской больницы стало ветшать и разрушаться не только от времени, но и от человеческого горя и страданий. Если о храмах принято говорить – намоленное место, то о нем точнее было бы сказать наболенное – наболевшее. А вот внутренний дворик здесь удивительно хороший – уютный и ухоженный. В нём много ещё по-летнему ярких цветов. На аллеях, под берёзами и клёнами, расставлены старые лавочки с плавными изогнутыми линиями. Но даже выйти погулять в больничный двор я не могла из-за дождливой и ветреной погоды, которая стояла уже неделю.

Чуть наискосок, через дорогу от больницы находился огромный машиностроительный завод. Наверное, не было в городе такой семьи, которая не имела бы к нему отношения. И моя мама тоже работала на этом заводе. Однажды она решила взять меня туда на экскурсию. Прошли мы через проломленную дыру в бетонном заборе. Про неё знали все: и охрана, и работники, которые пользовались этим кружным путём, в обход проходной, когда по утрам или с перерыва опаздывали на работу или когда требовалось беспрепятственно пронести спиртное.

Прошло много лет, но я до сих пор с содроганием вспоминаю задымлённый и грохочущий цех, с едва различимыми в полутьме станками устрашающих размеров, между которыми сновали силуэты в спецовках. Мне показалось, что я попала в ад. Мы стояли посреди этого надвигающегося лязгающего ужаса, и я, четырёхлетняя девочка, дрожала как осиновый лист. Изо всех сил сжимая тёплую мамину руку, я собиралась сказать, что защищу её от всех чудовищ на свете. Но мама опередила меня.

– Это цех, где я работаю, – гордо сказала она. – На этих станках вытачивают из металла всякие детали, – мама показала на кучу радужной металлической стружки на земле, – видишь, вот как мы с тобой картошку чистим, так и он из железной болванки срезает лишнее и появляется что-то нужное. А посмотри вверх – это мой кран!

Помнишь, я тебе стишок читала: «Краном висящим тяжести тащим. / Молот паровой гнет и рельсы травой». Вот вырастешь большая, придёшь и тоже будешь здесь работать.

Я с болью и недоумением смотрела на неё и про себя твердила: «Никогда! Никогда я не приду на этот кошмарный завод, и, если бы я только могла, никогда-никогда не отпустила бы тебя больше сюда. Чтоб он развалился на куски!» И видимо, настолько это детское желание было жгучим, искренним и всеобъемлющим, что спустя годы он действительно развалился, вместе со страной, строем и укладом жизни...

В полдень, как только раздавался протяжно ревуший заводской гудок, я хватала тёплую кофту, на ходу засовывая руки в рукава и застёгивая пуговицы, сбегала по старой лестнице на первый этаж в вестибюль. Становилась у окна и начинала представлять, что происходит сейчас через дорогу...

Переодевшись, мама выходила из цеха и спешила в заводскую столовую. Полный комплексный обед она не брала, а наспех съедала только первое или второе. Потом забежала в кулинарию, где покупала мне диетическую лепёшку, язычок из слоеного теста, пирожок с повидлом и торопилась ко мне в больницу. А через 15 минут ей снова нужно было возвращаться на завод.

Я начинала ждать её, как только утром открывала глаза, и каждый раз просила не приносить мне ничего, чтобы она не расплачивалась в кулинарии драгоценным временем наших коротких свиданий. Я вдохновенно врала, что нас кормят очень вкусно и питательно, но мама не могла себе позволить прийти в больницу с пустыми руками.

После быстрого обмена вопросами и ответами в больничном холле, я возвращалась в палату. На душе у меня теплело, и в тихий час я лежала с закрытыми глазами, прогреваясь воспоминаниями ещё звучащих интонаций, невесомых прикосновений её рук.

Я думала о том, что так было всегда, начиная с момента, как я себя помню. Мама уходила на работу в шесть утра, и я страшно боялась проспать этот момент, спозаранок вскакивала, чтобы увидеть тонкую полосочку света из-под двери на кухню, услышать тихий звук закипающего чайника и просто посидеть за столом рядом, пока она выпьет чашку чая и съест завтрак. Потом, чтобы не мешать ей собираться, я садилась на стул в углу, из которого видны все пути из комнаты на кухню и в коридор. И когда мама расчёсывалась и одевалась перед трюмо с тремя зеркалами, оно называлось трельяж, я восторженно смотрела на неё и её отражения, и это было для меня как вознаграждение за предстоящую разлуку на целый день.

Вечером снова всё повторялось, только наоборот. Она приходила поздно, а я ждала. Несколько раз за вечер бегала в ванную и умывалась там холодной водой, чтобы не хотелось спать.

После четырёх смена заканчивалась, мама выходила на остановку, которая назвалась так же, как и завод, ждала автобуса и ехала на вторую работу, чтобы собрать денег на кооперативную квартиру. Мама, выбиваясь из сил, хотела обеспечить моё будущее, а мне остро не хватало её внимания в настоящем.

Поздно вечером, когда мама освобождалась, больница была уже закрыта для посещений. Поэтому я начинала готовиться ко сну сразу после ужина. Тщательно чистила зубы, расчёсывалась, медленно и плавно проводя по волосам щёткой усыпляющими равномерными движениями. А чтобы не слышать бесконечных нудных разговоров своих соседок, отворачивалась к стенке и, заткнув уши ладонями, пела про себя колыбельные песни, пока не засыпала.

Однажды, откуда ни возьмись в приятное полузабытьё врывается громкий разухабистый мотив:

Бывали дни веселые –
Гулял я, молодец.

Я подскакиваю на кровати, не разобрав, где я, всё ещё надеясь, что это сон, но мои соседки тоже сидят на кроватях с выпученными глазами. И прямо у нас под дверью пьяный голос дико фальшивя выводит:

Не знал тоски-кручинушки,
Как вольный удалец.

– Мужики, што ли, напились и песни орут? Куда врачи смотрят, держат тут всякую алкашню... – возмущённо вопрошает тётя Маша и, чтобы удостовериться, набрасывает на ночнушку халат, выглядывает в коридор и отшатывается назад.

Дверь в ординаторскую нараспашку, из всех палат выглядывают непонимающие, удивлённые, перепуганные лица. По коридору, шатаюсь и шаря руками по стенам, бредут вдрызг пьяные все три доктора и старшая медсестра с букетом цветов. Солирует наш, остальные одобрительно смеются и подтягивают в разных местах...

На лестнице раздаётся характерный звук падающего тела и бьющегося стекла. И вслед за этим резкая спиртовая волна ударяет «ароматом» в носы пациентов отделения.

По мужским палатам дружно прокатывается протяжный и горестный стон.

Из разбитой трёхлитровки по ступенькам, захватывающим дух водопадом стекает медицинский спирт.

«Ах ты ж етить твою разьетить, опять порядок наводить!» – качая головой вполголоса бормочет санитарка.

Я проснулась такой уставшей после этого дикого ночного происшествия, что еле волочила ноги. Вытерпев все назначенные процедуры, подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. С того дня, как я попала сюда, впервые выдался светлый сентябрьский день. Я смотрела на мокрые растрепанные дождями и ветрами головки астр и георгинов, мечи гладиолусов, полёгшие на клумбах в неравном бою с наступающей осенью, и не могла ни на чём сосредоточиться, всё расплывалось и ускользало.

Соседки пошли погулять по коридору, разузнать и обсудить последние новости, а я присела возле окна и решила накрасить ногти...

И вдруг длинный солнечный луч пробился сквозь пелену белых облаков и упал мне на руку. Алый лак ярко вспыхнул, зарделся волшебным диковинным цветком, и всё внутри меня внезапно как будто просияло, проснулось и ожило, наполнилось силами и потребовало движения. Я на секунду прислушалась к себе и безошибочно поняла, что именно хочу сделать немедленно.

Я оделась и выскочила на улицу. Нырнув в подземный переход и вынырнув из него на другой стороне дороги, я вошла в тенистый скверик и остановилась под раскидистой кроной старого каштана сбоку от проходной. Аллея с чугунным памятником вождю пролетариата, ведущая к остановке, была пуста, на клумбе ещё пламенела сальвия, свежий воздух бодрил тело и очищал мысли.

Наконец громкий длинный гудок возвестил перерыв на обед. И сразу, как будто открылись шлюзы. Людская толпа, как вода под напором, хлынула вперёд, дробясь и разлетаясь на частицы.

В потоке лица сливались, я испугалась и пожалела, что стала слишком близко у проходной. Боялась, что пропущу и не увижу то единственное и родное, на которое столько лет не могу насмотреться.

Я напряжённо вглядывалась в это людское скопище, и вдруг перед выходом мелькнуло яркое голубое пятнышко. Моё сердце радостно подпрыгнуло в груди, и я беззвучно закричала: «Мама!» Сегодня она надела моё любимое голубое в тонкую белую клеточку платье, которое я уговорила её купить во втором классе.

С той самой памятной экскурсии я редко что просила купить для себя, потому что понимала, чем оплачиваются покупки, а если мне требовалось что-то действительно необходимое, оно появлялось и без напоминаний... Но, когда я увидела это платье, сначала на своей первой и любимой учительнице, а потом в магазине, в который пришли вдвоём с мамой, я бесповоротно решила, что без него мы отсюда не уйдём.

Я вцепилась в неё как клещ и умоляла «только померить, и всё». Мама смутилась и, не разгадав моей военной хитрости, согласилась. Платье так ладно село на её стройную хрупкую фигурку, так было ей к лицу, делая его моложе, глаза ярче, улыбку светлее! И это ещё больше укрепило меня, и я сделала следующий шаг.

«Тут такой свет плохой, давай выйдем в зал к большому зеркалу...» И здесь не почуяв подвоха, она доверчиво вышла из примерочной. Я обняла её возле зеркала и громко, со слезами в голосе, завела на весь магазин: «Мамочка, купи его! Пожалуйста!! Я тебя очень прошу!!!» Какая-то женщина неодобрительно посмотрела на меня и сделала замечание: «Такая взрослая девочка и такая несдержанная, капризная, выпрашивает себе платье! Нельзя быть такой эгоисткой!»

Я про себя обрадовалась поддержке и ещё жалобнее продолжила.

Бедная моя мама! Но мне всё равно не стыдно за этот поступок. Это платье не один год согревает, украшает её, а сегодня ещё подало мне особый знак...

Пока я вспоминала историю его появления, мама уже поравнялась со мной, и я совсем близко видела её нежный висок, слегка тронутую загаром щёку, худенькую шею и узкие плечи. Она стремительно шла вперед, и по её светлому лицу было понятно, что она сейчас не здесь, а уже подходит к больнице...

А я всё стояла, смотрела и не могла ни сдвинуться с места, ни окликнуть её. У меня перехватило дыхание, из глаз текли слёзы, и я быстро-быстро моргала, чтобы они не заслоняли лучшую в мире картину, которую я запечатлела в своем сердце.

ОКОШКО

Вася проснулся, но решил пока глаза не открывать. Он стал слушать, как на кухне поёт веселую песенку чайник и ему в ответ позвякивают чашки и блюдца, а за окном бодро чирикают воробьи и посвистывают синички. Вася представил, что у них на шее висят малюсенькие колокольчики, и, когда синички прыгают, они тоненько и нежно звенят. И тут отворилась дверь, и в комнату вошла мама. Он сразу её узнал по тихим мягким шагам в пушистых серых тапочках, похожих на двух озорных котят, потом по тёплому родному запаху; она наклонилась к Васе и поцеловала его в щёку:

– Доброе утро, сыночек! Сегодня особенный день – день твоего рождения! К тебе придут все твои друзья, я испекла вкусный пирог, будет весёлый праздник. А это тебе подарок.

Вася открыл глаза, сел на кровати и засмеялся от радости. Это была яркая расписная картонная трубочка, внутри которой что-то тихонько позвякивало. Вася увидел с одной стороны маленькое круглое окошечко. Ему стало интересно, он осторожно заглянул в него. Темно. «Сынок, это называется калейдоскоп, поверни его к свету, и ты увидишь...» – мама не успела договорить, как Вася спрыгнул, босиком подбежал к окну, поднял калейдоскоп повыше и поднёс к глазам...

Внутри что-то дзынькнуло и сложился чудесный узор. Как будто это были нежные розовые цветы, их головки раскачивались от ветра, а вокруг дрожали тонкие стёклышки, похожие на крылышки стрекозы, за ними лился тёплый свет, и ещё что-то голубело...

Ой! Рука прикоснулась к чему-то прохладному и мокрому! Да это же речка! – догадался Вася. Он быстренько снял костюмчик и вошёл в воду. Речка ласково за журчала, окутала и обняла Васю. Вода была мягкой и свежей, вся в светлых солнечных пятнышках. Маленькие серебристые рыбки резвились вокруг и совсем не боялись его. Вася лёг на воду, и она мягко поддержала его, он плавно развел по воде руками и поплыл. «Я самая большая рыбка!» – гордо сказал Вася, все рыбки согласились, и они долго играли вместе, ныряли, выпрыгивали из воды, догоняли друг друга...

Потом Вася вышел на берег, тёплое солнышко обсушило и согрело его, и он заснул среди волшебных ярких цветов, имен которых он не успел спросить, и они тихо напевали ему свои самые душистые мелодии.

На порог дома вышла мама и позвала его. Он радостно побежал ей навстречу. Потом оттолкнулся от земли и плавно полетел. «Вот как хорошо», – радостно подумал Вася, ещё раз легонько оттолкнулся от земли и почувствовал себя совсем невесомым, поднялся повыше и легко поплыл по воздуху... Прямо в мамины объятия. Потом они пошли пить чай. На кухне уютно горел свет, терлась о ноги кошка Монька, усы у неё были в молоке, пахло свежее испеченными пирожками. «С яблока-

ми! Мои любимые, – угадал Вася, поднес пирожок ко рту и вспомнил о замечательном подарке. – Ещё разочек посмотрю!» – соскочил с табуретки, побежал в комнату, взял калейдоскоп, встряхнул его.

...Узор теперь был ярким и четким: зелёные, красные и синие ромбы и треугольники сложились в многочисленные плоскости, это был целый город с башнями и фонарями, мостами и площадями. Все это неуловимо изменялось, мерцало и пульсировало. Вася всмотрелся пристальнее. И увидел поток машин, который мчался, сверкал разноцветными огнями фар, ощутил запах бензина и множество других самых разных запахов, среди которых самым приятным был запах приближающегося дождя. «Скорей бы уж дождь пошел, а то дышать совсем нечем», – подумал Вася, достал из кармана пиджака платок, вытер пот со лба. – Не буду в автобус садиться пойду пешком, – решил он вдруг, – как раз обдумаю завтрашнее выступление на совещании». Когда остановка осталась далеко позади, а до дома тоже было ещё далеко – хлынул дождь. Он ускорил шаг, но все равно почти сразу же промок до нитки, а его ботинки разбухли от воды и стали тяжелыми. «А ещё Джека нужно гулять», – со вздохом вспомнил Вася.

Джек – большой и лохматый, уже терпеливо сидел в прихожей. Поводок и ошейник лежали рядом на полу как укор. «Одному гулять нехорошо», – читалось в преданных карих глазах пса. Вася быстренько переоделся в сухую одежду, взял зонт, и они с Джеком отправились на прогулку...

– Чай совсем остыл, о чем ты думаешь? – внезапно донесся до Васи чей-то встревоженный голос. Он повернулся и увидел незнакомую женщину, которая внимательно смотрела на него. Вася быстро посмотрел по сторонам: ну да, он дома, на кухне, сидит на своей старенькой скрипучей табуретке... А женщина?... Вася отогнал странные мысли и смущенно улыбнулся. Конечно же, это Рита, его жена, любимая и добрая, которую он встретил ещё в институте, самая весёлая и красивая девушка на свете. И что ему такое показало?

– Да устал немножко, пойду отдыхать.

Он вошел в комнату, включил свет. «Маленькая совсем комнатка, – подумалось ему в очередной раз, – ну ничего, скоро переедем. На новоселье пригласим, – он начал вспоминать коллег по работе, друзей и знакомых, надо никого не забыть, а то вот наши соседи говорили, что уже и подарок купили, хорошие люди, жаль будет расставаться. Вещей перевозить немного...» Он бережно погладил фотографию мамы, которая стояла на книжной полке. Вздыхнул и увидел стоящий рядом калейдоскоп, взял его и осторожно встряхнул...

Тихий, еле различимый шорох осенней листвы... Такой умиротворяющий, что Вася незаметно задремал и увидел себя со стороны, сидящим на лавочке, в соломенной шляпе, под почти прозрачным деревом. А над ним жемчужно-серое, почти белое небо. Желтый кленовый лист плавно кружился над его головой и опустился рядом на нагретую солнцем лавочку. Вася чувствовал покой и безмятежность, ему не хотелось никуда идти, ни о чём говорить... Только одна неясная мысль, никак не уходила и немного тревожила его: «жизнь прошла, как три раза в окошко посмотрел».

Кленовый лист прямо на глазах побурел и свернулся в лёгкую тончайшую коричневатую трубочку, из которой лился чистый и яркий свет. Вася протянул руку...

Павел ЛАКАЕВ

Родился в 1997 году в Самаре. Окончил философское отделение Московского городского педагогического университета. Имеет ряд опубликованных статей, связанных с экзистенциальными проблемами в философии и литературе. Работал курьером, смотрителем в Музее Москвы, настоящее время – лаборант на кафедре философии и социальных наук МГПУ. Живет в Москве.

ПЕРЛ-ХАРБОР

...И детства милые виденья.
А.С. Пушкин

Леониду было тогда семь лет. Его отец уехал работать на все лето в другой город. Разъехались и одноклассники. Мир немножко с наступлением лета изменился, и только мама, сестра и он продолжали вести свое прежнее самарское существование. Мама брала в те дни по две смены и приходила с работы к полуночи, и он, уложив сестру спать, уходил во вторую и последнюю комнату квартиры смотреть фильмы по телеканалу «СТС», обыкновенно начинающиеся в десять вечера и заканчивающиеся за несколько минут до прихода мамы.

Эти минуты, невыносимо длинные и невероятно пугающие, впитавшие в себя всю пустоту его души и все одиночество тех лет, резко прерывались, как только он слышал мягкий звук поворота ключа в двери и такой нужный щелчок выключателя света. Они не виделись целый день.

– Мама, мама пришла! – радостно кричал он еще из комнаты, и неся к ней со всех ног обниматься и целоваться, забывая обо всем на свете. Мир оживал, появлялись привычные звуки, родные голоса, и все, казалось, возвращалось на свои места.

– Сынок, ты чего не спишь? – неизменно повторяла она, но Леонид уже был поглощен пакетом, который принесла мама, и в котором всякий раз он отыскивал для себя сладости. Сонная пятилетняя сестра, потирая глаза, медленно, словно маленький медвежонок, немного покачиваясь, выходила к ним.

И уже на кухне, когда за чаем мама рассказывала о своей работе и о том, что она видела, Леонид постепенно погружался в сладкий сон, и совершенно не замечал, как она осторожно берет его на руки и как укладывает в постель. А утром он просыпался снова один и шел на

футбольную площадку, ожидая наступления вечера, темноты и фильмов, которые предвосхищали появление мамы.

В тот вечер Леонид смотрел фильм «Перл-Харбор». И впоследствии часто, в напряженные минуты жизни, когда кажется, что все вокруг устало и обессилило, вспоминая этот фильм, он тотчас достигал состояния свежести и искренности, благодаря которому он вновь, как и тогда, встречался с чудесным.

Леонид не знал еще ничего об актерском мастерстве, о построении сюжета, ни о том, что такое конфликт, завязка, развязка, саспенс, и даже о переводах и переводчиках, и обо всем, что так сильно ему сейчас мешает при просмотре кинолент.

И о том, что это другая страна, другая культура, и у них свои ценности, он тоже ничего не знал. И эти фильмы, которые он смотрел в комнате, залитой вечерним светом, наполненной тишиной, он им всем до конца верил.

Как только начался фильм, и как только Рейв и Дени, два лучших друга, взлетели на красном, похожем на наш А-2, кукурузнике в небо, все в нем возвысилось и запело, и потекли слезы, и он припал к телевизору, и ему так хотелось оказаться там, с ними, быть их другом, помогать во всем, подставлять плечо.

И все, что происходило дальше, приковало его внимание, словно он, и правда, оказался там, и сражался вместе с ними. И проявление мужества, и отваги, и эти случайные, ничем не объяснимые потери, и масштабные события, круговорот вещей, лик истории, и главное, любовь, которая спасала и давала надежду, ничего не проходило мимо детской памяти.

И ему так хотелось впитать в себя весь этот фильм, запомнить каждую секунду, не пропустить ни единого кадра, что он боялся моргнуть. И ему было ужасно, невозможно грустно, и он лишь успевал смахивать с себя проступающие слезы, если вдруг замечал несправедливость или понимал, что произойдет вскоре, в фильме, что-то непоправимое.

Вся его вселенная тогда состояла из дома, школы, футбольной площадки рядом с домом, где-то далеко находилась Волга и немного ближе — торговый центр, куда они иногда ходили с родителями. О появлении интернета в этой вселенной он мог лишь смутно догадываться. Когда пришла мама, он все еще был углублен в просмотр «Перл-Харбора». Уже вернулся из плена Рейв, смелости которого он мечтал подражать. Уже было ясно, что у Эвелин от Дени ребенок, что японцам мало не покажется.

Ох, Эвелин... Он влюбился в Эвелин, в ее доброту, в ее голос, мгновенно, как только увидел ее. И его сердце, его боль, не раз готовы были вырваться, если он замечал печаль в этом ее голосе, и, прорвав пространство фильма, о чем-то, что его так мучило, закричать. И вот на том моменте, когда Рейва и Дени отправили на совместное задание, когда они уже парили в воздухе, пришла мама. А он не обратил никакого внимания. Точнее, он все еще находился в фильме.

Леонид часто думал впоследствии, что человек испытывает сильную потребность в чувстве, в явлении или в предмете пропорционально тому, как это чувство, явление или предмет от него отдаляются. И уж тем значительнонее понимается необходимость того или иного, как только то или иное у тебя забирают. Вот так примерно осознавал себя он, ощущая, что за его спиной стоит мама, присутствие которой он старался не замечать, уже просто делая вид, что смотрит фильм,

хотя фильма того, уже не существовало, а остались только блеклые кадры на квадратном экране, и то гадкое понимание, что придется оправдываться, что придется ссориться с дорогим и близким человеком.

– Сынок, пошли спать. Мама очень устала. Был трудный день, пришлось еще задержаться, – сказала она и ласково провела рукой по его кудрям. Затем посмотрела на него по-доброму, печальным и измученным тяжелым трудом взглядом. Она уже хотела, как и всегда, взять его на руки, но он стал брыкаться и сопротивляться.

– Нет, мама, давай досмотрим этот фильм, пожалуйста, – пищал он, чувствуя, как нагревается ком в горле, как в носу все стало мокро и как к груди подступает, едва вздрагивая, огненная жидкость.

Леонид стал судорожно пересказывать маме все свои впечатления от фильма, и ему так хотелось, чтобы она поняла, что, как ему казалось, понял он. Огненный ком катался по всему телу, застряв в голове. Уставшая и нежная мама глядела на него с молчаливым испугом. Она не могла найти нужных слов. У нее просто не было сил, и она страшно хотела спать.

– Мама, ну пожалуйста, – вопил он, – давай посмотрим!

И вдруг Леонид увидел себя со стороны. Он увидел сцену, в которой жалкий и ничтожный мальчишка, думающий только о себе, забыл о главном, о том, что в течение этого бесконечного жаркого лета он ждал только одного – обнять маму, как только она вернется с работы. Этот мальчишка весь день копил в себе заряд тепла долгого дня, чтобы отдать его маме с объятием.

И тут Леонид заплакал снова, но уже совершенно другими, дикими и колючими слезами, за которыми нельзя ни разобрать слов, ни понять чувств, что испытывает плачущий. Мама начала его жалеть. Она говорила, что они досмотрят фильм, пыталась с ним играть. А он все никак не мог принять того, что вел себя как идиот, как вредина, как человек, забывший о любви. Леонид качал головой и целовал мокрыми губами мамины щеки, и много просил прощения.

Леонид не помнил, чем все закончилось, но фильм он досмотрел спустя 13 лет. Это произошло случайно. И самое милое, что как только он вновь увидел движения и полет кукурузника, как только он вновь обрел для себя доброту Эвелин, как только он наконец-то снова заговорил с Рейвом и Дени, многое из того, что колебалось в его душе на протяжении целого десятилетия, что скрывалось за туманной стеклянной поверхностью изменчивых чувств, вдруг вырвалось буйным и чистым приливом необыкновенного и бессмысленного наслаждения.

Юлия РЯДИНСКАЯ

Родилась в 1983 году в Белгороде. Профессия – веб-редактор. Автор книги прозы для детей «Ариадна и Плутон», стихов в сборнике Союза писателей России «Легкокрылая фея Любовь». Шорт-лист конкурса «Хрустальный родник-2019». Лауреат конкурса-семинара «Новые имена Белгородчины-2019». Живет в Белгороде.

КОРОБКА

Зайку бросила хозяйка...

А. Барто

Коробка стояла на старом деревянном стуле с фигурной спинкой, обитой протершейся красной материей. Ножки стула тонули в мягкой подстилке из мха, покрывающего широкие плиты, которыми была вымощена дорожка вдоль домов.

Это была не окраина, даже наоборот, почти что самый центр города. Но автобусы сюда не ходили, торговых центров и офисных зданий поблизости не было, даже обширный парк неподалеку был расположен так неудачно, что гуляющих всегда было мало.

Улица находилась сразу за парком. Дома на ней выглядели бы заброшенными, если бы не ухоженные клумбы и велосипеды перед калитками.

Туристы, оказавшиеся в этой части города, удивлялись тишине и какой-то особой мягкой атмосфере, словно в старом-престаром саду, где каждая травинка подставила лицо полуденному солнцу да так и замерла, пронизанная светом, будто яблочная долька в варенье.

Стул стоял, прислонившись к железным воротам, рядом с красно-коричневой калиткой. По воротам карабкались светло-зеленые стебли, усыпанные мелкими белыми цветами. А на стуле стояла коробка. Большая, крепкая картонная коробка, размером примерно тридцать на пятьдесят.

Рита помедлила и подошла поближе. Марк говорил ей, что она может подходить совершенно спокойно. Ни разу еще никто не вышел из этих ворот, чтобы отогнать любопытствующего или даже просто постоять, позевывая, прислонившись к косяку и сонно глядя вдоль улицы.

Несмотря на слова Марка, Рита побаивалась вот так подойти и сунуть нос в коробку. С другой стороны, ценника нет, а ведь никто просто так не выставляет нужные вещи за порог.

Рита подошла к стулу и заглянула в коробку. Марк говорил, что рассматривать и думать не надо: бери, за что взгляд уцепился, и иди восвояси.

Из «своей» у Риты была разве что съемная однушка на самой окраинной окраине, где древняя хозяйская мебель дышала на ладан и медленно разваливалась, где стекла были заклеены противной противосолнечной пленкой, которая давала приглушенный, словно бы пыльный свет, где потолок в квадратном метре прихожей был опущен низко-низко из-за прячущегося там вещехранилища, где... А, ладно, все равно ведь деваться некуда.

Вопреки словам Марка Рита не стала хватать первое, что подвернулось под руку, а замерла возле коробки, разглядывая ее содержимое. Предметов было много, они лежали бесформенной грудой, выглядывая один из-под другого, словно хотели хоть одним глазком взглянуть на свет божий.

Старомодный ёлочный шар, мятно-зеленый, с потертостями и кружевным пластмассовым вырезом на боку, через который было видно зеркальную внутреннюю поверхность. На металлической дужке-распалке обрывок серой от времени веревочки.

Тряпичная кукла Тильда, слегка засаленная, но красивая. Глазки-пуговицы, соломенно-желтые нитяные волосы, собранные в два хвоста, ситцевое голубое платье в цветочек. К мягкой руке пришито маленькое атласное сердечко.

Желтый резиновый мячик с шипами, похожий на солнце с частыми протуберанцами, ну или макет противолодочной мины, если бы их красили в такие яркие цвета.

Книга сказок в мягкой обложке. То, что это сказки, Рита поняла по картинке — девочка и мальчик идут по лесной тропинке, взявшись за руки, а через просвет впереди виднеется пряничный домик. Название было написано на иностранном языке, что-то вроде немецкого или там шведского, Рита не разбиралась в языках.

Хрустальный подсвечник, весь в разноцветном свечном парафине, довольно грязный и кое-где поцарапанный. В чашечке виднелась игла для закрепления свечки, но огарка внутри не было.

Связка ключей, пять или шесть штук. Рита могла бы поклясться, что эти ключи копились в плохо выдвигающемся ящике буфета несколько десятков лет, прежде чем их зачем-то нанизали на одно кольцо. В том же ящике валялись хлебные крошки, сосательные конфеты с прилипшими фантиками, засаленные бумажки с рецептами соленых огурцов, пробки от винных бутылок и прочий хлам.

В коробке были выцветшие почтовые открытки с черно-белыми изображениями памятников, моток толстых вязальных ниток ядовито-розового цвета, запыленная деревянная шкатулочка с резной крышечкой, синий свисток на красном длинном шнурке, тронутые ржавчиной портновские ножницы с облупившейся болотной краской на ручках, пузатый бледно-лиловый флакон из-под духов с золотистой крышечкой. И еще какая-то мелочевка на дне: заколки, монеты, спичечные коробки, бусины.

Копаться в коробке Рита не решилась. Почему-то это выглядело невежливым. Лишь аккуратно поворошила верхний слой в попытке разглядеть, что залегает ниже. Ее пальцы наткнулись на что-то мягкое. Она ухватила это двумя пальцами, потянула и извлекла на свет божий старое, как бабушкино пальто, махрового зайца грязно-беже-

вого колера. На шее у него мотался наполовину оторвавшийся красный бант.

Заяц смотрел на Риту черными глазами-бусинами, и в глазах этих читалось отчаяние.

Рита больше не раздумывала. Она сунула игрушку в просторный карман кофты и решительно пошла прочь.

Дома она внимательно рассмотрела игрушку со всех сторон и первым делом окончательно оторвала бант. Потрепанная лента отправилась в мусорку, а заяц был подвергнут банно-прачечным процедурам, из которых вышел еще более жалким, чем до этого. Рита отжала его, чтобы не капало, и повесила за уши на балконную леску.

Сохнуть ему предстояло долго, и Рита занялась повседневными делами. Охота на зайца ненадолго разбавила рутину, но Рита знала, что рутина необходима. Правда, она давно уже не задумывалась, для кого она возит по полу раструбом пылесоса, чистит морковку и наглаживает блузку. Но это был самый доступный способ не сойти с ума.

Мыть, гладить, готовить да разговаривать с Марком, пронзительно и навсегда глядящим на нее с фотографии на тумбочке.

«Ну вот – заяц. Почему, почему, потому! Он же там совсем один был, понимаешь? Глупости какие! Он же провалился там кто его знает сколько лет. Пыль, мусор, паутина. И ему неприятно, и мне. А что бантик? Кому охота в обносках ходить? Я ему новый сделаю. Ну, уж прямо все дело в бантике!»

Заяц высох к утру. Рита вооружилась иголкой и быстро заштопала небольшие прорехи по шву на боку и лапе. Взяла расческу и распушила всю шерстку от макушки до хвоста, а потом достала из ящика зеленую ленточку и ловко повязала вокруг заячьей шеи.

Заяц устроился на микроволновке и внимательно смотрел, как Рита варит себе овсяную кашу, легко двигаясь между стульями на маленькой, загроможденной мебелью кухне. Рита мельком взглядывала на него, и ей казалось, что из черных заячьих глаз постепенно уходит тоска и безнадежность.

«Смотри, ну лучше же стало! Не знаю, может, он и так бы не смог. Может, для него это слишком сложно. А может, этого вообще никто не может. Нет, я верю. У тебя же когда-то получилось. Но он же заяц, разве он сможет?»

С зайцем Рита не разговаривала, но стала переносить его за собой из комнаты в кухню и обратно. Каждый раз, проходя мимо, слегка дотрагивалась то до мягкого уха, то до лапки, глядя его в мимолетной ласке или поправляя что-то заметное ей одной.

Когда Рита ходила гулять в парк, она брала зайца с собой, сажала его в накладной карман кофты, из которого он выглядывал наружу. А потом, расположившись возле прудов, устраивала его рядом на скамейке, чтобы и он мог наслаждаться июльским солнцем и бликами на воде.

Окна ее квартиры выходили на южную сторону, поэтому на подоконнике выживали только неприхотливые кактусы. Пленка на окнах помогала мало. Поэтому с карниза в спальне свисали плотные тяжелые шторы, кажется, они назывались блэкаут. Марк просыпался поздно и очень не любил, чтобы яркие лучи будили его раньше времени.

Рита порой была с ним согласна, а порой ей казалось, что она бы с удовольствием просыпалась под аккомпанемент радостной солнечной симфонии, заливающей всю комнату до самого укромного уголка. Правда, она слишком любила смотреть по утрам на спящего Марка:

на светлые губы, на четкий рисунок верхней приподнятой губы, на подрагивающие темные ресницы, на то, как вздымались и опадали ключицы, а вместе с ними маленькая родинка у ямки.

Теперь она спала одна, но шторы по-прежнему плотно закрывали окно. Так утром было не видно, что в постели кроме нее никого нет.

Зайцу шторы, казалось, не нравились. Рита поняла это не сразу. Но, когда она заметила, что заяц веселее выглядит в солнечной кухне и словно бы каменеет лицом в вечном сумраке спальни, девушка стала приоткрывать шторы. Не сильно, сантиметров на тридцать, так, чтобы лучи падали на сидящего на комодике зайца.

«Понимаешь, ему плохо без света. Он же заяц, а не крот. Да я не оправдываюсь, что ты. Просто, а вдруг ты против».

Заяц совсем прижился. За месяц он даже как-то потолстел, словно бы отъелся после голодного времени. Рита, впрочем, не возражала. Заяц выглядел довольным, временами почти веселым.

Без его пристального взгляда Рита чувствовала себя одиноко и продолжала переносить его за собой.

Однажды, в очередной раз сажая его на микроволновку, она зацепила по дороге кружку. Кружка упала и разбилась. Рита замерла. Потом медленно присела и стала рассматривать осколки. Кружка раскололась на десяток неравных частей, и склеить ее, конечно, не было никакой возможности.

Очень медленно, словно бы преодолевая сопротивление, Рита собрала куски керамики и долго стояла возле мусорного ведра, не решаясь выкинуть.

«Он не нарочно. Я не нарочно. Я не хотела. Как же ты теперь без нее? Прости, прости, прости...»

Рита тяжело прислонилась к стене. Сейчас, вот сейчас она, наконец, заплачет. Пожалуйста, ей очень надо! Надо заплакать!

Слезы ворочались в горле тяжелым комом, но наружу не проступало ни слезинки. Грудь саднило, разрывало.

Рита подняла глаза на зайца. В его черных бусинах светились отраженным светом люстры соучастие и такое глубокое понимание, что Рита, наконец, заплакала. Сначала тихо, выдавливая слезы по одной, а потом бурно, надрывно, захлебываясь и подывая. Она упала на колени рядом с мусорным ведром, смотрела на осколки кружки, расплывающиеся сквозь слезы, и закрывала руками рот, из которого рвался наружу низкий протяжный вой.

Когда истерика схлынула, Рита еще долго сидела на полу, прислонившись спиной к неудобному кухонному шкафчику. В голове было пусто, только слышно было, как стучит в висках собственное сердце.

Она поднялась, умылась, прихватила зайца и отправилась спать, усадив его на тумбочку рядом с кроватью.

Утром ее разбудило солнце, воровато прокрававшееся через преступно раздвинутые шторы. Рита приоткрыла глаза, снова зажмурилась и потянулась. Еще минуту она лежала в блаженной полудреме, потом вскочила, подбежала к окну и отдернула шторы до конца!

«Смотри, упрямый ты осел, как хорошо стало!»

Заяц одобительно ухмылялся.

Когда Рита жевала бутерброд, запивая его крепким горячим кофе, раздавался звонок телефона. Рита замерла. Она уже и забыла, когда ей звонили в последний раз. Поначалу звонков было много, потом она перестала брать трубку, а потом стала надолго отключаться. Звонков

стало меньше, а потом они прекратились. Теперь можно было часами складывать паззлы на телефоне, не боясь, что кто-то позвонит.

Рита осторожно взглянула на дисплей. Галка? Сто лет не слышались и на тебе. Что ей нужно? Рита вопросительно посмотрела на зайца. Тот кивнул.

– Привет, Ритусь, – затрещала трубка. – Ты там как вообще? Я все знаю, извини, что раньше не звонила. Слушай, тебе случайно работа не нужна? Тут мой бывший босс ищет человека. Платят нормально. Ну да, тебе ездить далековато, конечно. Хочешь, я тебе конурку рядом подыщу? Да и что ты там забыла в своей халупе? Только думай быстрее, я тебе первой позвонила. Давай завтра пересечемся и поговорим. Ну все, целую.

Рита выключила телефон и огляделась по сторонам. В ведре все еще лежали осколки вчерашней кружки.

«Вынесу я мусор. Я ж всегда и выношу, тебя не допросишься. Между прочим, мне работу предложили, не царское это дело – ведро выносить. Так что цени!»

Рита встала, завязала мусорный пакет, вынула его из ведра и поставила рядом с дверью. Потом достала из кухонного ящика рулон больших черных пакетов, оторвала один, вздохнула и начала с балкона.

Через неделю весь хлам перекочевал на мусорку. Часть вещей были аккуратно сложены и выставлены на лавочку перед подъездом – заберет тот, кому надо. Остальной минимум Рита упаковала в картонные коробки, которые высились в коридоре и возле двери комнаты.

Девушка еще раз перебрала содержимое коричневого пакета, который лежал отдельно: серебристый портсигар, перочинный нож, маленькая ониксовая статуэтка лисы, короткий и толстый трехцветный карандаш, старый карманный фонарик цвета морской волны.

Нужно было уточнить, когда приедет машина, но вместо того, чтобы позвонить, Рита посадила зайца в карман и отправилась в парк. В этот раз она остановилась возле маленькой детской площадке неподалеку от прудов. В песочнице копалась деловитая малышня. На соседней скамейке их матери вполголоса обсуждали что-то, то и дело бросая взгляды в песочницу.

Заяц сидел рядом с Ритой и принимал солнечные ванны, когда из песочницы выбралась сосредоточенная девочка лет трех и подошла к их скамейке.

Рита помахала заячьей лапой.

– Пивет, зайчик! Хочешь кусать? У меня пиллозок!

Девочка протянула косому горстку песка на листке подорожника. Потом стала брать песок щепотку за щепоткой и совать под нос зверю.

– Аафм! Умница моя!

Рита слушала детский лепет и чувствовала себя песочными часами, которым наконец-то позволено навсегда избавиться от ненавистного песка. Сколько раз ее переворачивали, и песок вновь и вновь начинал свое движение. Движение, которое происходит без всякого смысла, без намека на результат, просто потому, что кто-то этого хочет. И вот теперь в колбе появилась малюсенькая дырочка, в которую песок утекает. Чтобы оставить ее пустой и свободной.

Одна из мамочек на соседней скамейке оторвалась от разговора и повернулась в их сторону.

– Ритулечка, не мешай тете, иди в песочницу.

Малышка запротестовала:

– Я зайчика поколмлю!

Женщина встала и подошла с намерением увести ребенка.

– Это тетин зайчик. Пойдем.

Девочка словно ждала этого. Она схватила зайца и прижала его к груди.

– Я йюблю зайчика!

– Его нужно отдать, – увещевала мать.

Рита поднялась со скамейки.

– Не надо его забирать. Я уже выросла из игрушек.

Рита улыбнулась, но не девочке, а зайцу, чья шубка мягко светилась в тон светлым кудряшкам девчонки. В его глазах играло солнце.

– Бери зайчика и корми его хорошенько.

Она повернулась и пошла по аллее, не слушая радостных воплей малявки и растерянного лепета матери.

Больше всего оказалось коробок с книгами и одеждой. Их Рита отнесла в комнату. Хотя в какую комнату? Квартирка, хоть современная и просторная, была студией, поэтому сортировка ящиков производилась весьма условно.

Но это все потом, а сейчас надо было закончить одно дело. Рита вытерла пот со лба, наскоро собрала волосы в хвост и накинула кофту.

В прихожей она зашнуровала кроссовки, прихватила ожидающий ее коричневый пакет и вышла из дома.

«Ты уверен? Я могу отвезти их твоим. Вечно ты свои вещи раздаешь направо и налево. Ну ладно, ладно, как скажешь. Я же не спорю».

Улица встретила ее безмолвием. Даже листва не шевелилась. Беспощадное солнце заливало улицу от начала и до конца, хотя жара уже перестала быть утомительной и в воздухе чувствовались первые горькие сентябрьские ноты.

Коробка стояла на том же месте. Рита подошла и высыпала в нее содержимое пакета. Подумала немного, запустила в коробку обе руки и перемешала принесенные вещи с теми, что лежали внутри.

А потом она пошла прочь. Туда, где за поворотом сотнями голосов шумел огромный город, туда, где лаяли собаки, смеялись дети и, наливалось влагой высокое пока еще небо, готовое, наконец, пролиться дождем.

Валерий МАККАВЕЙ

Родился в 1980 году в Горьком. Окончил Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, квалификация юрист. Работает преподавателем юридических дисциплин.

Живет в Нижнем Новгороде.

ФИЛОСОФИЯ СПИЧЕЧНЫХ КОРОБКОВ

– В армию я не пойду, – твёрдо сказал Олег и разорвал повестку. Ключки дешёвой бумаги воздушным десантом опустились на дно мусорной корзины. Мы сидели во дворе на лавочке и курили.

– Не хочу оставлять мать одну. Ей сейчас и так тяжело. Фабрика стоит, зарплату почти не платят. Да и сам не хочу терять два года. За это время я разбогатею, – продолжил он, выпуская струю горьковатого дыма в безоблачное небо.

– А я, пожалуй, схожу, – сказал я. – Отец говорит, что это пригодится, если я решу стать фээсбэшником.

– Фээсбэшником, блин! – Олег запрокинул голову и захохотал. Пепел его сигареты мелкой пылью осел на спортивных штанах.

Я прищурил глаза и глянул на солнце. Солнечные лучи, запутавшись в ресницах, больно хлестали меня по зрачкам. Я зажмурился.

– Ну ты даёшь! – продолжая смеяться, на выдохе сказал Олег.

Солнечные пятна транслировались на экране опущенных век. Легкая улыбка скользила по моим губам.

– А чё? Прикольно, – сказал я, открывая глаза. Моя сигарета почти истлела, и я от окурка прикурил ещё одну. – Буду агентом ноль-ноль-хрен.

– Точно! Ты такой при параде и в бабочке рассекаешь на крутой тачке по району.

– Да! А из окон торчат голые ноги цыпочек. И я, короче, отслеживаю Дубового, как будто он проданся америкасам и его нужно замочить.

– Да! А он нарядился бабулей и прикинулся мёртвым.

– Точно!

Мы, улыбаясь, смотрели друг на друга. Дубовой был нашим товарищем, но мы не слышали о нём уже неделю. Он исчез сразу после выпускного. Наверное, родители отправили его в деревню, чтобы он готовился к поступлению в вуз.

Я глубоко затянулся и, словно дракон, выпустил дым через ноздри.

– Если выдыхать табачный дым через ноздри, то там начнут расти волосы и будут торчать из носа как пучки пересохшей соломы, – заметил Олег.

– Ага. А если себя ублажать, то будут волосатые ладони!

Мы засмеялись.

– У тебя мать во сколько с работы приходит? – спросил я.

– Около пяти.

– Время ещё есть, – сказал я, и швырнул окурок в сторону. – Я вот что придумал по поводу армии...

– Что? – с надеждой в голосе спросил Олег.

– Тебе нужно сломать руку, – ответил я.

– Ты чё рехнулся?

– Сам посуди, кому ты будешь нужен в армии со сломанной рукой? Тебя на комиссии завернут. Призыв пройдет. А там что-нибудь придумаем.

Олег задумался. Его лоб прорезала одинокая морщина – это было свидетельством работы мысли.

– В этом, что-то есть... – наконец произнёс он. – Только давай сначала напьемся, а то как-то страшновато.

– И где же, по-твоему, мы денег возьмём? – спросил я.

– Короче, у рынка стоит тётка и принимает пустые бутылки... – начал Олег.

– Ага. Давай ещё бутылки пойдём собирать, – усмехнулся я.

– Да подожди ты. Ничего собирать мы не будем. Мы их у неё стащим. Целый ящик. И сдадим в пункт приёма стеклопосуды на Комсомолке, – сказал Олег и победоносно посмотрел мне в глаза.

Видимо, я должен был оценить гениальность его плана. Я почесал бритый затылок и сказал:

– А чё? Это мысль. Всё равно нам нечего делать.

До рынка было недалеко – всего пара кварталов. Решили отправиться пешком, тем более что денег на проезд у нас не было.

Двигались мы не спеша: вдоль трамвайных путей, стяжными ремнями притянувших город к территории нашей страны; мимо современных многоэтажек, по-хозяйски теснивших щитовые бараки довоенных годов; мимо забытого прошлого в безупречное будущее, и широкая дорога нашей жизни казалась бесконечной.

– А руку то как ломать будем? – спросил Олег.

– Значит, так, – сказал я, как можно более непринуждённо. – Мы напьемся. Ты сядешь на корточки возле унитаза и положишь руку поверх него. Я разбегусь по коридору и, что есть силы, с ноги продавлю её внутрь. Думаю, что рука сломается.

– Ты точно рехнулся, – заметил Олег. – Да что там – ты настоящий псих! Мы улыгнулись.

Олег шёл, шаркая носками кроссовок по асфальту. Его спортивные штаны с тремя полосками по бокам, всё ещё вызывали у меня чувство зависти. Сам я донашивал прожжённые сигаретным пеплом спортивки старшего брата.

– Ну и лад с ним, – внезапно сказал Олег. – Будь что будет – где наша не пропадала!

– Вот и правильно, – поддержал я его.

За пыльными кустами прогромыхал трамвай.

– А ты в курсе, что трамвайная система на Нижегородчине одна из старейших в России? – спросил я Олега.

– Нет, конечно.

– Нам по истории рассказывали. Первый электрический трамвай в Нижнем Новгороде пустили в 1896 году, накануне приезда Николая Второго на промышленную выставку. Скоро сто лет будет.

– Забавно, – только и сказал Олег.

Спустя пятнадцать минут мы были на месте.

– Вон смотри, – Олег указал на женщину в синем рабочем халате, которая стояла возле пластиковых ящиков для сбора стеклянных бутылок. – Когда она отойдёт – в туалет там или ещё куда, – мы подбегаем, хватаем ящик с бутылками и уносим ноги.

– Так точно, сэр, – выпалил я, вытянувшись по струнке и поднеся правую ладонь к виску.

– К пустой голове руку не прикладывают, – заметил Олег.

– Ничего не могу с этим поделать, – сказал я с улыбкой.

Мы расположились у дома напротив и стали ждать подходящего момента. Время тянулось медленно. Мы присели на корточки и закурили.

– Кстати, ты слышал про философию спичечных коробков? – спросил Олег.

– Нет. Откуда?

– Мне дед рассказал. Короче, слушай, – Олег берёт коробок и кладёт его между нами. С этикетки на нас смотрит улыбающийся олимпийский Мишка. По-видимому, спички – это тоже подарок деда.

– Длина коробка – это мера жизни человека. То есть, каждый человек должен прожить жизнь длиною в спичечный коробок. Это называется цикл. По идее всем отмерено одинаково. Но! – Олег многозначительно посмотрел на меня. – Если кто-то из твоей семьи умирает, не пройдя весь цикл, то жизнь рода удлиняется на остаток его пути.

Я затанулся и выдохнул дым в сторону.

– Вот смотри, отец жил семьдесят лет, а его сын девяносто. Почему так получилось? А потому, что брат отца умер, не пройдя полный цикл. Его жизнь оборвалась где-то на середине спичечного коробка, и оставшийся отрезок приплюсовался к жизни сына, чтобы восстановить равновесие. Короче, жизнь рода – это цепочка спичечных коробков! Такие дела, брат.

Мы устали на коробок, постигая глубины житейской премудрости.

– Всё, она ушла, – сказал я, посмотрев поверх Олеговой головы.

– Тогда пошли.

Мы поднялись.

– Давай всё сделаем быстро, – сказал Олег.

Мы подбежали, схватили ящик полный пустых бутылок и драпанули оттуда что есть мочи.

Мы неслись как угорелые. Бутылки подпрыгивали и стукались друг об друга.

– Прикинь, как мы выглядим со стороны? – крикнул Олег.

Мы расхохотались. Казалось, что если мы не остановимся, то непременно выроним ящик и разобьём всю посуду. От этого было ещё смешнее. Мы так и бежали, смеясь и гремя пустыми бутылками.

Завернув за угол многоэтажного дома, мы притормозили.

– Ну чё, на Комсомолку? – спросил запыхавшись Олег.

– Дай отдышаться, – вымолвил я.

Мы стояли и молча смотрели друг на друга. Капли пота горными ручьями стекали по нашим лбам.

– Ну чё, на Комсомолку? – повторил Олег отдышавшись.

– Пошли!

Сдав бутылки, мы выручили немного денег, но их всё равно не хватало на водку.

– Дело дрянь! – сказал Олег, пересчитывая копейки.

– Ну и чё будем делать? – спросил я.

– Так, главное – не паниковать. У меня есть дома заначка, – сказал Олег и, потупившись, добавил. – Откладывал на чёрный день.

– Какой ты продуманный, ё-моё! – воскликнул я, и хлопнул его по плечу.

– Ещё бы!

– Меня зовут Олег, и в армию я не пойду, – сказал он, и залпом осушил свою рюмку.

Мы сидели у него на кухне. На заначку мы взяли бутылку водки и несколько банок пива.

Настала моя очередь произносить речь.

– Меня зовут Вадик, и я потомственный алкоголик!

Я поднёс рюмку ко рту. Водка пахла противно. Все, что было выпито, просилось наружу. Я затаил дыхание и проглотил прозрачную жидкость. Пиво ложилось мягче, просторнее, обволакивая обожжённое горло.

Мы опьянели.

– Ну чё, начнём? – спросил Олег и направился в туалет.

– Давай, – сказал я, и последовал за ним.

Олег открыл дверь сортира, опустился на корточки и перекинул правую руку через борта унитаза. Его немного мутило.

Я расположился напротив, в конце коридора.

– Не тяни, – заплетающимся языком промямлил Олег. – Давай уже...

Это было нелепо и даже смешно. Но я подавил улыбку, чтобы его не обидеть. Нужно было взять себя в руки и закончить начатое дело.

Я побежал.

Несмотря на то что мои ноги подкашивались, нёсся я как разъярённый бык. Олег выглядел матадором, загнанным в угол. Его глаза наливались кровью. От выпитого в ушах шумело. Когда я занёс свою ногу, в попытке сломать ему руку, он убрал её с унитаза.

Через несколько дней его забрали служить. Он погиб в первую чеченскую, где-то в Аргунском ущелье.

Я со сломанной ногой остался лежать на гражданке.

Фээсбэшником я так и не стал.

Поэзия

Людмила КУЗНЕЦОВА-КИРЕЕВА

Родилась в 1957 году в Раздорском районе Ростовской области. С пятилетнего возраста живет в Волгограде. По образованию – инженер-строитель, окончила Волгоградский инженерно-строительный институт.

Поэт, эссеист, член Союза писателей России, член Союза журналистов России. Автор пяти сборников стихов и многочисленных поэтических подборок в газетах, журналах, коллективных книгах.

...ДАРИТЕЛЬ ДНЕЙ, СТИХАМИ ГОВОРЯЩИХ

* * *

Зацветает миндаль в Крыму
Раньше сроку на три недели.
Я весну хоть сейчас приму –
Феврали ко мне охладели.
Я устала от зябких чувств
И тоскливого непогодья,
И дорог – всё куда-то мчусь...
А пора б отпустить поводья.

Но мечты высиняют даль
Там, где волны закат гасили.
Зацветает в Крыму миндаль,
Слава Богу – у нас, в России!

* * *

О, утренней зари живительный глоток!
Василий Макеев

Чуть свет проснуться, выглянуть в окно –
И дня земного ощутить начало,
И удивиться: мир знаком давно,
А я нисколько в нём не заскучала!
И мне по нраву огустевший сад,
Пусть щедрости плодовой не образчик,
Но ведь источник хлопотных усад,
Даритель дней, стихами говорящих.

* * *

Солнце спряталось за ериком,
На попятную – жара.
Я бреду заросшим берегом,
Где лютует мошकारа.

Словно циркулем, окружности
Нарезают окуньки.
Звёзды, яркие наружностью,
Зажигают маяки.

Летний вечер чёрной цаплею
На гнездовье сел в камыш.
Выпит день. Последней каплею –
Эта сумрачная тишь.

К дому вьётся тропка дальняя,
Ждёшь меня ты на крыльце,
И лягушки в честь свидания
Объявляют свой концерт.

* * *

...Огорошенный вишнями сад...

Елизавета Иванникова

Синие свечи лаванды
Не остудила роса.
Мальвы в саду – что атланты,
Впору держать небеса.

Ерику плачется ива –
Дева в извечной тоске...
Утро прошло торопливо
Мимо калитки к реке...

Потчую скворушек вишней –
Стайку вокруг деревца!
С ближним делиться не лишне:
Хватит и мне, и скворцам.

Много ли сладости надо?
Лета земного глоток...
В звонком безмолвии сада
Строчки ронять на листок.

* * *

Была ли ты, любовь?
Так жаль,
Что не могу ответить точно...

Мне лишь запомнилась печаль,
Что пряталась за многоточье.
Светлела прядка у виска,
Уставшая от ожиданья.
Мгновенен путь наш –
от цветка

Пьянящего до увяданья.
Попутных ветров всё ждала –
Лететь, бескрылая, хотела!
А ты земной, любовь, была –
Вот я тебя и проглядела.

* * *

И тебя, воробей, занесло не туда,
Здесь чирикают все по-иному.
Вдосталь моря и солнца... Ночлег и еда...
Отчего ж мы скучаем по дому?
Славен берег турецкий зазывной волной,
Загорелые пальмы гривасты и броски.
Но глаза закрываю:
и рядом со мной –
В полотняной оде́ве
простушки берёзки.
Ты, земля, гости, сытно клуй, не грусти.
Брошу белые крохи в прибрежную пыль я.
Только, знаешь ли, рай не пожива в горсти,
Рай – гнездо под застрехой, где выросли крылья...

* * *

Изношены, как платья, зеркала,
И жмут в плечах, и я кажусь в них квёлою.
До лоска чищу-блищу – досветля́,
Но выгляжу не кралей, а фефёлою.

Усталость амальгамы в том виной,
Соперниц ли старание наветное?..
Не схоже отражение со мной –
Чужое, неутешное, бесцветное.

А я точь-в-точь такая, как была, –
Красивая,
и милому так кажется!
Возьму и поменяю зеркала...
А, впрочем, нет,
пускай себе куражатся!

* * *

Присядет утро на постель,
как в детстве мама, на самый край...
Светло смеясь...

И одеяло тихо стаскивает, стаскивает,
В цветочек бязь...
Щекочут пятки мне прикосновенья ласковые...
И рвётся связь
С ночными шорохами, тайной, снами, сказками...

И

Позоревать бы... Только утро так упрямо
Твердит своё:
«Вставай». И брови хмурит, не сердясь, как мама.
Глаза – её...

* * *

Ждём подолгу праздники,
А проходят быстро:
И салатов тазики,
И салютов искры.

«Разгуляй» да «вольница»,
Лыко вяжем еле.
На Руси, как водится,
Горькое похмелье.

Пьём сперва заздравную,
После – всё другое...
И застолье странное,
Коль без мордобоя.

И с тоской щемящею
В песнях, не стихая, –
Камыши шумящие,
Степь да степь глухая.

* * *

Ещё корявы и черны́
Над речкой сонные терны́,
Но скоро ярим обернутся,
И пчёлы гудкие взметнутся,
Просторам пойменным верны.
И даже хмурая душа
Воспрянет, крыльями шурша,
Ликуя от весеннецветья
(Не обойтись без междометья),
Ах, было б грустно, не заметь я,
Что жизнь всечасно хороша!

Валерий СКОБЛО

Родился в 1947 году в Ленинграде. Окончил матмех ЛГУ. Работал научным сотрудником в ЦНИИ «Электроприбор». Имеет научные труды в области прикладной математики, радиофизики, оптики.

Автор четырех поэтических сборников, стихи, проза, публицистика выходили в российской и зарубежной литературной периодике. Лауреат премии им. Анны Ахматовой (2012), финалист международных конкурсов стихотворного перевода «С севера на восток» (Хельсинки, 2013 и 2016), дипломант литературной премии им. А.А. Ахматовой (СПб, 2015).

Живет в Санкт-Петербурге.

КТО ОКЛИКАЕТ НАС НОЧЬЮ... ВО СНЕ... СРЕДИ ТЬМЫ?..

* * *

В то лето говорил себе: Могу! –
И, правда, мог – в то молодое лето.
Он отвечал всем невпопад: «Угу...»
И было ясно, что витает где-то.

Так далеко, что не на черновик,
А начисто, без всяческих помарок
Писал стихи... Потом, конечно, сник –
Не может долгим быть такой подарок.

Тогда он мог... Весь этот вещный мир...
И тот, другой – в его, казалось, власти.
Он был всем этим строчкам командир,
Слова его послушны были страсти.

Как грохотал над ним июльский гром...
И жизнь спустя он помнил это лето.
А что с ним было после и потом –
Без разницы... Поскольку было это.

* * *

Для тебя – пустые слова,
Стану спорить с тобой едва ли.
Но небесные жернова
Для меня все явственней стали.

Что сказал бы на мой рассказ? –
Типа съехал совсем с катушек...
...Вижу то, что мелют для нас –
Ох, совсем не муку для плюшек.

Что ж – посмейся ты надо мной,
Занимаясь серьезным делом...
Но подвижки коры земной
Ощущаю я слабым телом.

* * *

Кто окликает нас ночью... во сне... среди тьмы?..
Так что проснешься – и сердце колотится гулко.
Имя откуда он знает, нам данное на день, займы?
Ах, приоткрылась и снова закрылась шкатулка.

Так что гадаешь: а что же на дне ее?.. Там,
Где имена настоящие дремлют в покое...
Даже во сне называют совсем не по тем именам,
Не объясняя нам это занятие пустое.

* * *

Говорит мне, что жизнь неприглядна –
Просвещает меня, дурака.
Кто бы спорил? Такая – и ладно,
Слава богу, что длится пока.

Достает то дождем, то пургою...
Даже в полдень за окнами мгла.
Я не знаю, могла быть другою
Или только такую могла?

Не страшнее всех прочих уродин,
Но какая ни есть – это жизнь.
Что пенять?.. Выбор есть, ты свободен:
Неприглядна тебе – откажись.

То ли мелкая, то ли большая,
Разгребая брильянты и хлам,
Жизнь сверкнет, в суете поспешая
По пустяшным и важным делам.

* * *

Лес не помнит листвы прошлогодней,
Речка – воды вчерашнего дня.
Жить подобно им – много свободней,
Помнить все – разве не западня?

Расставанья... обиды... потери...
На клубочек наматывать нить.

Впрочем, всем – по любви и по вере,
Что не могут без памяти жить.

Воздается по этим законам
Только тем, кто душой наделен.
Птицам в небе, ручьям или кленам
Этот суд не грозит испокон.

Ну а сам ты сумеешь? – едва ли –
Виноватый пред всеми и всем.
Облакам это все – трали-вали,
Что им память? Откуда?.. Зачем?

Так шагай же по этому тракту,
Обреченный, свободный, чумной...
Без разбивки на сцены, антракты,
И не смея спросить: что со мной?

Точно клятвой повязан печальной,
Каждый шаг – со все бóльшим трудом...
Верный сути своей изначальной.
...Вот уж тоже Ньютона бином.

* * *

Хоть и дожил я до седых волос,
До каких-то пучков цвета пыли,
Промолчу на любой про любовь вопрос,
Хоть любил... и меня любили.

Да, я знаю, какой инстинкт ведет
И бросает навстречу друг другу...
...Если вам все понятно, вы – идиот,
Обреченный ходить по кругу.

Объяснишь лишь игрой гормонов ты
Эту боль? Нет, все мимо... и мимо...
А подступит она – и тебе кранты...
Непонятна и необъяснима.

Марина ЩЕЛОКОВА

Родилась в Нижнем Новгороде в 2003 году.
Писать стихи начала в школе. Сейчас студентка факультета журналистики МГУ.

ОПУСТИТЬ ГЛАЗА И НАЙТИ РАСПЯТИЕ...

* * *

Однажды ты спросишь, забившись в тиши:
«Кто я такой и куда мы спешим,
И почему этих звезд витражи
Бессмысленно падают в жизнь?»

* * *

Эмми хочет уснуть.
Обнимает мягкую игрушку,
Ворочается с боку на бок,
Слушает легкий блюз и звук собственного голоса,
В полудрёме прикусывает волосы,
И к горлу медленно подступает комок.
То ли от того, что, как кошка,
Она проглотила слишком много собственной шерсти,
Собственной ненависти, лжи, лести,
То ли от того, что им не быть вместе -
Ей сказал вчера это Бог.
Эмми ещё долго не спит.
Подходит к окну, слушает дождь,
Жуёт яблоки.
И, честное слово, бросает в дрожь,
Пробились слёзы, она ослаблена.
Вот в мире ничего уже нет:
Электрический свет, тень, снег,
И так миллионы лет.
С ней говорит Бог.
Наедине с этим голосом,
В полудрёме прикусывая волосы,
Эмми шепчет ему:
«Ты, как я – одинок»

* * *

Я могла бы столько всего почувствовать,
Но на это далеко не всегда есть силы –
Экономлю на электричестве,
Жгу души своей керосинку.
Вся моя боль была каплями воска на коже –
Секунду покалывала и остыла.
Теперь, чтобы хуже
Различать лицо Божье,
Я скоро пойду покупать лучину.

Мне кажется так,
Потому что, сколько бы ни было замыканий:
Коротких и длинных,
Я ни разу за зиму
Еще толком не выстроила слова
В Бога достойную стихов линию.

Строки...
Так глупо,
Но я пропадаю в тиктоке
И радуюсь жизни.
Наверное, искренне.
Искоренив нелюбовь,
Но любви еще не достигнув.
Любовь еще не отыскана.

Лодка опять накренилась.
На этот раз по ветру,
Кто бы другой ждал штиля,
А я, мятежная, бури жду.

И не умею писать стихи
О том, как хорошо душе,
А ей хорошо так часто,
Что грифель на карандаше
Не тронут и не обточен.
И этот покой кажется страшным.

А хорошо:
Не убивать себя из-за экзаменов,
Нравиться себе внешне,
Заглядывать пристально в собственные глаза
И видеть там самых преданных демонов,
Подчиняющихся, как Дафниса козы,
Полностью твоей песне.

Но вот вопрос: ты больше жизни
Или жизнь тебя?
Не обманка ли это счастье,
Что приносит внутри идиллия?

Мир большой и красивый.
Ты – красивая часть его.
И, наверное, вечно набирать силы –
Задумка слишком софистская,
Слишком из пластика.

Стать чуть скромнее и чуть наглее,
Стать самой как оксюморон,
Не искать скрытых смыслов
В каждой излучине каждой аллеи,
Принять вселенское чувство юмора.

Стать чуткой,
Снять покров хитиновый
На начальной стадии,
И, когда, в занесенном снегом
Парке при детском садике,
Слеза
От блеска снежного или жалости
Катится вниз –
Опустить глаза
И найти распятие,
Так случайно выпавшее
Из рук создателя
На твоём пути.
В следующий раз –
Не прячь его,
Дай другому его найти.

Я знаю, все не бессмысленно,
Но мозгом можно понять
Лишь наделенное разумом.
И как бы Платон не силился,
Любовь объяснить не горазд и он.

Виктор ЛЯПИН

Родился в 1959 года в Кстове. Окончил Литинститут имени М. Горького (семинар Е.М. Винокурова) и журфак МГУ. Работал дворником, сторожем, журналистом, помощником мэра.

Автор сборника стихов «Огни на дальнем берегу» и нескольких сборников пьес. Участник ряда российских и международных театральных фестивалей. Пьесы поставлены в театрах России, Германии, Украины, Чехии, Австралии, Албании и других стран. Пьеса «Господа, товарищи, сволочи и дамы» в постановке Димо Дешева (Болгария) в 2018 году стала лауреатом Европейского театрального фестиваля в городе Сливнице.

Живет в Кстове.

МНЕ ПРИСНИЛИСЬ СЧАСТЛИВЫЕ ГЛАЗА МИНОТАВРА

* * *

Я тебя забыл, забуду,
забываю, сбывать хочу.
Твое имя, как простуду,
коньяком в ночи лечу.
Все, забыл, за... Вновь шепчу.

Я теряю, рву, сжигаю
письмо, ложь прощальных слов.
От тебя навек сбегаю,
от себя навек сбегаю,
чтоб навек вернуться вновь.

Я тебя не знал, не знаю,
не узнаю, не пойму.
Как мальчишка из трамвая
прыгаю в ночную тьму,
в гибель, в снега кутерьму.

Этот дом и город этот.
Этот снег и арка та.
И опять под кругом света
у окна сидит Джульетта:
начинай, мол, петть куплеты,
мальчик, с чистого листа...

* * *

Я обнимаю тьму
аллей ночного сада.
Сиянью твоему
положена преграда.
Пока ты здесь жила,
друг другу докучали
мед твоего тепла
и лед моей печали.
Ушла. Переживу,
перестою в прихожей,
перетопчу листву,
тряся небритой рожей.
Сходить бы по уму
давно в больницу надо.
Стою и глажу тьму
аллей ночного сада.

История

И мы похоронили нашу осень,
не очень-то заботясь о приличьях –
так, забросали ветками и снегом.
И сад, что был так сладко медоносен,
уснул, старик, в плевках и криках птичьих,
накрывшись пустотой, как оберегом.

Забыты грусть и радость – так, поверьте,
гораздо легче. День безукоризнен
и беспощадно чист под снегопадом.
И девочка, что думает о смерти,
в окошко глядя, – воплощенье жизни,
спокойной, безнадежной, как и надо.

Все кончено. И больше не случится –
вино, багрец и золото, невинность,
любовь, как ослепительная вспышка.
Она ждала, ломая в пальцах чипсы
и понимая счастья половинность,
разочарованная, но не слишком.

Плыл снег. Плыл мост. И яблоки горели
в хрустальной вазе, плавя подоконник.
Она молчала, втоптана в молчанье.
День угасал. И вывески пестрели.
И лишь она бледнела, как покойник,
разрезав руки о стекло случайно.

* * *

...когда я понял, что люблю тебя, милая,
когда я понял, что люблю тебя больше жизни,

больше всего на свете, что можно любить –
детей, богов, золота и акаций –
мне приснились не райские кущи с яблоками из меда,
не осенние поля с запахом увяданья,
мне приснились счастливые глаза Минотавра,
преданного Ариадной, преданного богами,
преданного всеми, преданного судьбой,
счастливые глаза Минотавра,
жадущего удара Минотавра,
счастливые глаза Минотавра,
смертельные глаза Минотавра.

* * *

...синее неба, золотистой ржи
нет ничего. Шмель в волнах иван-чая
так бархатист – хоть языком лижи.
Тебе б его шмелиные печали!

...ты у реки. Навстречу легион
гусей – бредет гогочущее войско.
И хоть ты будешь с плачем побежден,
бой принимаешь в панике героической.

...и это лишь начало дня. Взгляни –
ты в кузове уснул, на сене млея,
среди колхозниц, визга, толкотни:
– Гадюка в сене! Прыгай же смелее!

...пахучий проблеск редкого дождя;
плеснул и стих. Клубника на клеенке,
и запах от пшеничного ломтя,
горячий запах, сладостный и тонкий.

...«тот умер, эта умерла». Чудак.
Однажды с нами бывшее не минет.
И этот день не кончится никак:
беги скорей к столу, твой ужин стынет...

Звонарь

В звучном небе, на закате, сам – заплата на заплате,
С плачем долгих пьяных братьев: – Эх, давай, Колюха, жарь!
Над конюшней, над загонем, над колхозом-чемпионом
Колокольным ржавым звоном забавляется звонарь.

А народ смешлив до колик: – Это ж Колька-алкоголик,
Бывший сторож и историк. Слазь, зараза, не грешь!
Подучили, спирта влили, как солому подпалили:
– Все, ребята, или-или: или бей, или пляши!

Ничего ему не мило. Мать, зачем его кормила?
Молоко твое уныло, растравил печенку страх.

Непослушными руками разрывает ветхий камень –
и швыряет колокольню, как соломинку в волнах.

– Что, пьянчужка, раскричался? Что мутишь, уродец, воду?
Баламутишь домочадцев? Насылаешь непогоду?
Вольно дышишь, волны плещешь в неба плохнущую гарь?
Не губи, бесстыжий ирод! Да уймись же ты, звонарь!

– Поздно, мать. Трудна работа. Волны бьют в борта без счета,
горло каменного флота запружило, замело.
Парус-колокол взовьется, ветра мокрого напьется –
И по вашим постным ликам двинет в небо тяжело!

Прибежавший председатель кроет в бога-душу-матерь:
– Упаси меня создатель от тяжелого греха!
Запихал завхоза в «Волгу» – покатыл искать двустволку
на заброшенной кордоне у баптиста-лесника.

А народ смеется пуще: – Жарь, Колюха, жарь погуще!
Может, стерпит божья куца – что бояться почем зря?
...И глядит доярка-дура, сражена ножом амура,
как саднит над полем хмуро ало-черная заря,
и качается фигура золотого звонаря!

* * *

Пора! Уже сохнут рябинные кисти.
В карминах и в золоте волны двора.
Мы слушаем чутко, как сыплются листья,
как листья бормочут: – Пора.

Кому-то приснится еще эта осень –
и всхлип дебаркадеров, и катера,
и плачущий сад с гнилью груш на подносе,
и пьяный паромщик: – Пора.

Кричи. Паникуй. Морщись – плыли? не плыли?
Как в фильме немой снова слушай с утра
в жемчужной, прощальной, сверкающей пыли
крик канувших листьев: – Пора.

Петр РОДИН

Родился в ноября 1950 году в д. Фатьянково Перевозского района Горьковской области. Окончил Горьковский педагогический институт, по распределению приехал в Воскресенский район. Работал директором школы, первым секретарем райкома ВЛКСМ, председателем правления колхозов, секретарем райкома КПСС, директором муниципального центра социальной помощи населению. В 1985 году заочно окончил Горьковский сельскохозяйственный институт. Возглавлял земское собрание, Управление Пенсионного фонда РФ по Воскресенскому району.

Автор поэтических сборников и книг для детей. Член Союза писателей России. Живет в р. п. Воскресенское, Нижегородская область.

РОДНАЯ МОЯ ГЛУХОМАНЬ

Берег

А вот и берег мой родной.
Посёлок тихий за спиной,
Горы Ватрухиной кусты
И храма строгие кресты.
Река Ветлуга.
Тяжеловатый неба свод,
Стальной отлив осенних вод
И горький привкус тальника.
Ни звука и ни огонька,
И спит округа.

Лишь утки запоздавшей кряк
Порвал тишайший полумрак
Да поезд где-то далеко,
Туман – снятое молоко –
Взмутил сигналом.
Давно потушены костры,
У лодок горбики остры.
Стожара перст торчит в стогу.
Старик сидит на берегу,
И дум немало.

Тепло и свет весны былой,
С беляны посвист озорной,
Гульбу, покосы у реки
Девичий взгляд из-под руки
Припомнил старый.
– Эх, где ты, силушка в плечах
Искра в разбойничьих очах,

Тальянки сладкий говорок,
Добытчик – острый топорок,
В душе пожары?

Как в Уколове соловьи
Концерты ставили свои!
Ночами слушать был готов,
Как отвечала из кустов
Им соловьяха.
Каков базар бывал в селе!
Бывало, чай, навеселе
Вдруг задирает кого-то друг, –
Делили с Левихой подруг,
Махались лихо!

А в Воскресенском во престол
Метались рыбнички на стол
Не усидишь втроём иной,
На полсажени шириной
Нам подавали.
Что ни мужик, медведь-шатун.
Коль приласкает, пой Канун!
И бабы нынче уж не те,
Всю жизнь, как будто при посте,
Не в теле стали.

Коль Бог денёчек мне припас,
Приду сюда ещё хоть раз... –
Темнеет быстро на реке.
Подог у дедушки в руке,
Домой собрался.
– Ветлуга, матушка-река,
Хоть жизнь была и нелегка,
С тобой нам не о чем тужить.
На вольном свете любо жить...
Ну, я подался.

Глухомань

Андрею Иудину

В сугробе защёлкал валежник.
Белёсый лесной полумрак.
Не души вздыхают медвежьи –
Ель скинула шапку в овраг.

Лишь я и мой пёс, благодарный
За звонкий, морозный простор,
Вкушаем денёк, как подарок,
Под дятлов пустой разговор.

Не дерево скрипнуло – сойка.
Таков уж её позывной.

Фарфоровый, будто бы в стойке, –
Зайчишка. Метнулся – живой!

...С Каштаном опять не заметим,
Как в вечер декабрьская рань
Сольётся, и звёзды засветит
Родная моя глухомань.

Литургия

Свечку поставил по маме
И по родителям всем.
Молится женщина в храме,
Будто одна нао всем.
Чёрный платок. Очи долу.
Крылья креста широки.
Будто касаются пола
Пальцы знаменной руки.
Низко опущены плечи,
Строго очерченный рот.
Дерзко сияет подсвечник,
Тих и смиренен народ.
Тени колышутся рядом,
Свечка в руке не смигнёт,
А Богородица взглядом
Нас с прихожанкой блюдёт.
Отроком слышу я снова,
Как вознеслись к куполам
Отзвуки сердца родного,
Люди, не слышного вам.
А Богоматерь рыдает
И не стесняется слёз.
С болью с Голгофы взирает
Святой, распятый Христос.
В храмы не вхож. С образами
Я объясняться боюсь.
Сороковины по маме –
Сердце щемящая грусть...
Листья над папертью вьются.
Осень. Родные края.
Мне б к аналою вернуться...
Это же – мама моя.

Сентябрь 2000 г. Троицкий храм

Каменный солдат

И памятники сходят с пьедестала.
Е. Винокуров

На лавочке бомжи смакуют пиво.
Не с бодуна ли им явилось диво:

Обломки кирпичей, куски металла,
Был памятник погибшим, и – не стало.

Ушёл солдат бетонный с пьедестала,
Речей – свечей здесь сожжено немало.
И брёл боец по улицам посёлка.
В цементных и железистых осколках.

Он ковылял и слушал разговоры:
Кто прокуроры, кто сегодня воры.
И кто герои. И его глазницы
Копировали бытия страницы.

Над мэрией он триколор увидел:
– И кто же кумачовый флаг обидел?
Знамён победных кровавые стяги
Мерещились Ивану на рейхстаге.

Машины. Люди, злые как собаки.
Растрёпанные мусорные баки,
Горельники и сорванные крыши...
И мат, и лай, и вопли воин слышит.

И мимо бедноты, воров и выжиг,
Он за посёлок, на дорогу вышел.
И, будто под разрывом яви-пушки,
Упал при виде мёртвой деревушки.

Лежал солдат в кювете, у дороги,
Отколоты и голова, и ноги.
А треснувшие губы всё шептали:
– Да разве, ж мы за ЭТО воевали?

Проза

Павел ЧХАРТИШВИЛИ

Родился в 1948 году в Москве. Окончил исторический факультет Московского государственного университета. Работал механиком-прибористом, техником-конструктором, статистиком, учителем истории. Более 40 лет трудился в Госархиве РФ. Почётный работник Госархива РФ.

Неоднократно публиковался в российских журналах. Лауреат премии литературного журнала «Байкал» (2019). Живет в Москве.

МАЛКЕ

1

Малке родилась в одном из городов на западе Белоруссии в 1898 году, после Песаха и перед Пасхой. Отец Малке, Лазарь Гутерман, был сапожником. Кашлял. В 1902 году он умер. Мать звали Хае-Этл. Малке была в семье третьим выжившим ребёнком. Четвёртым и последним ребёнком была Двоя, родившаяся после смерти отца. Мать не хотела её кормить. Чужая семья, лишившаяся единственного сына, взяла Двоя. Затем жившая далеко тётя взяла к себе Злату, старшую сестру Малке.

Жили Хае-Этл, Малке и её старший брат Натан в маленькой комнате на первом этаже, ставни были всегда закрыты. Скамейка у печки, комод, две кровати: побольше, где спали мать и Малке, и маленькая – брата. В ногах большой кровати портрет царя Николая во весь рост, в брюках с лампасами.

Позднее брата пристроили к дяде Эфраиму, и Малке стала жить с мамой вдвоём. Хае-Этл не работала. Вечно сидела сложа руки и покачиваясь всем туловищем, с грустным лицом, повязанная серым платочком. Иногда они выходили на улицу. Ребятишки кричали:

– Жиди прокляты!

Хае-Этл покупала за две копейки бублик, отщипывала кусочек, остальное отдавала дочке.

Однажды девочка проснулась и позвала маму. Та не отзывалась. Малке стала её будить, подымать ей веки. Так и лежала с ней, пока в комнату не вошла хозяйка. Она увидела на шее Хае-Этл бинт. Пришёл седобородый дед, отец матери, стал в дверях:

– Чёртом была, и к чёрту пошла.

На могиле матери женщины говорили Малке:

– Если будешь покорной девочкой, тебя будут любить.

Сироту взял к себе дядя Эфраим. У него была гильзовая мастерская. Несколько рабочих делали на двух машинках рубашки для гильз, гильзы отправляли на табачную фабрику. Рабочие получали по четыре копейки за тысячу гильз. Вместе с ними работали дядя Эфраим, Натан и Малке. Девочка научилась делать гильзы и коробки для них.

Как-то в воскресенье рабочие пришли возбуждённые, что-то прятали, говорили, что кого-то ранило, просили Малке ничего не рассказывать из услышанного в мастерской. На улице валялись перья от подушек. Разъезжали казаки на лошадях. Хозяин дома был русский, на ворота вывесили иконы, и толпа прошла мимо.

Дело Малке было мыть посуду, в то время как дети дяди Эфраима играли. Посуду девочка иногда в отчаянии колотила, за что получала от старухи – тёщи дяди. Часто Малке уходила в палисадник, до поздней ночи лежала там и плакала, просилась к матери. На шкафу в коробке хранился бинт, которым удавилась Хае-Этл. Старуха часто говорила сироте:

– Если тебе не нравится, можешь повторить.

Дядина дочка ходила учиться, а Малке посылали носить ей ранец, и Малке ненавидела её. Учёба Малке состояла в том, что соседка-чиновница писала девочке слова карандашом, а та обводила чернилами. Соседка давала Малке тетради, сирота мыла ей полы. Читать девочка научилась по вывескам.

В 1910 году взяли в солдаты Натана.

Работала Малке Гутерман и коробочницей в мастерской Левина, работала на складе, затем у Мушкиса. Мушкис имел кирпичный дом и магазин. Малке зазывала покупателей и разносила по домам покупки, получая за это от покупателей три или четыре копейки. Жена Мушкиса жалела Малке. Тем временем вернулась Злата, старшая сестра Малке. Малке её не знала, поэтому не чувствовала к ней любви. Злата устроилась работать портнихой. Как-то в субботу старшая сестра взяла Малке на собрание Малого Бунда. Девочки ехали по реке на лодке, по пути стояли дозорные. На собрании выступали молодые парни, говорили о событиях в городе.

В 1914 году должен был вернуться из армии брат. Малке его очень ждала и не знала о выстрелах Гаврило Принципа в Сараеве.

2

Через год после начала войны еврейскому населению приказали покинуть город. Погрузка была ужасной. Немцы обстреливали город и станцию. Люди бросали вещи. Крики женщин, плач детей. В теплушки попадали кто посильнее. В конце концов двинулись. Никто не знал, куда едут и когда приедут. Часто останавливались. На станциях к эшелону выходили члены комитетов беженцев. Малке у солдат, у раненых спрашивала о полку, в котором служил Натан. Один солдат, еврей, предложил девушке поехать к нему домой в Борисов и хотел с ней послать письмо жене, минуя почту. Малке отказалась. Тогда он дал ей адрес семьи Гиршенюк, жившей в городе на Волге:

– В этой семье часто ночуют евреи, уклоняющиеся от военной службы. Гиршенюк и тебе помогут устроиться.

Малке ехала с тёткой и Златой. Девушке надоела тёткина опека. Ночью она оставила теплушку, имея с собой три рубля, полученные от

Мушкис и зашитые в воротник серой жакетки, бывшей когда-то синей. Малке задержали, отвели в дежурку, допросили и на рассвете посадили в эшелон, идущий на восток. Еврейские беженцы не допускались в Смоленск и Москву. В конце концов приехали в тот самый город, о котором говорил солдат. Девушка до глубокой ночи искала улицу и дом. Нашла, постучалась. Залаяла собака. Встревоженный мужской голос спросил:

– Кто там?

Малке не отвечала, а он переспрашивал. Наконец девушка сказала, что она беженка.

– Роза, там женский голос, – сказал мужчина.

– Если не хотите открывать, я уйду.

Ей открыли. Она плакала и рассказывала. В этой семье она прожила две недели. Убирала, штопала, мыла посуду. Затем хозяева порекомендовали её Моисею Михайловичу Шприцу. Старик Шприц имел бакалейный магазин, угольный и керосиновый склады. У Шприца Малке трудилась усердно. В пять часов Моисей Михайлович шёл её будить, а она уже сидела наготове. Работала в магазине, Шприц доверял ей кассу. Просеивала уголь на складе. Сыновья Моисея Михайловича учились в реальном училище. В доме Шприца часто жили разные люди. Например, Ландсман – молодой, красивый, аккуратный учитель детей Моисея Михайловича. Он нравился Малке, ей казалось, что он революционер. Во дворе помещалась пакетная мастерская Шприца. Готовые пакеты десятифунтовыми пачками, тюками отправляли в магазин, в другие города. Малке зашивала тюки и возила их на пристань. В мастерской работали восемь пакетчиков, все – русские, в большинстве молодые. Один был старшим, он работал с женой, варившей пищу. Моисей Михайлович платил деньгами и продуктами, доверяя отпуск продуктов Малке, она всегда прибавляла. Рабочие носили косоворотки, фуражки с глянцевыми козырьками, у них была гармонь, на которой играли «саратовскую» с приплясом.

– Маша, – кричали рабочие Малке, – иди к нам! Ты у нас девка своя.

Фаня, молодая жена Шприца, была связана с врачами и помогала евреям, не желавшим идти на фронт, обрести физические дефекты. Фаня хорошо относилась к Гутерман. Любила Малке и прислуга, которой девушка читала письма от солдат. А самой Малке никто не писал, и она никому не писала. Но девушка верила, что и у неё будет любимый, что милый придёт и найдёт её.

3

Малке получала у Шприца плату вперёд. Приделась, купила кое-что. Познакомилась с беженкой, работавшей провизором и готовившейся сдавать экзамены на аттестат зрелости. Позавидовав ей, Малке бросила работу у Шприца, сняла комнату, поступила за двадцать пять рублей в месяц зашивальщицей посылок в варшавскую фирму «Плущер-Сарно» и стала брать у студента за пятнадцать рублей в месяц уроки по всем предметам. Питалась в вегетарианской столовой около банка, там к редьке давали кусок хлеба. Студента звали Айзик Фалькович. Он вскоре отказался брать деньги у своей ученицы. Малке как-то попросила его принести ей хорошую книжку. Фалькович принёс. Это была «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим». Малке читала, как отчим, мистер Мэрдстон, обижал Дэвида, ударил его

и запер, а служанка Пегготи прижимала губы к замочной скважине, говоря с нежностью:

– Дэви... мой маленький.

И целовала замочную скважину.

Малке плакала.

Однажды в марте она зашивала посылки, а по улице ехали латыши, стреляли, направлялись к кремлю. Из кремля летели бумаги. С офицеров, не надевших красные банты, срывали погоны. Открыли тюрьму. Снег становился всё темней, воздух всё прозрачней. Малке и Айзик часами ходили по городу. Фалькович говорил, что скоро все будут сыты и свободны, не будет господ и слуг. Малке сказала, что у всех народов есть своё государство, а у евреев нет. Целовались, под ногами крошился снег, а сквозь лёд проступала вода. Никогда ещё не было такой весны.словно тёплый ветер, налетела на девушку первая любовь. Малке открыла этому ветру все изломы обнажённой души. Хотелось всю жизнь вот так идти, обнявшись – и плача идти, и смеясь. Они поженились.

Малке не знала, жив ли брат и, если жив, где воюет, не ранен ли. А Натан был жив и не был ранен. Летом 1917 года он, солдат 8-й армии генерала Корнилова, участвовал во взятии Галича. Хотел написать об этом сёстрам, но понятия не имел, где они и что с ними.

То было время всеобщего помешательства на почве политики. Оно не коснулось влюблённой еврейской девушки. Малке читала не газеты, а Шолом-Алейхема. На выборах во Всероссийское Учредительное собрание они с Айзиком голосовали за эсеров. В декабре Малке стала мамой. Муж купил масло и свечи для ханукального светильника. Подпоясавшись гартлом, он зажёл огонь в крайней правой чашечке.

Учредительное собрание было распущено. Начиналась новая война – Гражданская. На молодую маму свалились две беды. Сначала заболела и умерла малышка Рохеле. А потом пришла разлука с мужем: Фалькович уехал драться с адмиралом Колчаком. Малке работала санитаркой в эвакоотделении на станции Арчеда, в шестидесяти километрах от Камышина. Поступали эшелоны, переполненные ранеными и тифозными. Паровозы топились дровами, эшелоны шли медленно и привозили пятнадцать процентов трупов. Людей мучила вошь. На эшелон приходилась одна сестра милосердия. Более тяжёлых из Арчеды отправляли в Балашов, остальных клали в январе на цементный пол. Не было санитарного оборудования, не хватало медицинского персонала, баков для воды, гробов. Ходили по домам, забирали занавески и рвали их на бинты. Малке в ледяной воде отмывала бинты от гноя, болела чесоткой рук, но продолжала работу. Тиф косил людей. Те, кто лечил, – те и хоронили. На станции почти не было мужчин, неглубокие могилы копали старики и женщины, мёртвых клали в шахматном порядке, трупы выступали над поверхностью земли. Начальником в этом аду был врач Чугунов. Он жил работой, поначалу говорил только о работе, и Малке его уважала. Но со временем он разговорился и оказался пошлым дураком. Дурак, облечённый властью, невыносим. В короткие минуты передыха Чугунов стал рассказывать анекдоты, от которых Малке корбило. Некоторые сёстры милосердия спали с ним, он подъезжал к Малке, безрезультатно. Как-то раз после прихода очередного эшелона с Восточного фронта Чугунов сказал Малке, что один студент попросил у него наган, говоря:

– Застрелюсь. Всё равно не выживу.

– А где он лежит? – спросила Малке.

Она нашла больного. Это был её муж. Он узнал жену, но у него даже не было сил обрадоваться. Её слезинки замёрзли.

Из Царицына прислали двенадцать девушек-санитарок, стало легче. Но заболел возвратным тифом Чугунов и умер. Потом тиф свалил Малке. Она и Айзик выжили, начали поправляться, получали в команде выздоравливающих паёк: горсть пшена, пачку махорки, блюдечко муки, из которой пекли лепёшки на буржуйке. Весной уехали в столицу. Через полгода кончилась война. Вскоре родился сыночек. Малке предложила назвать его Давидиком, в память первого в жизни прочитанного ею романа. Потом начался НЭП. Денег не было, но была молодость и надежды. И тут... В райкоме партии работала информатором Вероника. Она обладала загадочной улыбкой и кооперативной квартирой. У Айзика, как стали говорить много десятилетий спустя, поехала крыша. Он тратился на Веронику. В сердце Малке поселились разочарование и неприязнь, которые стали теснить любовь. В сырой октябрьский вечер 1922 года Фалькович привёз домой остатки полочки. Малке бросила деньги ему в лицо:

– Уходи.

Под шум дождя она слышала, как муж плачет на коммунальной кухне.

Развелись. Малке удалось устроить Давидика в ясли. У него на щеках были такие же ямочки, как у его отца. Айзик ещё долго обитал в душе Малке. Но время – хороший доктор.

4

Малке проучилась два года на рабфаке имени Покровского, потом полгода на токарных курсах. Раз в месяц в выплатном пункте на Петровке получала пособие второй категории по безработице, по секции металлистов, – двадцать рублей. В конце концов поступила токарем на автозавод «Спартак». Узнала, что можно заработать двести рублей, записавшись на эксперименты по изучению влияния мужских профессий на женский организм. Там был руководитель Борис Петрусенко. У него самого в личной жизни произошёл эксперимент: он ушёл от жены и дочери. Каждый день, кое-как дожив до вечера, он шёл на встречные взгляды, бродил в расплывчатой мгле переулков. Ночь была полна огней и звёзд, и ему думалось, что вокруг не всё так, как надо бы, и что вечера и ночи сложатся в жизнь, которая одна. В экспериментах участвовала привлекательная еврейка. Все философии и революции, всю неудавшуюся жизнь перевешивает улыбка женщины. В облике Гутерман Борису виделась неизменная молодая красота далёкой Палестины. Тело этой женщины было так близко... Он разговорился с ней.

– Как вы могли бросить ребёнка? – упрекнула его Малке.

Она видела, что Петрусенко не прочь выпить, но человек бесхитростный, последнее ей нравилось, и, когда он полюбил её, она ответила взаимностью. Невозможно передать словами песню первых апрельских ночей. В соответствующем учреждении их объявили мужем и женой. Оба обожглись в первом браке и теперь дорожили обрётённым счастьем. Бориса устраивало, что у Малке сын: муж и жена не могли упрекнуть друг друга. Бориса также подкупало, как трезво, без иллюзий, но и без злорадства принимает молодая женщина успехи и неудачи республики. Вместе провели отпуск в доме отдыха имени Костюшина.

Борис купил красивую светло-коричневую шкатулку с замочком, выжиг на крышке текст:

Я всё потерял и бросил.
Я только тобой живу.
Моя ты весна и осень,
Мой утренний сон наяву.
Святослав Новопашин

Преподнёс шкатулку жене в день её рождения. В проснувшемся лесу было сыро. Набухшие почки должны были вот-вот лопнуть. Кричали сошедшие с ума птицы. Чистый небосвод завораживал и влёл Бориса и Малке в душу друг другу. Малке благодарила бы Бога, но ей объяснили, что Бога нет. Хотелось задержать этот день, оставить его навсегда. Но как? Будет снова апрель, и снова, когда-нибудь их с Борисом не станет, но будут мчаться поезда, будет пробиваться ранняя трава, женщина будет зачинать от мужчины, люди будут совершать благородные поступки и делать гадости.

В январе 1926 года появилась на свет ещё одна Петрусенко – дочка Маргарита. Потом Малке вышла на работу. Однажды тяжёлая деталь упала ей на большой палец правой ноги, раздробив ноготь. Стало трудно целый день стоять у станка. Пришлось уволиться. Её взяли в больницу санитаркой и спустя год перевели в кастаньянши.

В детском саду воспитательница Лариса Алексеевна любила Давидика. Вечно его приводили домой тщательно причёсанного да ещё она повязывала ему яркий бант на шею. Как-то мама спросила сына:

- Что у вас сегодня было?
- Музыкальные занятия, – ответил Давидик.
- Вы пели?
- Танцевали.
- Под пианино?
- Под Ларису Алексеевну.

Летом детский сад уезжал в Быково. Типичное письмо Давидика: «Здравствуй мама я живу хорошо привизи мне колендар и свисток мама я немножко пашалеваю но болши так не буду мы нашли черепаху мы видали васдушный шар привет дяде Боре». Малке купила сыну набор цветных карандашей. Мальчик срисовал из журнала лондонский Тауэр. Написал наверху: «английская рспублика». Подумал и приписал внизу: «республика будет такда, какда прогонят короля».

Тридцатипятилетие Бориса отмечали у него на работе, всем отделом. Пели русские и украинские песни. Потом, в трамвае, Малке усадила мужа и сказала:

- Посмотри на себя.
- Я выпил.
- Ты нализался как свинья.
- У меня день рождения.
- У тебя каждый день – день рождения.
- Не ругайся. Чего ты ругаешься?

Когда они вышли из вагона, жена взяла мужа под руку и прижалась к нему.

Второй брак Малке был явно удачнее первого.

Давидика приняли в пионеры. Отчим подарил пасынку сборник статей, посвящённых вождю, написал на титульном листе: «Моему сыну

Давиду. Будь таким, какой Сталин». Мальчик специально ходил оживлёнными улицами, приветствуя каждого встреченного пионера или пионерку пионерским салютом. Мама рассказала ему, почему ему дали такое имя. Но Давида не интересовал занудный Диккенс. Мальчик зачитывался «Историей раннего коммунизма» – книжкой о Вейтлинге, Кабе, Дезами, Пийо. Вырезал и повесил фотографию: Эрнст Тельман выступает на многотысячном митинге у Бранденбургских ворот. На первомайской демонстрации светловолосый, похожий на немца Давид пел вместе со взрослыми в сопровождении оркестра:

Друм линкс цвай, драй,
Друм линкс цвай, драй,
Встань в ряды, товарищ, к нам!
Ты войдёшь в наш Единый рабочий фронт,
Потому что рабочий ты сам!

Маргарита по утрам получала от родителей деньги на обед в школьном буфете, но вместо супа и второго втайне покупала пирожное. Девочке никак не удавалось получить по письму пятёрку. Сплошные четвёрки. Мама сказала:

– Принесёшь пятёрку, получишь подарок.

Была наконец четвёрка с плюсом, но мама сказала:

– Нет, это не то.

И вот свершилось: пятёрка по письму. Маргарите вручили книгу «Дети капитана Гранта». По Москве тогда уже ходили троллейбусы. Девочке приснился майор Мак-Наббс. Он ехал с ней в новеньком троллейбусе. Они удобно сидели. Прохожие глазели на чудо двадцатого века. Майор посмотрел в окно и сказал девочке:

– Троллейбус – аристократический вид транспорта.

Когда пустили первую линию метро с мраморными станциями, семья прокатилась от Парка культуры до Сокольников и обратно. Маргарита спросила:

– Метро – аристократический вид транспорта?

Брат засмеялся, а отец ответил серьёзно:

– Пролетарский.

Тут уже улыбнулась жена. Она сделала карьеру: стала завхозом. Схлопотала строгий выговор на профсоюзном собрании за то, что не разглядела двух классово чуждых элементов, пробравшихся в советскую больницу: дворника Инну Сметанко и пожарного Демьяна Хороших. Последний называл день получки днём медицинского работника. Написали в протоколе: у Малки Петрусенко притупление политической бдительности.

Потом пришёл Большой Ужас. Маргарите было одиннадцать с половиной лет, ей не было страшно. Девочка только удивлялась: как много врагов! Шесть раз ходила на фильм «Цирк» и напевала:

Мэри верит чудеса,
Мэри едет небеса...

Через два года Рабоче-Крестьянская Красная Армия перешла польскую границу и заняла Западную Белоруссию. Вскоре Бориса послали туда на неделю в командировку. Вернувшись, он рассказывал, насколько там лучше с товарами и продуктами, насколько всё дешевле. Для Малке

это не стало открытием. Борис соскучился. Как славно дома. Выпив, он смотрел на летающие за окном жёлтые листья, и ему хотелось закружиться с женой в вальсе. Он впервые заметил, что лица Малке чуть коснулось увядание, а дочь начала превращаться в девушку. Стемнело. У луны была смешная рожица. Он подумал: свет от неё идёт к нам долее секунды.

Ночью в дверь позвонили.

На допросе Борис сказал:

– Меня за кого-то другого принимают.

– Кто принимает?

– Государство.

– За кого тебя принимают?

– За врага существующего строя.

– А ты не враг?

– Нет.

– И ничего не делаешь?

– Делаю.

– Что ты делаешь?

– Наблюдаю жизнь и прихожу к тем или иным выводам.

– Например?

– В экономике Советского Союза сегодня присутствует не только официальный уклад – социалистический. Имеются ещё два уклада: феодальный и рабовладельческий. Колхозники получают образование в советской школе, вступают в комсомол и в партию, избираются депутатами Советов различных уровней вплоть до Верховного, но у них нет паспортов. Поэтому они не могут переехать на жительство в город, они прикреплены к земле, то есть являются крепостными. Теперь о заключённых в лагерях. Они работают бесплатно, лишены всех прав, их, в отличие от колхозников, безнаказанно убивают. Это рабы. Постараюсь объяснить, что я вам не враг. Средневековые феодальные царства и королевства, древние рабовладельческие государства нередко имели громкую историю и развитую культуру. Таков и СССР. Наша страна не готова отказаться от подневольного труда, но с развитием производительных сил неизбежно откажется. Мы с вами вынужденно принимаем зиму, хотя бывают морозы и гололёд; мы не протестуем против лета, хотя случается жуткий зной и засуха. Так и я – принимаю Советский строй с его плюсами и минусами. В том, что он пока такой, его руководители не виноваты. Заметьте, я говорю всё это не в трамвае, не на рынке и не на кухне коммуналки, а в стенах Народного комиссариата внутренних дел Союза Советских Социалистических Республик. Мои слова лягут в протокол допроса, но за пределы данных стен не выйдут. Я никогда не занимался и не собираюсь заниматься антисоветской агитацией – не потому, что это наказуемо, а потому, что я не антисоветчик. Сейчас исповедуюсь перед вами – представителями власти моего родного государства.

Его спросили:

– Всё сказал?

– Всё, – промолвил Борис.

Ему выбили зубы. Глотая кровь, он спросил:

– Можно написать жене?

Ему не ответили.

Последовала неделя пыток. Добились своего: Борис подписал признание в желании убить товарищей Ворошилова и Андреева. Ещё через

неделю в течение пяти минут слушалось его дело, без защитника и свидетелей. Затем Бориса отвели в камеру. Ночью его разбудили, объявили смертный приговор, отвели в подвал и выстрелили в затылок.

Жена и дети не отказались от мужа и отца. Соседям светила комната. Но семью Петрусенко не выслали: репрессивное чудовище насытилось на время. Малке думала: если всё же на небе есть Бог, почему он допускает такое? Ей хотелось умереть.

5

Маргарите уже шёл шестнадцатый год, и мать отпустила её одну съездить в Смоленскую область навестить красноармейца Давида Петрусенко. Брат рассказал, как принимал присягу, и Маргарита подумала: присягу боец принимает не добровольно (попробуй, откажись), а потом за нарушение такой клятвы его сурово наказывают. Давид жалел, что не успел на войну с «белофиннами», сказал, что политрук говорит «товарищ Риббентроп», что командир их отделения – деревенский парень, такой же грубый, как другие командиры, и говорит «можете итить». В этот день – воскресенье – в части был концерт самодеятельности. Давид, к удивлению сестры, оказался солистом в хоре. Он завопил диким голосом «Утро красит нежным светом», и девочка покатила со смеху.

Потом блеснуло солнышко для Малке. Пришла открытка от Натана Лазаревича. Ему уже пошёл шестой десяток. Писал, что счастлив, живёт в родном городе с женой, сыном, снохой, внуком и внучкой, и все шестеро – Гутерман, что с Ханной они женаты двадцать три года, она по-прежнему красавица и очень хочет познакомиться с Малке. Обещал при встрече рассказать сестре, как её разыскал, надеялся найти Злату и Двосю. Мария Лазаревна решила взять в середине лета отпуск. Но спустя две недели, 23 июня 1941 года, пошла в военкомат. Юные тополя роняли зелёные листья, словно зелёные мысли, и в воздухе плавал тополиный пух. Попросилась на фронт, ей отказали. Через месяц был первый воздушный налёт. Немцы летали и летали над Москвой, сколько хотели. Мария Лазаревна бежала от трамвайной остановки к госпиталю, и вокруг сыпались на асфальт осколки зенитных снарядов.

Осенью сдала в химчистку платье и, не успев забрать его, уехала с дочерью и госпиталем в эвакуацию. Смотрела из окна вагона в бесконечную даль. Поезд шёл на Урал. В накуранный тамбур влетал мокрый снег. В сердце были Борис, Давид, Натан и его семья. Даль лилась в глубь души и спасала.

А на Давида ещё летом надели ватник колхозника и послали безоружного, без документов, в разведку. Он плыл на лодке и увидел автоматчиков.

– Ivan! Ivan!

Ему махали, чтобы плыл к ним. Когда Давид ступил на берег, с его головы сняли кепку, открылась стрижка наголо. Ясно: военный.

В начале 1945 года был освобождён лагерь советских военнопленных под Тильзитом. Давида отправили в спецлагерь НКВД, а оттуда после соответствующих проверок в одну из дивизий 2-го Белорусского фронта. Он писал родным: «Гоню и бью гадину». Гадина огрызалась. 20 апреля 1945 года южнее Штеттина Давид был тяжело ранен.

На Урале Петрусенко познакомилась с майором Рафаилом Марковичем Невлером. Мария Лазаревна рассказала ему о судьбе мужа, это майора не испугало и не оттолкнуло. В 1943 году ей разрешили уехать

домой. Но существовали сложности. Выручил Невлер. Он ждал Марию Лазаревну и Маргариту в Ярославле у вокзала. Мать и дочь сошли с поезда, сели в «эмку» к офицеру. В дороге погоны майора два раза усыпляли бдительность проверяющих документы, и до Москвы доехали без неприятностей. Петрусенко пригласила Рафаила Марковича подняться с ними в квартиру. Пили чай без сахара, благодарили майора и желали ему вернуться с войны целым и невредимым. Потом Невлер ушёл, и Мария Лазаревна с Маргаритой с грустью думали, что, наверное, им больше не приведётся увидеть этого славного человека.

Мария Лазаревна пошла в химчистку с сохранившейся с 1941 года квитанцией и как ни в чём не бывало получила своё платье – это было удивительно. Маргариту мобилизовали в разгрузочную колонну. Однажды в Лужниках девушки целый день вылавливали голыми руками в холодной Москве-реке тяжёлые скользкие брёвна и складывали их на берегу. Дочь пешком пришла домой с подружкой, обе были без сил, мокрые, грязные, и Мария Лазаревна, вздохнув, отдала им последнюю половинку куска хозяйственного мыла. Девушки сработали её полностью.

После освобождения Белоруссии Мария Лазаревна написала брату. Надеялась получить ответ. Не получила. Но пришла Победа – радость со слезами на глазах, как скажет позднее поэт. Запомнилась отмена карточек и введение свободной продажи хлеба. Квартира ела белый хлеб и не могла остановиться. Поход против космополитов не коснулся завхоза Петрусенко. А в 1954 году государство сообщило семье, что с Борисом в 1939 году оно ошиблось. Не извинилось. В это время Давид Борисович болел, сказывалось ранение. И вот его не стало. Он никогда, ни разу не упрекнул мать в том, что она выгнала его отца. Последние слёзы, все до одной, вылились в эти дни из глаз матери, но не вылилась из её души любовь к сыну. А потом был звонок в дверь. В квартиру вошёл полковник Невлер, ему было уже под сорок. Маргарите же было тридцать, она почти потеряла надежду выйти замуж. Терять надежду не надо никогда. Чтоб не утомлять читателя подробностями, скажем просто: Рафаил Маркович и Маргарита Борисовна вскоре стали мужем и женой и в положенный срок родили Венечку Невлера. Так сплелись в семье смерть и рождение, горе и счастье. Оказалось, они ходят рука об руку.

Как-то раз из книжки, принадлежавшей сыну, выпал листок. Мария Лазаревна подняла. Это был машинописный текст без подписи.

КОММУНИЗМ

Белые и красные,
Ненависть и кровь.
И такая разная
К родине любовь.

Кто сегодня друг и брат –
Завтра будет враг.
Днепрогэс и Сталинград,
Пытки и ГУЛАГ.

Детских снов подобие,
Как мечта с экрана –
Это не утопия,
Просто слишком рано.

В дали уплывающей
Контуры видны:
Будут все товарищи,
Будут все равны.

Выйдя на пенсию, Мария Лазаревна работала в суде народным заседателем. Взлетали спутники, и она радовалась, не зная, что в ТАСС положили в архив высказывание Шарля де Голля: «Полёт Гагарина – выдающийся подвиг, но Советы должны что-нибудь сделать и для населения». Она бы поспорила с французским президентом. Лавиной хлынули пылесосы, холодильники, стиральные машины, телевизоры, дорогие, а народ брал! Из бараков, подвалов, коммуналок – в новые дома, в отдельные квартиры с собственными ваннами. Дочь возражала матери: пять этажей без лифта. Маргарита Борисовна издевалась над царицей полей кукурузой, над двумя обкомами в каждой области, над коммунизмом через двадцать лет. Напоминала о «кузькиной матери», которую Никита обещал показать американцам (и чуть не показал в 1962 году, обошлось). Она говорила Марии Лазаревне: как тебе Пастернак хуже свиньи? Мать прекрасно всё это видела и слышала сама и отвечала, что да, бывает тошно, а при вожде было страшно. Они мечтали иметь библиотечку. Книжные магазины, как правило, были забиты до потолка орденосной и не орденосной макулатурой. Что-то настоящее можно было достать у спекулянтов, коих среди соседей и знакомых не наблюдалось. А в книжный киоск ЦК КПСС не было доступа даже коммунистам. Когда Маргарите Борисовне исполнилось тридцать шесть, мать подарила ей «Повесть о бедных влюблённых» Васко Пратолини, надписав: «Доченьке на память об итальянских фильмах и обо всём хорошем, что было и будет». Хорошее было. Любимая дочка Маргарита, милый внучок Венечка, славный зять Рафаил Невлер, непыльная работа в суде, приносившая удовлетворение. Правда, в стенах суда Марии Лазаревне порой приходилось сталкиваться с безграничной людской глупостью. В такие минуты опускались руки, хотелось бежать.

Венечка каждый вечер ложился спать с игрушечным самосвалом. Однажды Маргарита Борисовна читала сыну сказку Андерсена, и мальчик спросил:

– Мама, мы можем в домашних условиях завести Дюймовочку?

– Нет. В домашних условиях мы можем завести только сестричку или братика.

Ребёнок помолчал. Сказал:

– Нет. Уж лучше Дюймовочку.

Марии Лазаревне давно хотелось побывать в городе детства, постоять у родных могил. И вот она на западе Белоруссии. Волнуясь, ехала от вокзала. Но не нашла ни дом, в котором они жили с Хае-Этл и Натаном, ни еврейское кладбище. В городском музее ей рассказали, что немцы раздавили это кладбище танками и взорвали синагогу, что до войны в городе жили десятки тысяч евреев, а к приходу наших в 1944 году осталось евреев восемь человек. Ей показали музейный экспонат: пожелтевший список из восьми пунктов. Фамилия Гутерман не значилась. Мария Лазаревна второй раз в жизни подумала: если всё же есть Бог на небе, как он допускает такое? Она не плакала. Вернее, не было слёз на щеках. Плакало без слёз её сердце.

В гостиницу (ей сказали в музее) обращаться было бесполезно. Пожилая вахтёрша предложила Марии Лазаревне переночевать у неё.

Петрусенко взяла в гастрономе бутылочку вина, тортов не было. Весь вечер они вспоминали давние годы. От денег женщина отказалась. На следующий день Мария Лазаревна положила цветы у обелиска в парке, ходила по улицам и к вечеру уехала. Поезд изогнулся дугой, и виден был в красном облаке заката город, уходящий для неё навсегда в прошлое. Потом подъезжали к Москве, и Петрусенко снова, как в 1941 году, смотрела в даль, и опять даль лечила, и думалось, что самое загадочное – в дали, а самое далёкое – в России. После всего пережитого Мария Лазаревна была жива. А назад не надо глядеть, от этого глазам больно. Привезла домой новенький комплект открыток с современными видами родного города: многоэтажные дома, скверы. Показывала дочке, внуку и зятю.

Тем временем Венечка продолжал потешать родителей и бабушку. Весной спросил маму:

– Когда будут свежие насекомые?

Уселись смотреть по телевизору концерт. В оркестровой яме музыканты разыгрывались и настраивали инструменты. Ребёнок решил, что уже начали исполнять симфонию, и сказал:

– Кажется, у них не получается.

К огромному сожалению Марии Лазаревны, недолгая совместная жизнь дочери и зятя кончилась разводом. Мать и дочь не препятствовали встречам Рафаила Марковича с Веней. Сын на всю жизнь запомнил папины рассказы. Невлер-старший особенно любил возвращаться к четырёхдневной войне с Болгарией в 1944 году: стоял сентябрь, было тепло, стрельбы не было, только шли по стране и пили вино с болгарскими мужчинами и женщинами.

Для Марии Лазаревны всё ценней становился каждый день, хотелось провести его с пользой и насладиться безоблачным небом, распушившимся цветком, видом из окна на играющих во дворе детей, вобрать всё это в себя и однажды унести с собой. Скорее всего, там, после, ничего не будет, и уносить некуда, а унести хотелось. Несмотря ни на что, жизнь оставалась прекрасной, даже притом что она не бесконечна, а может быть, именно поэтому.

В суде разбиралось очередное дело. Обвиняемый зашёл вслед за женщиной в подъезд и на площадке первого этажа вырвал у неё сумочку. Она закричала: «Помогите! Да помогите же!» Выскочили два жильца и схватили незадачливого грабителя. На суд он явился в светлом костюме, белой сорочке и модном галстуке. Был хорош собой. Мария Лазаревна давно не встречала такого «интересного мужчину». Два адвоката, государственный и общественный, общались, перебивая друг друга, что в бригаде никто не поверил в случившееся, что в армии обвиняемый дослужился до старшины, а кому попало старшину не дадут, что денег на одного человека в семье потерпевшей приходится вчетверо больше, чем в семье обвиняемого. Короче, его надо было не сажать, а наградить. Петрусенко, никогда не состоявшей в партии, было известно, что означало для коммуниста потерять партбилет, а партбилет женщины в тот день как раз лежал в сумочке. И когда судья предложила два года химии, Мария Лазаревна согласилась. Она шла домой, вдруг ей стало плохо.

Прожить бок о бок с родным человеком сорок два года и ни разу не посориться невозможно. Но когда Маргарите Борисовне врач показала снимок... Посреди мозга живой матери лежал серый блин опухоли. И дочь простила обиды, простила всё.

Были хлопоты: кремация, поминки. Вечером гости разошлись. Маргарита Борисовна проснулась под утро, и до неё дошло, что маму сожгли, её прах закопают, никогда мамы больше не будет, никогда она маму больше не увидит. Дочь содрогалась в постели.

6

Вениамина беспокоило, что мать держит в квартире записи Александра Галича. Но Маргарита Борисовна не боялась. Потом пришло время, когда прекрасные книги, отечественные и переведённые на русский, заполнили магазины. Маргарита Борисовна жалела, что до этого не дожидаясь мамы, и иногда баловала сына и себя чем-нибудь симпатичным в бумажной обложке. Она на седьмом десятке ходила на начавшиеся митинги и демонстрации. Ей казалось, что над страной блеснул луч рассвета, луч надежды, что стоит убрать родную партию – и начнётся жизнь как в Швеции. А экономика разваливалась. В московские магазины стали пускать только москвичей. Маргарита Борисовна пришла к универсаму и увидела толпу, напиравшую на стоявшую в дверях продавщицу. Все совали в лицо несчастной женщине, придавленной к стене, прописку, а у той уже не было сил смотреть в паспорта. В магазине Маргарита Борисовна встала в очередь. Продавщицы кричали:

– Касса! Творогу осталось две упаковки!

– Касса! Кефир не пробивайте!

Продовольственные товары исчезали и вскоре исчезли совсем. Долго красовались в одиночестве банки с берёзовым соком, потом и их не стало. Однажды Вениамин увидел у Никитских ворот тянущуюся из дверей булочной очередь и пристроился к ней. Перед ним в очереди стояли две женщины, одна из них сказала:

– Хоть бы нас НАТО завоевало. Тогда продукты появятся.

Через сорок пять минут Вениамин купил кило (больше в одни руки не давали) ломаного печенья. Дома у них с мамой был пир: печенье с чаем.

Потом Егор Тимурович отпустил цены, и продукты вернулись с чёрного хода на прилавки. Маргарита Борисовна утром 2 января 1992 года пришла в магазин, в котором два дня назад было хоть шаром покати, и покачнулась от увиденного изобилия. Было всё, чего могла пожелать душа, от самого обычного до деликатесов. Только покупателей не было. В углу безлюдного зала стояла одна старушка, которая посмотрела на ценник «колбаса 34 рубля килограмм» и произнесла:

– Рехнулось государство!

В разлуке с матерью Маргарита Борисовна постепенно забывала её. Это не преступление, за это судьба не наказывает несчастьем или горем. Но Мария Лазаревна, уйдя при свете солнца, в часы повседневных забот Маргариты, из сознания дочери, скучала по ней и долгие годы приходила к ней по ночам, пока не решилась позвать к себе.

В сто пятнадцатую годовщину со дня рождения Малке, 16 апреля 2013 года, Вениамин Рафаилович Невлер открыл коричневую шкатулку, замочек которой давно отказал, и выложил на стол её содержимое. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» дяди – Давида Борисовича, юбилейные медали «За доблестный труд», вручённые маме и бабушке, и собственные реликвии: вузовский значок и медаль к 850-летию Москвы. Он сидел, пил безалкогольное немецкое пиво и опять, как в детстве, был сицилийским

мафиози и прокурором Гаваны; опять проходил в восьмом классе скучнейший «Вишнёвый сад» (там ничего про хоккей!).

Очень далеко, на бульваре Райниса, жила его первая любовь – Римма Самойлович, ей было восемнадцать, она играла на гитаре и пела не хуже, чем Мирей Матьё. Он работал по доставке документов, по вечерам учился в МИСИ. Наивное письмо курьера не перевернуло ей душу. Затем была психолог Юлия Афанасьевна Мангушева, тёплая, добрая, спокойная, домашняя, с которой он жил одиннадцать лет, был счастлив, но рано или поздно всё на свете кончается: деньги, лето, любовь. Не женился ни тогда, ни потом, не завёл детей, нет внуков. Ну и что? Может быть, судьба уберегла его от холода, лжи, ненависти, скандалов, разводов, разменов, алиментов. Он одинок, никого у него нет. Но никому он не в тягость, и никто не ждёт его смерти.

Пиво было прохладное. Он провёл рукой по глазам. Даже Пушкин «с отвращением читал жизнь свою». Вернуться бы на сорок лет назад. Ведь мог бы прожить по-другому, всё сделать по-другому. А нужно ли по-другому? Он всю жизнь честно работал и кое-чего добился, его, видимо, не ждёт бедная старость. А жизнь устоялась. На прилавках товары, продукты, книги, лекарства. В доме холодная и горячая вода, газ, свет, со двора вывозится мусор, в квартире покой, тепло и тишина. Вам нужен слесарь и электрик? Диспетчер их пришлёт, хотя и не сразу. Хотите съездить за границу? Государство отвечает: «Ради бога». Насовсем туда? Государство отвечает: «Пожалуйста. Даже буду рад». По телику, бывает, несут ахинею, но слушать это не обязательно. Нет погромов и гражданской войны. Для отечества, повидавшего многое, это совсем не мало. Вениамин Рафаилович вспомнил: Твардовского спросили, любит ли он евреев. Александр Трифонович ответил: «Почему я должен их любить?» «Действительно, – подумал Невлер, – зачем нас любить? Просто оставьте нас в покое».

Крышка шкатулки за восемьдесят восемь лет потемнела, но стихи на ней читались легко. Дедушка подарил бабушке в день её рождения, на внутренней стороне крышки выгравировано: «Дом отдыха имени Костюшина. 16 апреля 1925 года». Боже, кто этот Костюшин?

СБЕРЕЖЕНИЯ, КИСЕЛЬ И ЛОЖЕЧКА

Родители Адриана Сорокина работали в Монгольской Народной Республике, в городе Эрдэнэт. Их сыну было шестнадцать, он жил в московском районе Хамовники у папиной мамы Лии Тимуровны Сорокиной. Повесил над кроватью фотографию Владимира Федотова – лучшего бомбардира футбольной команды ЦСКА.

В эту весну Адриан охладел к Наташе Нененко – первой своей любви. Её место в сердце парня заняла Ева Крылова.

Пэтэушники соскучились по футболу. На территории стадиона имени Ленина были широкие газоны. Когда снег сошёл и подсохло, ребята поехали в Лужники, погоняли на газоне мяч. Сорокин устал. Додумался: лёг спиной на траву и полежал минут десять. Через день – температура сорок. Скорая отвезла в больницу. Двухстороннее воспаление лёгких.

Соседей в палате было трое.

Тридцатипятилетний Бушманов, лежавший здесь уже третий месяц, рассказывал, что в молодости работал шесть лет в Госархиве техническим сотрудником, одновременно учась на вечернем отделении профильного факультета. Получив диплом, принёс и вручил его заверенную копию начальнику отдела кадров, сказал: «Вам, наверное, нужно?» Тот удивился: «Мне? Это вам нужно». То есть в учреждении, где хранятся миллионы документов, где всё пронизано историей, кадровику было безразлично, какое образование у сотрудника: вечерняя школа рабочей молодёжи или истфак МГУ. Бушманов вывел заключение: здесь делать нечего. Уволился и устроился учителем. В школе увидел: маленькие боятся хулиганить; старшие понимают, как себя следует вести. А средние – шести- и семиклассники, которых администрация спихнула ему, неопытному шкрабу, – уже не боятся, но ещё ничего не понимают. На уроках они и не думают слушаться, а на переменах в коридоре творится битва народов под Лейпцигом. Он вернулся в тихий архив. За последовавшие затем десять лет пришёл в себя.

Второй больной – одинокий пенсионер Выжимов – был ветераном Великой Отечественной войны, артиллеристом. Имел медаль «За освобождение Белграда». Демобилизован он был осенью 1945 года в звании капитана; пришёл домой с целыми руками и ногами, с лёгкой контузией. Сорокин – тоже болельщик ЦСКА – ему пришёлся по душе. Он сказал Адриану, что народ в Югославии хороший, а правители плохие. Интересовался международным положением. Высказал мнение, что во всём мире политики думают одно, говорят другое, делают третье. Обрадовался, что 9 Мая стало нерабочим днём.

Третий – молодой крановщик Айрапетов – рассказывал анекдоты про евреев. Сокрушался, что милка без чехла не пускает.

По вечерам эти трое смотрели в холле телевизор; узнали, что в США запатентованы подгузники «Памперс»; что советский писатель Сергей Сергеевич Смирнов предложил организовать в День Победы шествие фронтовиков от Белорусского вокзала по улице Горького и чтобы москвичи с тротуаров засыпали спасителей Отечества цветами. Мария Пахоменко исполнила песню «Опять плывут куда-то корабли».

Адриану доктор не велела ходить в холл: слаб ещё.

Из-за рвоты белки в глазах Сорокина залила кровь. Он смотрелся в зеркало: вдруг это навсегда?

Приехала Лия Тимуровна, ужаснулась красным глазам внука. Спросила:

– Адя! Чего тебе хочется?

– Киселю бы я попил. Бабуль! Дома в шкафу, в моём пиджаке лежит билет за рубль двадцать на футбол, на 2 мая, в Лужники. ЦСКА – «Торпедо». Предложи его Герману.

Их сосед по подъезду, официант Герман, болел за автозаводцев.

Сорокина ушла. Адриан достал из оставленного ею пакета баночку дефицитной зернистой лососёвой икры и консервный нож. Отдал банку и нож мужикам, соврав, что не любит икру.

Ему совершенно не хотелось есть. Чего ему хотелось? Чтоб его навестила новая подруга Ева Крылова.

Бушманов описывал, как дежурил в приёмной архива. Посетитель, довольный полученной от дежурного информацией, поставил ему на стол большую бутылку белорусского спирта. На требование архивиста «уберите» мужик обиделся: «Что мне, домой её везти?» В результате специалист, равнодушный к сивухе, принёс презент в отдел и спросил коллегу: «У тебя бывают гости, которые пьют спирт?» Тот сказал: «Бывают». Бушманов отдал бутылку сослуживцу. Того потом два дня не было на работе: пил дома с женой.

В палату вошла докторша, осведомилась:

– Сорокин, как самочувствие?

– Ничего.

Пенсионер сообщил ей:

– Он болельщик ЦСКА.

– Наверное, кроме футбола, ничем не интересуется, – предположила врач.

Адриан защитил свою репутацию:

– Почему? Я на радиомонтажника учусь.

Бушманова выписали. Благодаря больничному листу остались целенькими его авансы и получки. Он на прощание сообщил: его жену, работающую в главке, включают в очередь на туркменский ковёр. Ковёр они повесят на стену: будет шикарно, родня будет завидовать да и звукоизоляция улучшится.

У Айрапетова на работе тоже копились бабки. Он собирался купить у прораба финскую сантехнику.

Сорокин играл с крановщиком в шашки на пустовавшей койке Бушманова. Пришла медсестра с целью сделать Адриану укол в вену, вынула из коробки шприц и увидела, что шприц пустой. Побледнела, ушла. Сорокин избежал гибели.

Ему приснился кошмар. Он, совершенно голый, шёл по многолюдной улице, вошёл в троллейбус. Чувствовал себя ужасно неловко, не-

удобно; хотелось одеться. А народ вокруг не обращал на него ни малейшего внимания. Как же так? Если он хулиган – надо его в милицию, если псих – в клинику. Никто не реагировал.

Настал день посещений. Сорокин смотрел в окно на синее небо, на тополя и надеялся увидеть во дворе идущую к нему Крылову. Приехала бабушка. Он с удовольствием лакал из литровой банки прохладный кисло-сладкий кисель, сознавая, что Лия Тимуровна в семьдесят пять лет ездила за клюквой на рынок. Она спросила:

– Рвота прошла?

– Да, бабуль. Здорово, что изобрели пенициллин. Герман купил билет?

– Купил, да ещё спасибо сказал.

Старика Выжимова никто не навещал. Оставалось много киселя, и Адриан отдал банку ветерану. Того за воротами больницы ожидали две нетронутые пенсии, в результате ему должно было хватить средств на зимнее пальто с каракулевым воротником.

Бабушка привезла внуку книжку «Монгольские сказки и притчи».

Одна из притч зацепила парня: «Слепило солнце. Одиноким всадник закрыл глаза и обратился к богам с мольбой: поменять яркий золотой свет на серебряный блеск луны и звёзд. Боги исполнили просьбу. Однако только батыр поскакал дальше, как ночные светила исчезли с небосвода, вокруг легла мгла, а кошель всадника наполнился серебряными дирхамами, в одно мгновение человек стал зажиточным. Но тьма была невыносимой. Богач затосковал по ясному дню, захотел его вернуть. Он на скаку растянул кошель и сыпал из него монеты, пытаясь выкупить у богов сияющее солнце. Серебряный поток лился в дорожную пыль и не иссякал. Человек подъехал к озеру, остановил коня и продолжил сыпать дирхамы, теперь уже в чёрную воду. Но опять не пустел кошель, всадник оставался баем, более богатым, чем Великий нойон. А восток не светлел во мраке».

Адриан понял: сказка – про него. Он сам лишил себя солнечного света – Натуси Нененко. Она обязательно навестила бы его, и не раз.

Вылезла из почек и ласкала взор зелёная листва тысяча девятьсот шестьдесят пятого года. Сорокин шёл на поправку. Кровь из глаз ушла, белки побелели.

Второго мая армейцы свели матч с «Торпедо» вничью, по нулям. Федотов не забил, но и вратарь Баужа не пропустил.

После очередного свидания с бабушкой Адриан развернул привезённый ею свёрток. Увидел баночку из-под майонеза, наполненную винегретом, с завинченной крышкой. Рядом с винегретом лежала завернутая в белую бумажку чайная ложка – чтоб внуку не пришлось ходить и просить ложку у медсестёр и санитарок. На глаза парня навернулись слёзы.

С той весны прошло пятьдесят шесть лет. За это время Адриан Витальевич охладел к футболу, разочаровался в плановой экономике и бесплатной медицине. Вспоминаемая молодость, сознаёт, что бывал наивен и глуп, но не был подл и низок. Два года назад слетал с супругой Натальей Леонидовной Сорокиной (в девичестве Нененко) в Будапешт.

Бабушкину ложечку помнит.

Андрей УХЛИН

Родился в 1986 году в городе Выксе Горьковской области. Окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, вернулся в родной город и работает по специальности инженером-конструктором на Выксунском металлургическом заводе.

Публиковался в периодике, коллективных сборниках. Неоднократный участник Межрегионального слета молодых литераторов в Большом Болдине.

БОГ ТЕРПЕЛ...

Люди гибнут за металл!

Куплеты Мефистофеля
из оперы Гуно «Фауст»

Мария Ивановна Маточкина, теплотехник по образованию, после окончания техникума поступила на завод, где и проработала всю жизнь. Год назад Мария Ивановна вышла на пенсию и могла бы оставить работу, но дочь её оканчивала университет и ещё нуждалась в помощи родителей. Мария Ивановна подумала и решила остаться еще на годик-другой, тем более с завода её никто не гнал, она была на хорошем счету, да и сил пока хватало.

Мария Ивановна занимала должность старшего оператора. Основной ее обязанностью было обслуживание водогрейного котла, используемого для отопления жилых районов города. Высотой с пятиэтажный дом, эта машина чем-то напоминала дракона: в топке котла, в чреве его, стоял невыносимая жар – горел газ; внутри огненного брюха, покрывая его поверхность, змеями расползались сотни труб, в которых кипела вода; дым же попадал в огромную трубу, наподобие длинной шеи огнедышащего чудовища, и вырывался наружу.

Совсем недавно на должности начальника котельной произошла смена поколений. Молодой руководитель рьяно взялся за работу – защитил проект преобразований с мудрёным названием «модернизация системы рециркуляции дымовых газов». Смысл её заключался в использовании тепла отработанных дымовых газов: часть дыма забиралась из дымопровода на выходе из котла и перенаправлялась на горелку, что увеличивало температуру в топке. Благодаря этому уменьшалось количество природного газа, необходимого для нагревания одного грамма воды, а следовательно, и стоимость калории тепла.

Осуществить этот замысел, как говорится, сам бог велел, ведь данная система, а именно дымоходы, вентиляторы и прочее оборудование, существовала с момента строительства котельной, но по каким-то причинам не использовалась. Оставалось лишь заменить устаревшее оборудование, отремонтировать кое-какие детали, и дело сделано. К началу нового отопительного сезона система рециркуляции была готова к использованию.

Персонал котельной воспринял грядущие перемены с тревогой. Никто не ждал ничего хорошего от этой рециркуляции. Инженер по эксплуатации, занимавшийся разработкой режимной карты, день ото дня становился все мрачнее. «С этой рециркуляцией невозможно свести концы с концами», – ворчал он, не скрывая раздражения, ведь срок сдачи карты давно прошёл. Оставалось несколько дней до пуска котла, и нервы у всех были на пределе.

В тот год пуск котла был запланирован на смену Марии Ивановны. В назначенный час на площадку прибыли начальник котельной, начальник смены и представители газоспасательной службы. Система была заполнена водой, в топку пущен воздух, тяга проконтролирована, а на запальнике горело голубовато-фиолетовое с жёлтыми прожилками пламя. Оставалось пустить газ на горелку. Все замерли в ожидании, обратив свое внимание на Марию Ивановну, которая вот-вот должна была открыть задвижку. Что-то подобное случается, когда за праздничным столом открывают шампанское, а гости морщатся в ожидании хлопка. Мария Ивановна пустила газ, после короткой паузы случился хлопок, и на горелке появился ровный язык пламени, поднимавшийся вертикально вверх. Котел был пущен. Оставалось отрегулировать его параметры в соответствии с выпущенной-таки режимной картой, и в квартиры, где масляные обогреватели пожирали сотни киловатт электроэнергии, придет долгожданное тепло!

Спустя неделю начали тестировать систему рециркуляции. Сперва дым на горелку подавали в малых объемах, но уже эти изменения негативно сказывались на работе котла: пламя становилось неустойчивым, билось из стороны в сторону, а вибрация заметно усиливалась. «Что у нас в режимной карте? – задалось вопросом начальство на очередной планерке. – В два раза больше? Надо добавлять!» Начали добавлять... Котел трясло, пламя рвало, и становилось откровенно страшно находиться рядом. Руководители сочли, что вибрации и нестабильность пламени находятся в пределах нормы. Работу котла решено было продолжить в заданном режиме.

* * *

Кто-то из поэтов сказал, что люди привыкают ко всему. Вот только к зверю, который рычал, дрожал и, казалось, в любую минуту был готов разорваться, привыкнуть сложно. Мария Ивановна так и не смогла. Ей было страшно идти на работу, и на протяжении смены она находилась в сильном волнении. Одного этого, кажется, было достаточно, чтобы взять листок бумаги и написать заявление об уходе. Но Мария Ивановна была не из тех, кто боялся трудностей. Она привыкла их преодолевать. Весь её жизненный опыт был – преодоление.

Дело в том, что Мария Ивановна относилась к числу людей, про которых говорят: кто везет, на том и едут; более того, если бы кто-нибудь однажды предложил Марии Ивановне не везти, а ехать, она бы наотрез

отказалась. Отчего в жизни Марии Ивановны всё было именно так, а не иначе, она не задумывалась. Она называла себя человеком дела и часто говорила, что трудиться ей гораздо проще, чем рассуждать «зачем да почему?». Наверное, именно поэтому её не посещала мысль об увольнении. Мария Ивановна продолжала преодолевать испытания, которые посылала ей судьба; а та, к слову, оказалась удивительно щедра на всякого рода неприятности.

* * *

Дымопровод, по которому отработанный дым подавался на горелку, проходил под полом, в канале. Спустя какое-то время после пуска системы рециркуляции работники стали замечать дым, который медленно поднимался вверх и рассеивался в двух-трёх метрах от пола.

Поначалу никто не придавал этому никакого значения. «Дым и дым, мало ли на заводе дыма?» Но вскоре заговорили про угарный газ, про его отравляющее действие. Уж не знаю, кто первым произнес вслух эти слова – «угарный газ», – но вскоре они раздавались на каждом шагу. Все возмущались, все ругали начальство до пены на губах и хрипоты, одна Мария Ивановна молчала и не подавала виду.

* * *

Глядя в прямоугольник зеркала, вдавленного в штукатурку, Мария Ивановна убирала в хвост жидкие русые волосы. Она давно перестала следить за собой и не любила подолгу засматриваться на свое отражение. Помещение операторской, где происходил утренний туалет, мало изменилось с того момента, когда она впервые вбежала сюда двадцатилетней девчонкой, в отличие от самой Марии Ивановны, на лице которой виднелись глубокие морщины. Щиты управления, побеленные потолки, стены, окрашенные темно-зеленой краской, стол, телефон и сменный журнал. О том, что нынче на дворе не начало восьмидесятых, а две тысячи пятнадцатый, указывал разве что старенький компьютер да кондиционер, установленный на исходе лета.

Дверь отворилась, и монотонный гул, доносившийся, казалось, откуда-то издалека, вдруг приблизился и снова отдалился, как только захлопнулась дверь. В помещение вошёл коренастый пожилой мужчина с гладко выбритым лицом. Вид у него был суровый, но как только он заговорил, повеяло доброжелательностью.

– Здравствуй, Маша! Как жива-здорова?

– О, Виктор Сергееч! Здравствуй! Жива, здорова, слава богу! – по лицу Марии Ивановны скользнула еле заметная улыбка. – А я тебя жду не дождусь сегодня. Дымопровод-то у нас худой совсем, дым стеной стоит.

Виктор Сергеевич был инспектором газоспасательной службы и наезжал в котельную каждую неделю с обходом. Они отправились к дымопроводу и осмотрели канал. Виктор Сергеевич убедился, что утечки дыма действительно имеются, сделал какие-то записи в блокноте и обещал принять меры.

Спустя три дня в операторскую вошёл начальник котельной.

– Мы с вами, Мария Ивановна, в одной лодке плывем или как? – с порога заявил Начальник. – Вы всё жалуетесь...

Внутри у Марии Ивановны как будто что-то зашевелилось, кровь ударила в голову.

– Интересное дело, я не на пустом месте жалуясь, – выпалила она от неожиданности.

– И какие же у вас основания, интересно знать? Сидите всю смену в операторской, а дымит возле котла.

Мария Ивановна на минуту задумалась, приходя в себя.

– А кондиционер? Воздух-то не с улицы, а из цеха забирается. Но главное, мы ведь полы уже не первый год во всей котельной сами моем. Уборщиц-то всех сократили! Пока там всё протрёшь, вдоволь надышишься.

– Гм... – кашлянул Начальник. – Ничего, раз за смену помыть, можно и потерпеть. Вы СИЗами обеспечены, пользуйтесь респираторами. А по поводу кондиционера – у нас в котельной стоит датчик задымлённости, и показания его в норме, – последние слова были брошены уже по дороге к выходу.

Мария Ивановна отлично знала о существовании датчика, о том, что он находится под кровлей, о том, что дым рассеивается, пока пролетает эти двадцать метров, что в стенах зияют щели и во многих местах разбиты окна. От обиды внутри что-то задрожало, и она, сама того не желая, произнесла:

– Да вам-то что, у вас рабочее место в АБК. Вы рацпредложение защитили, денежки получили, и гори все синим пламенем! О людях-то никто не думает.

Начальник приостановился перед выходом и, не оборачиваясь, спокойным тоном проговорил:

– За воротами места много, вы сами знаете, незаменимых у нас нет. Если вас что-то не устраивает, берите бумагу и пишите заявление. – В операторскую снова проник однотонный гул и оборвался хлестким хлопком двери.

* * *

Заявление Мария Ивановна писать не стала, она продолжала ходить на работу и терпеть. Через некоторое время желание что-либо изменить сошло на нет. Она думала, что ей себя упрекнуть не в чем, что она хотя бы попыталась. В этих мыслях она постепенно нашла успокоение. В конце концов, холода небесконечны, придет весна, принесет с собой тепло, солнце, и котел остановят. А пока можно и переждать немного.

Вскоре поползли слухи о закрытии котельной, о сокращении. Теплотрасса, по которой вода поступала в жилье, была многокилометровой, потери тепла – значительны. В конечном счете где-то наверху было принято решение о строительстве новой котельной неподалёку от микрорайона.

Мария Ивановна, обычно остро переживавшая любые перемены, на этот раз была удивительно спокойна. «На всё воля божья», – говорила она, забываясь какими-нибудь хозяйственными делами.

В апреле Мария Ивановна отработала свою последнюю смену на заводе. Весна выдалась теплой и солнечной – природа улыбалась, и Мария Ивановна вместе с ней. Увольняясь по сокращению, она получила немного денег и осуществила свою давнюю мечту – построила курятник. Летом Мария Ивановна много времени проводила в огороде: полола, окучивала, поливала. После работы она любила качаться в садовых качелях и наблюдать за курами. Они сосредоточенно расхаживали по двору, время от времени поднимая с земли зёрнышко. Рядом с ними,

горделиво демонстрируя всем свой яркий гребешок, чинно прогуливался петух. Мария Ивановна думала: «Что ещё можно желать от жизни?» – и не находила ответа.

Вскоре Марию Ивановну стал беспокоить кашель. Глухой и сухой, он неотступно следовал за ней повсюду. Лишь сон приносил некоторое облегчение. Со временем кашель начал проявляться в виде приступов, сменяющихся удушьем и слабостью. Мария Ивановна обошла всех местных врачей, и все ставили разные диагнозы. Таблетки, сиропы, ингаляции – деньги потекли рекой. В областной поликлинике, куда она поехала по совету подруги, Мария Ивановна узнала, что у неё астма. Врач объяснила, что заболевание это серьезное, но при правильном лечении с ним вполне можно жить полноценной жизнью. Мария Ивановна вернулась домой в хорошем расположении духа. Лечение пошло ей на пользу, но поздней осенью она простудилась и оказалась в больнице.

За окном палаты инфекционного отделения, на ветке беспорядочно разросшегося в сквере американского клена, висела кормушка. Мария Ивановна, сидя у окна, из щелей которого потягивало холодком, наблюдала за воробьями, клевавшими пшённую крупу. На улице с утра шёл тихий, продрогший дождь. Листья давно опали, и сквозь голые ветки проглядывало небо, на котором громоздились серые кочки облаков. Воробьи подлетали, клевали пшено, стряхивали капли дождя и, растрепанные, прыгали на соседние ветки, расправляли и чистили пёрышки. По веткам деревьев текла вода, свисала на кончиках и падала на землю. Из раскрытого канализационного колодца, словно дым, поднимались облака пара. Дождь сеял настойчиво. Казалось, будто небеса разрыдались. По щекам Марии Ивановны катились слёзы, и капали на облупившийся подоконник.

* * *

Спустя пару недель состояние Марии Ивановны улучшилось, и вскоре её выписали из больницы. Пришла долгая снежная зима. Мели метели, завывали ветра, и землю укрыло мягкое белоснежное покрытие. Со створок старинного серванта на Марию Ивановну смотрели её дети, разъехавшиеся по миру кто куда, братья, сестры, близкие и дальние родственники. Пёстрая пушистая кошка Мурка, получившая свое прозвище отнюдь не случайно, запрыгивала на колени и заводила свои трели. Мерно тикали часы. Дом погружался в медленную дремоту.

Мария Ивановна стала чаще бывать в церкви. Она любила слушать пение церковного хора, и иной раз на глаза её наворачивались слёзы. Из храма она всегда возвращалась умиротворенная. На душе становилось светлее и праздничнее, а сама жизнь и уклад её казались правильными и справедливыми. Вскоре она устроилась на работу в церковную лавку, продавала прихожанам свечи и иконы. Мария Ивановна любила свою работу, вела дело точно и собранно и во всем знала порядок.

Время шло: миновала весна, отгорело лето, вот уж на исходе был август и на деревьях появилась первая жёлтая листва. Мария Ивановна ездила на работу и с работы на автобусе и садилась всё на одно и то же место у окна. Маршрут проходил мимо котельной, где она трудилась больше тридцати лет. Она видела огромный экскаватор с рукой-ножницами вместо ковша, который играючи перекусывал стеновые бетонные панели. Снос здания занял не больше двух недель. Промышленные альпинисты по кирпичику разобрали дымовую трубу, сварщики раз-

резали на кусочки котел, строительный мусор был вывезен, площадка расчищена, и к зиме уже ничто не напоминало о том, что когда-то здесь была котельная.

Странное чувство испытывала Мария Ивановна, изо дня в день наблюдая из окна автобуса, как стирается с лица земли её прошлая жизнь. Вспоминалось почему-то всё хорошее: дни рождения коллег, улыбки, смех, Новый год в ночную смену, солнечные лучи, пронизывающие пространство цеха. Странная всё-таки штука – память! Она старательно вычищает всё плохое – зло, обиды, непонимание, – оставляя нам радость, улыбки, свет. Нет, конечно, мы помним зло, боль. Душевные раны время от времени напоминают о себе. Но они где-то далеко, за пеленой дней, в прошлом. А добрые воспоминания, они всегда рядом, человек к ним тянется, как цветок тянется к свету.

Сидя на своем привычном месте у окна, Мария Ивановна обратила лицо навстречу закату. Плотная пелена темно-синих облаков укрывала небесный свод. Только на горизонте оставалась узкая полоска чистого неба, в которую спускалось светило. Мягкий свет разливался по земле. Марию Ивановну всегда зачаровывали закаты. Огромные планеты, вращающиеся вокруг Солнца, Земля, Луна, звезды... Это невозможно было себе представить и в то же время – происходило прямо на её глазах, на глазах обыкновенной женщины, трясущейся в автобусе по дороге домой. В такие моменты она ощущала себя частью мира, маленькой, но полноценной частицей какого-то невероятно сложного, непостижимого механизма под названием жизнь!

* * *

Уже на протяжении долгого времени Марию Ивановну беспокоило сердцебиение. Смотря телевизор или читая книгу, она вдруг начинала ощущать стук сердца. Мария Ивановна беспокоилась, не могла найти себе места, звонила сестре, искала компании, что раньше случалось с ней редко. Сердце не болело, но как-то давило изнутри, теснило грудь.

Как-то раз у неё закружилась голова и потемнело в глазах. Добравшись до дивана, Мария Ивановна обнаружила, что у неё не прощупывается пульс, и вызвала скорую помощь. Сердце то строчило со страшной скоростью, то вовсе замирало. В ожидании скорой она металась по дому, но после очередного приступа головокружения заставила себя сидеть. Вскоре прибыла помощь. У Марии Ивановны сняли кардиограмму, положили её на носилки и увезли в приемный покой. Умерла она на следующий день, в пять часов утра, от острого инфаркта передней стенки левого желудочка, вызванного хронической сердечно-лёгочной недостаточностью.

Лев ГРИГОРЯН

Родился в 1980 году в Москве. Окончил Российский государственный гуманитарный университет. Работал переводчиком с итальянского языка. Сотрудник Института научной информации (ВИНИТИ) РАН.

Рассказы, сказки и стихи публиковались в журналах «Нева», «Нижний Новгород», «Дарьял», «Веси», «Литературная Армения», «Северо-Муйские огни», «Огни Кузбасса» и других журналах и альманахах. Живет в Москве.

АЛИСА

Олег устало бредёт по лесной тропинке.

– Найда! Найда! – зовёт он, уже без всякой надежды. Прислушивается. Ни шороха. Только птицы щебечут где-то далеко-далеко.

«Сгинула собака. Пропала», – думает Олег, до боли закусив губы.

Ему хочется плакать, но он сдерживается. Олег верит: в пятнадцать лет люди не плачут. Настоящие люди. Олегу хочется быть настоящим. Вернее, раньше хотелось. Теперь ему всё равно. Найда пропала в лесу. Больше он её не увидит.

Пора возвращаться в посёлок, но Олег продолжает идти. Шагает упрямо.

– Найда! – но эхо безмолвно гаснет вдали.

Неожиданно лес расступается. Впереди простор – луг. Трава в сумерках кажется фиолетовой.

Справа столб, слегка покосившийся, клочья порванной проволоки. Слева такой же столб стоит прямо, уцелели две-три жерди забора.

Олег замирает. Не сразу ему становится ясно, куда он забрёл. Бывший воинский полигон. Сюда ходу нет.

У полигона в посёлке дурная слава. Говорят, здесь в земле сохранились неразорвавшиеся снаряды. Наступишь – и нет тебя. Были слухи: заигрались когда-то мальчишки, хотели откопать старинную железяку, ну и...

Олег мотает головой, отгоняя пугающий образ. Тётя Шура частенько пересказывает поселковые сплетни-страшилки, но где правда, где выдумка – не разберёшь.

Вообще тётя Шура человек неплохой, но бывает порой раздражительна. Астма её мучает, а от астмы у любого характер испортится. Вот в раздражении и начинает всякие страсти-мордасти припоминать. Или изрекает предостережения, одно другого мрачнее.

«– Говорила тебе, не выпускай собаку без поводка, – вспоминается Олегу некстати. – Сбежит, как пить дать сбежит. Не найдёшь потом свою Найду».

– Найда! – зовёт Олег. Приставив ладонь козырьком ко лбу, всматривается в даль, медленно обводит луг взглядом от края до края. Ведь для собаки нет запретных зон. Ей хоть забор, хоть вывеска – читать она не обучена.

Еле слышный плеск доносится со стороны луга. Разве там река? В предвечерней мгле не разобрать.

Отбросив сомнения, Олег шагает вперёд. Зовёт – снова и снова. Плеск становится ближе.

Олег вдруг останавливается, едва не замочив ног. Перед ним водная гладь, а на ней колеблется бледный серпик луны. Отражение. Озеро. Да, конечно. Тётя Шура говорила что-то про озеро. Озерцо на краю полигона. Олегу вспомнилось даже название – Теен-Куль.

По поверхности озера проходит рябь, плеск повторяется совсем близко, и Олег неожиданно замечает: в воде кто-то есть. Человек. Девушка. Олег видит лицо, миловидное, худенькое, с заострёнными скулами, обрамлённое длинными волосами: девушка плывёт к берегу, навстречу ему, Олегу.

Незнакомка плещет ладонью, и брызги окатывают Олега с ног до головы. Он невольно отступает на шаг.

– Привет! – слышит он голос – негромкий, тонкий, будто искрящийся озорными смешинками. – Не бойся. Вода тёплая.

– Я и не боюсь, – насуپленно отвечает Олег. – Я собаку ищу. А ты кто такая?

Вопрос звучит грубовато, но девушка не обижается. Она выбирается на берег. Волосы струятся по её плечам, спадают на грудь. Сумерки уже сгустились, но в свете луны Олег замечает – волосы девушки переливаются зеленью.

«Модница», – думает Олег. А больше ничего подумать не успевает, потому что вдруг понимает: девушка голая. Совершенно.

– Я – Алиса, – отвечает девушка, приглаживая руками волосы. – Инопланетянка. Из созвездия Дельты Лиры. Не веришь?

И она смеётся заливисто, а у Олега пылают уши. Он, конечно, имеет представление, не какой-нибудь дошколёнок, и вообще. Но одно дело картинки, фотографии, а тут...

– Не бойся, – повторяет девушка, забавляясь его замешательством. Она кажется чуть старше Олега, от силы на год. Больше всего Олега поражает, что она ничуть не стесняется. – Мы, инопланетяне, мирные. Желаем людям добра.

Она улыбается и протягивает Олегу руку:

– Окунёмся? Тут неглубоко. И можно луну ладошками ловить. Очень весело.

Но Олегу совсем не весело. Он неуклюже отстраняется, не зная, куда смотреть, о чём думать...

«Найда», – затахает прежняя мысль, и он хватается за эту мысль, как за соломинку.

– Ты собаку не видела тут? – голос звучит неожиданно хрипло. – Небольшая такая, рыжая. Спаниель. Я с утра ищу. Весь посёлок обегал, нигде нету, и в лесу нету, и здесь тоже нету.

Олег говорит, не останавливаясь, и от звука привычных слов сознание успокаивается, удивление утихает.

«Подумаешь, голая девчонка, – ловит он свою мысль. – Тоже мне диво».

– Спаниель, – повторяет Алиса задумчиво. – Четыре ноги, голова, хвостик.

– Зовут Найдой, – сообщает Олег. – Это наша с тётей Шурой собака. Тётя Шура – поселковый почтальон, может, знаешь? Ты в посёлке-то была хоть раз? Там, за лесом? – Олег неопределённо машет рукой: тропинка петляла, и он не может точно сказать, в какой стороне посёлок.

Алиса поднимает с травы сарафан, одевается молча. Белая ткань чуть искрится в свете ранней луны. Олег сконфуженно глядит себе под ноги. Ему хочется поднять взор, но он не решается.

Алиса разглаживает складки на сарафане, поправляет бретельки. Поворачивается к Олегу.

– Там твой посёлок, – она уверенно показывает рукой. – А ты Олег.

– Ты меня знаешь? Откуда? – Олег не верит.

– Пойдём, – говорит Алиса серьёзно. – Отыщем твоего спаниеля.

Она шагает не спеша, не оборачиваясь, словно знает наверняка: Олег непременно пойдёт за ней.

И Олег идёт. Как заворожённый, он следует за Алисой. В ушах его легонько звенит, словно где-то далеко перекликаются колокольчики. И ноги сами движутся в такт шагам Алисы.

– Здесь опасно, – произносит Олег – не столько из страха (страха нет, он куда-то исчез), а скорее затем, чтоб заставить Алису обернуться. – В земле, говорят, снаряды. Бомбы всякие. Здесь оружие раньше испытывали.

Алиса, не поворачивая головы, отвечает:

– Бомбы дальше, за озером. А тут тишина. Я чувствую.

Вот и столбы с проволокой. Тропинка уходит в лес. Алиса идёт, не сбавляя шаг. Зеленоватые волосы её серебрят луна.

Тропинка становится шире, и Олег догоняет Алису. Теперь они движутся бок о бок, и Олегу хочется взять девушку за руку, он даже протягивает ладонь, но робость останавливает его жест на полпути. И тогда Алиса берёт его руку сама.

Алисины ладонь очень тёплая, почти горячая. Маленькая. И неожиданно крепкая.

Тепло передаётся Олегу, разливается по всему телу, ласковой волной согревает сердце.

– Уже недолго, – говорит Алиса. – Будет много деревьев с круглыми листьями. Туда придёт спаниель.

«Почём ты знаешь?» – вертится у Олега на языке возмущённый вопрос. Но Олег молчит.

Луна разгорается ярче. Под ногами мягко пружинит хвоя. Только сейчас Олег замечает, что Алиса идёт босиком.

– А чего ты без туфель? – спрашивает он.

– Они мне не нужны, – пожимает Алиса плечами. – Мне энергия нужна. От земли. Ведь я инопланетянка, ты забыл?

В глазах её лукавые огоньки.

– Да ну тебя, – Олег досадливо хмурится.

Что она заладила, в самом деле, как дурочка малолетняя? «Инопланетянка»! Не смешно.

– Поранишься ещё, – говорит он вслух и кивком головы показывает на блестящий осколок в траве у дорожки. То ли бутылку разбили, то ли карманное зеркальце.

Выпустив руку Олега, Алиса нагибается, поднимает осколок, сжимает его в ладони.

Слышен хруст. У Олега нехорошо холодеет внутри.

– Алиса!

«Ну точно – чокнутая».

Она разжимает ладошку. Осколок разломан натрое. А крови нет. Даже царапин не видно.

– Видишь? – улыбается Алиса. – Меня непросто поранить.

– Как ты это делаешь? – Олег жадно впивается в неё взглядом.

– Как все мы. Такие, как я. – Алиса отбрасывает стекло прочь. – Просто *чувствую мир*. А тот, кого по-настоящему *чувствуешь*, не причинит тебе зла.

Олега тянет спросить: «А меня ты чувствуешь?» Но было бы глупо, да и какой смысл? Они едва знакомы. Кто она ему, в самом деле? Случайная встреча. Любительница поплавать голой в уединённом озере при луне. Старшеклассница-сумасбродка. Алиса.

«Да Алиса ли она, собственно говоря? Мало ли что наплести можно. Имя как раз под стать её бредням инопланетным. Насмотрелась фантастики, заигралась...»

– Мы пришли, – объявляет Алиса.

Олег напряжённо осматривается. По обеим сторонам тропинки – заросли осины. Деревья с круглыми листьями, вспоминает он. Хм, пожалуй. Хотя не такие они и круглые. Ну да шут с ними, с листьями. Где Найда?

Олег вдруг ловит себя на мысли, что взаправду почти поверил: Найда отыщется здесь.

Разочарование комком подступает к горлу. Поверил – кому? Ненормальной?

– А долго... ждать? – спрашивает он упавшим голосом. Хотя знает кристально ясно: ждать больше нечего.

– Ждать? – удивляется Алиса. – Ждут лишь те, кому время поперёк сердца. А ты не жди. Ты зови.

Олег, чувствуя себя очень глупо, шепчет одними губами:

– Найда... Найда?..

Шорох из тёмной чащи. Заливистый лай.

Тёплый рыжий комок мчится во весь опор, Олег ловит любимицу на лету, прижимает к груди, целует в мохнатую мордочку.

– Найда! – он повторяет снова и снова. – Где ж ты была?

Как в полусне доносятся слова Алисы – быстро, скороговоркой:

– Дальше дорогу знаешь, тропинка выведет, а мне пора. Ты приходи ещё, ладно? Я на озере каждый вечер.

И лёгкое касание – щека к щеке.

Олег оглядывается. Никого. Пусто, тишина кругом, даже птицы умолкли. Только скулит на руках счастливая Найда.

Олег трясёт головой, чтобы согнать наваждение. Собака нашлась, это главное. А остальное – было? Нет? Примерещилось? Это теперь *не важно*.

Так говорит себе Олег, шагая к дому.

Не важно, отвечает Олег позже на расспросы взволнованной тёти Шуры.

Не важно, не важно, не важно, повторяет Олег, засыпая, успокоенный и счастливый.

Но радость его омрачает грустная нотка. Потому что Олег понимает, сознаёт с неотвратимой уверенностью: он сам себе лжёт.

Перед закрытыми глазами его расстилается озеро. И по лунной дорожке в воду плавной поступью входит Алиса.

* * *

Лето в самом разгаре. Дни стоят теперь длинные. И Олегу трудно отпращиваться в такое время. Но он находит предлоги, изобретает причины. Он старается каждый вечер бывать у Алисы.

Она ждёт его на берегу озера, на заброшенном полигоне.

Олег больше не боится ни бомб, ни снарядов. Он верит Алисе. Она обещала: бомбы здесь не взорвутся. Их тут нет. Земля полнится тишиной.

Олег с Алисой, позабыв обо всём, беззаботно гуляют по полигону, по поросшему клевером лугу. Алиса, как всегда, босиком. Ей надо чувствовать землю, вбирать энергию. А Олегу достаточно держать её за руку и вдыхать пряный вечерний воздух, напоённый ароматами трав.

У Алисы свои привычки. На запястье правой руки она носит тесёмку из сплетённых травинок. Алиса никогда её не снимает, но зелёные травинки не желтеют, не высыхают. Они остаются свежими, словно только что сорваны.

Ещё Алиса глядит на небо – ровно в полночь поднимает голову и долго всматривается в тёмно-синюю даль. Что она ищет там? Нет ответа.

Алиса никогда не говорит слов «неправда», «ложь», «враньё» и тому подобного. А если такое произносит Олег, Алиса разворачивается и уходит.

Уходит она всегда в лес. Но в посёлке не появляется. Где её дом, где она ночует, питается, чем занимает дни до встречи с Олегом – неизвестно. На вопросы Алиса отвечает невпопад либо не отвечает вовсе. И Олег не настаивает. Он нутром понимает: для неё это важно – каждый день уходить в неизвестность. Если неизвестность рассеется, Алисе некуда будет деться. Она окажется всё равно что бездомной, неприкаянной, незащитной.

Одно огорчает Олега. Он хотел бы привести Алису в посёлок, познакомиться с друзьями, с тётёй Шурой. Но Алиса отказывается.

– Моё место здесь, – говорит она. – Озеро, луг, чаща леса... Здесь я чувствую себя...

Она замолкает.

– Ты не договорила, – напоминает Олег, спустя время. – Чувствуешь себя – как? Или кем?

– Просто *чувствую*, – Алисины губы трогает робкая улыбка. – Здесь – я. А там меня нет.

– Приходи, будешь и там, – возражает Олег. – Мы *вместе* будем.

– Будем... – эхом отвечает Алиса. – Когда-нибудь... вместе... мы...

Взор её затуманивается, она думает о чём-то своём.

А у Олега в ушах отдаётся отзвуком, снова и снова, по кругу: «Когда-нибудь мы будем вместе...»

* * *

Дни идут. Олег теперь реже видится с друзьями. Владик Донцов, Димка Красин досадуют, удивляются – им кажется, что Олег стал каким-то другим. И верно, мысли его поглощены Алисой. Он с утра живёт ожиданием встречи.

Бывает, во время прогулки Алиса делается беспечной, начинает о чём-то рассказывать, но мысль её словно шмель, перелетающий с цветка на цветок. Алиса рассуждает о космосе и дальних планетах, упоминает маленький астероид, придуманный неведомым Олегу писателем, а следом принимается сравнивать французский язык с итальянским. И вдруг, без всякого перехода:

– Ветер... Это ветер Венеции. Слышишь? Морская нотка, запах сандала. Это ветер-мечтатель. Он принёсся из дальних краёв... Слышишь, Олег?

Олег ничего особенного не слышит: ветер как ветер.

Но Алиса уже в плену иных грёз. Она рассказывает о каком-то чудачке Тициане, о двух странных влюблённых – Диего и Фриде, о диковинном музыкальном инструменте челесте, об открытии звуковых волн... И тут же с упоением принимается рассуждать о радиотехнике. Радиотехника – Алисин конёк. Алиса может бесконечно говорить о светодиодах и конденсаторах, резисторах и электроцепях. Олег в этом мало что смыслит: его всегда больше влекло к биологии.

– Зачем тебе эти радиопремудрости? – перебивает он однажды Алису.

– Связь может прерваться в любой момент. Связь с дельтой Лиры, – отвечает Алиса. – Мне надо суметь её восстановить.

– А ну тебя... – отмахивается Олег.

...Каждодневные отлучки Олега сердят тётю Шуру. Она чаще жалуется на астму, на жару и усталость. Делается придиричливой. Но Олег ничего не рассказывает. Словно чувствует: нельзя. Пока нельзя.

Зато Найда стала спокойной, безмятежно-послушной. Иногда она сопровождает Олега к озеру, иногда нет. Найда боится леса, зато дома она весела, как щенок.

Алиса так и говорит иногда Олегу:

– Вы с Найдой – как дети. Самозабвенные. Есть ведь такое слово?

Олег обижается.

Однажды он спрашивает Алису, хмуря брови:

– Что ты во мне нашла?

Олегу пятнадцать, и он чувствует – Алиса старше. Несмотря на все свои глупости, иной раз простодушие – она старше. Олега это тревожит. Есть в этом что-то неправильное, думает он. Словно изъян в фундаменте Падающей башни. Однажды фундамент не выдержит, и башня развалится.

Алиса молчит задумчиво. Она сидит на берегу озера, поджав босые ноги, и сосредоточенно грызёт травинку. Затем, потянувшись, срывает одуванчик на длинном стебельке и щекочет им Олега за ухом.

– Перестань, – отмахивается Олег. Ему сейчас не до шуток. – Так чем я тебе приглянулся?

Алиса смотрит на него иронически.

– Ну, ты особенный. Такой взрослый, уверенный в себе. Сильный, умный. У тебя волевой подбородок.

Олег понимает: Алиса его разыгрывает.

– А серьёзно?

На коленку Алисы садится бабочка. Складывает крылья, разводит их в стороны. Алиса мягко касается её подушечкой указательного пальца, но бабочка не улетает.

– Крылья не повреди ей, – предостерегает Олег. Он всё ещё ждёт ответа.

– У тебя необычный дар, – говорит наконец Алиса. – Для тебя инопланетяне – люди.

– В смысле?

– И собаки – люди, – смеётся Алиса. – И бабочки. А самое невероятное: люди для тебя – тоже люди! Понимаешь? Все-все на свете. Добрые, злые, ни на кого не похожие...

– Такие, как ты? – Олег тоже улыбается, хотя сам не знает чему. Просто ему передалась весёлость Алисы.

– Даже такие, как я, – кивает Алиса важно. – Хотя нас таких мало. Дельта Лиры – не слишком населённое место. И очень тихое.

Алиса задумчиво трогает травяной браслет на запястье. Поворачивает, словно поправляет часы.

– Далась тебе эта дельта Лиры, – беззлобно ворчит Олег. – Если ты и вправду родилась там, то как тебя сюда занесло? Кораблей выше скорости света ещё не изобрели.

– Я родилась здесь, – говорит Алиса негромко. – Но мой дом теперь там.

Олег смотрит на Алису в упор.

Бабочка с её колена взлетает – и растворяется в вечерней мгле.

Олег хочет что-то сказать, спросить, но Алиса касается его губ пальцем. А затем встаёт и уходит.

* * *

Неделю не спадает редкая даже для июля жара. Тётя Шура чувствует себя плохо. Окна в доме распахнуты настежь, но воздух совсем не движется, и тётя беспрестанно обмахивается самодельным веером, сложенным из старой газеты.

На седьмой вечер тёте становится совсем худо. Она сидит на веранде в плетёном кресле и дышит часто-часто, но воздух будто ватный. Тётя силится встать – и не может.

Побледневший Олег мечется рядом – ему никак не удаётся развязать узел на пакете с лекарствами. Что за нелепая привычка завязывать пакеты узлом?! Наконец Олег разрывает пакет, бегом приносит с кухни стакан воды. Руки дрожат, вода плещется через край. Но лекарства не помогают. И тогда Олег, вопреки тётиным протестам, вызывает скорую помощь.

Найда, чувствуя, что в доме творится неладное, забивается под кровать и негромко поскуливает.

Тётя Шура тяжело дышит. Голова её клонится на грудь. Олег приносит ещё воды, а сам то и дело глядит на часы. Скорая всё не едет. Казалось бы – ехать всего ничего, посёлок-то невелик, а поди ж ты...

– Небось, машина на выезде, – сипло говорит тётя, и Олег едва разбирает её слова. – На весь посёлок машина одна.

– Да тут пешком дойти можно! – в отчаянии восклицает Олег. Ему представляется белый больничный стол, за которым сидят два врача и режутся в карты – им не хочется прерывать партию. Олег ненавидит этих врачей, как самых злейших врагов.

В дверь негромко стучат. Олегова ненависть улетучивается, в мгновение ока тонет в фонтане надежды. Олег бежит открывать. Только царапает мысль на краю сознания: машина не подъезжала – не было шума мотора.

У порога стоит Алиса: непривычно смущена, мнётся, что-то протягивает Олегу. Она всё в том же своём сарафане, как всегда босиком, зеленоватые волосы мерцают в свете вечернего фонаря. Но чего-то словно бы не хватает в привычном облике. Впрочем, Олегу не до того.

– Чёрт, до чего ж ты не вовремя! – не сдерживается Олег. Скоротечные надежды его разбиты.

– Наоборот, – отвечает Алиса, не обижаясь. – Вот, возьми. Твоей тёте плохо, я знаю.

На ладони у Алисы растёртый в труху зелёный листок.

– Размешай в воде, – говорит она. – Быстро. Пусть она выпьет.

Олег нерешительно берёт подношение. Ладонь у Алисы жаркая, как обычно.

– Если не хватит, я дам ещё, – говорит Алиса. – Скорее! Я здесь подожду.

Олег рысью бежит на кухню, бросает труху в стакан, доликает воды.

Будь он старше, наверное, засомневался бы: разве можно поить человека незнамо чем? Мало ли кто чего назовет! Тем более Алиса – с этими её странностями. Она же не врач!

Но Олегу пятнадцать лет, и сомнения не успевают захватить его целиком.

Тётя Шура подносит стакан к губам. Пьёт маленькими глотками. Олег поддерживает стакан за донышко, чтобы тот не выпал из тётиных рук.

– Что это? – спрашивает тётя. Смотрит на Олега осмысленно, успокоенно.

– Лекарство, – отвечает Олег.

– Как-то разом полегчало, – с недоверчивым удивлением говорит тётя Шура и делает глубокий вдох. Расслабленно выдыхает, дышит ещё и ещё, теперь уже не спеша.

Олег проводит рукой по лбу. Страшное позади.

– Интересное какое лекарство, – в голосе тёти прорезается любопытство. – Как называется? Где ты его взял?

– Это Алиса принесла, – отвечает Олег.

– Алиса? Какая Алиса?

– Потом расскажу. Но тебе вправду лучше?

– Да-да, – рассеянно говорит тётя. – Не беспокойся, Олежка, всё прошло. Прости, что перепугала тебя. Может, перенервничала просто.

Тётя поправляет очки на носу и говорит уже обычным своим голосом:

– Я посижу ещё немного – тут хорошо дышится. А ты иди, отдохни, своими делами займись, чего тебе вокруг меня суетиться? Если вдруг что, я позову.

...Олег выходит на крыльцо. Алиса всё ещё там. Она так и не переступила порог.

– Спасибо, – говорит он смущённо. – Тёте лучше.

– Я знаю, – отвечает Алиса мягко. – Вот, на всякий случай, бери ещё. Оно не понадобится, но тебе так будет спокойнее.

Алиса сыплет горстку трухи Олегу в ладони. Холод Алисиных пальцев заставляет Олега вздрогнуть.

«Замёрзла», – думает он. И неожиданно замечает: на запястье Алисы нет травяного браслета.

– Твоя тесёмка... – говорит Олег. – Ведь это она, да?

Алиса молча кивает. В глазах её грусть.

– Ничего, – утешает Олег. После пережитых волнений ему хочется, чтобы все вокруг были счастливы. – Я сплету тебе новую. Я умею. Меня ещё в детском саду одна девчонка научила такие штуки плести. Только я не пробовал с той поры – всё казалось, не мужское занятие. Но тебе сплету, обещаю.

– Не обещай, – Алиса улыбается уголками губ. – Это стебель иллемейны. Иллемейна на Земле не растёт.

Олег не спорит – он давно перестал спорить с Алисиными рассказами про иные планеты, дельту Лиры и прочее в том же духе. Олег не верит в пришельцев из космоса, но и не упрекает Алису во лжи. Просто у неё такой способ восприятия мира, считает он. Бывают фантазии настолько живые, что захватывают человека до глубины души, но он не делается от этого лжецом или сумасшедшим.

Это просто особенность детства – увлекаться игрой до того, что и сам уже не отличишь, где игра, а где жизнь. Дальше дети взрослеют, но у некоторых эта чёрточка сохраняется до седин. Иногда из таких людей получаются художники, музыканты, поэты.

– Заходи, – приглашает Олег. – Познакомишься с тётей. Чаю выпьем, согреешься. Давай?

Алиса качает головой. Большим пальцем ноги проводит черту в пыли у крыльца.

– Не могу. Мне и в посёлок не следовало приходить. А уж в дом...

Она поворачивается спиной.

– Алиса! – окликает Олег.

– Приходи лучше ты, – отвечает она, не оглядываясь. – На озеро. Завтра. Всегда.

Олег хочет догнать её, нерешительно переступает порог, но дальше черты, проведённой Алисой, не движется.

– Завтра, – говорит он.

Зеленоватые волосы Алисы переливчато мерцают, и силуэт её тает в вечерней мгле.

* * *

Тётя Шура настроена благодушно. Астма больше её не мучит.

Олег тоже доволен. Жизнерадостная Найда вьюном крутится у его ног.

Жизнь наладилась, и будущее представляется Олегу безбрежно-счастливым – как открытый простор океана, по которому в лучах солнца плывёт вольный парусник.

– Алиса, – произносит вдруг тётя Шура. – Знакомое имя.

– Алиса в Стране чудес, – отвечает Олег. – И в Зазеркалье. А ещё есть Алиса Селезнёва из будущего.

– Да не из книг, – отмахивается тётя.

– Из кино, – с готовностью предлагает Олег.

– У соседей дочку Алисой звали, – поясняет тётя Шура. – Когда мы ещё в том доме жили, на Заславской. Ты тогда совсем маленький был.

Олег замирает:

– Не помню.

– И не надо тебе помнить. Мрачная история. Я уж и сама подзабыла. Помню только – фамилия у них была редкая. Венце... Винзо... как же её? Точно. Венцезоровы. Алиса Венцезорова. Она на полигоне погибла. Знаешь же полигон там, за лесом?

– Как – погибла? – Олег хватается ртом воздух.

Тётя пожимает плечами:

– На озере утонула, – тётя умолкает, трёт подбородок. Продолжает негромко: – Там ведь озеро есть, Теен-Куль, маленькое, но глубокое. Алиса тогда только школу окончила, собиралась в институт поступать, на радиотехнический. Лето было. Выпускной. А под утро самые бесшабашные ребята пошли на полигон и её с собой зазвали – петарды пускать, купаться, ну и всякое там ещё – в общем, продолжать праздник. Что уж у них там приключилось – бог весть. Известно только, что взорвался снаряд в земле. Одному парню руки покалечило, другой чуть без глаз не остался, а Алису в озере нашли. Ни царапины, а мертвее мёртвого. Так она и погибла. Родители горевали, потом переехали за Урал куда-то. Тяжело на прежнем месте жить после такого. Да вообще тяжело, куда ни денешься.

– Погибла... – повторяет Олег.

– Вот я и подумала, – заключает тётя. – Имя как у подружки твоей. Той, что мне лекарство принесла. Несчастливое имя. Хотя – что имя? Главное, чтобы человек был хороший. Правильно я говорю? А, Олежа? Олег? Ты куда? Постой!

Но Олег уже не слушает. Он стремглав выбегает на улицу. Бегом, скорей к полигону. Нужна ясность, предельная ясность! Не должно быть места догадкам, сомнениям. При чём тут какая-то Венцезорова? Не может это быть его Алиса! Он не верит в такую чушь. Мало ли на свете Алис?

Олег мчится. Сердце колотится в груди. Не хватает дыхания.

Лес за краем посёлка. Привычная тропа через чащу. По обеим сторонам легионы деревьев – словно войско лесного царя. Олегу кажется, будто деревья провожают его хищными взглядами.

Вот, наконец, столбы. Полигон в лучах заходящего солнца – будто овеян крылами жар-птицы. Запыхавшийся Олег подлетает к озеру. На озере тишина – лишь круги по воде.

– Алиса! – зовёт Олег. Его голос срывается.

Никого.

Олег вдруг понимает: ещё солнце не село, слишком рано, ведь с Алисой они всегда встречаются вечером. Вечером. В полутьме...

«Ведь и правда!» – стреляет запоздалая мысль. Он ни разу не видел Алису днём. Да *никто* её днём не видел! Он однажды пришёл на полигон с Димкой Красиным, своим давним приятелем, но Алиса в тот раз не явилась. Был то день или вечер?

Не важно. Видел ли Алису вообще хоть кто-нибудь из людей, кроме него, Олега? Вот в чём вопрос. А когда он звал её в посёлок (и ведь сколько раз звал!) – что означал её всегдашний отказ?

«Но ведь она пришла, – напомнил Олегу внутренний голос. – Когда тёте стало плохо, она пришла».

«А откуда она узнала? – возражает Олег сам себе. – Как поняла, что тётя нуждается в помощи?»

Алиса так и не объяснила тогда. И в дом не зашла.

Олег садится на травянистую кочку. Подпирает руками голову. Мысли роятся, путаются. Он знает одно: надо ждать. Алиса придёт. Каждый вечер приходит. Значит, придёт и сейчас.

Солнце медленно скатывается за горизонт. Отблески на озере меркнут. Луговая трава окрашивается лиловым.

За спиной у Олега шорох – лёгкий шум босых ног.

– Привет, – говорит Алиса. Олег не оборачивается. Всё тело его напряжено – словно перед броском в холодную воду.

Алиса подходит сзади, приобнимает, закрывает ему глаза жаркими ладонками:

– Угадай, кто?

Её голос звучит беззаботно, и Олег решается.

– Алиса, – говорит он негромко. – Алиса... Венцезорова. Верно?

Алиса отнимает ладони. Спрашивает:

– Девочка, которая утонула? – голос её, как и прежде, спокоен.

Олег рывком оборачивается, вскакивает, хватая Алису за плечи, трясёт.

– Но ведь ты не она? Скажи мне! Ты же не мёртвая?! Ответь, скажи, что я дурак, несу чушь, делаю тебе больно... Скажи хоть что-нибудь, наконец!

– Мне не больно, – Алиса улыбается безмятежно. – И я не мёртвая.

Она легонько бодает Олега головой в лоб. Алисины волосы щекочут ему лицо. Алиса смеётся:

– Где ты видел, чтобы мёртвые бодались?

Олег нетерпеливо отстраняется. Хватит с него этих шуток.

Алиса всё ещё улыбается:

– А чтобы мёртвые увлекались радиотехникой? Часто ты таких мёртвых встречал?

– Но не в этом же дело!.. – начинает Олег, но Алиса прерывает его, берёт за руку. Лёгкое движение – и бретельки сарафана соскальзывают с её плеч. Под сарафаном ничего не надето. Алиса кладёт руку Олега прямо себе на грудь. Говорит шёпотом:

– А чтобы сердце у мёртвых билось, ты слышал?

Олег, оторопев, стоит недвижно. Грудь Алисы такая же жаркая, как её ладонь, только мягкая, упругая, бархатистая. И сквозь эту упругую мягкость Олег отчётливо ощущает биение сердца. Ровный ритмический стук. Удар, ещё удар, и ещё, и снова...

Олегу хочется гладить Алису, целовать её в губы, обнимать... Но он уже знает – за секунду до сказанных слов – знает точно, с убийственной ясностью, что сейчас всё будет разрушено... что он сам сейчас всё погубит непоправимо.

– Я не верю, – Олег слышит свой голос будто издалека. И Алиса вздрагивает, как от пощёчины. – Докажи. Докажи по-другому. Приходи завтра днём... в посёлок... к нам домой. При солнечном свете, чтоб тебя видели все – тётя Шура, соседи, друзья... Ты придёшь?!

Последние слова звучат требовательно: будто Олег бьёт наотмашь.

Алиса отстраняется, замирает. В глазах у неё странное выражение. Олег не может понять, что за чувства перемешаны в её взгляде. Презрение? Гордость? Усталость? Насмешка? Сожаление о несбывшемся?

– Хорошо, – говорит еле слышно Алиса. И Олег понимает: не сожаление это, а жалость. Бесконечная жалость к нему, Олегу. Словно это он не выдержал испытания. Не она, а он из живого стал мёртвым.

– Хорошо, – повторяет Алиса. – Я приду. Завтра в полдень. Устроит? Слезы беззвучно текут по её щекам.

Олег хочет крикнуть: «Нет! Стой! Не надо... Я передумал...» – но слова застревают у него в горле.

Алиса медлит ещё мгновение, затем рывком разворачивается – и мгла привычно поглощает её силуэт. Только шорох шагов затихает вдали...

* * *

Тётя Шура хлопочет на кухне. Ставит чайник, смахивает со стола несуществующие крошки, расправляет складки на скатерти.

– А мёд она ест, подружка твоя?

– Н-не знаю, – через силу отвечает Олег. На душе у него муторно.

– А то сейчас молодёжь пошла, – ворчит тётя. – Мёд они не едят. Молоко парное, из-под коровы, – не признают, им магазинное подавай. Как-то жизнь меняется неуволимо: теряет естественность. Понимаешь, что я хочу сказать? Будто нас – живых, дышащих – в целлофан заворачивают. В искусственную прозрачную плёнку. Она глянцева, блестит, вид имеет, да только дышать через неё трудно.

Олег передёргивает плечами:

– Что за сравнения у тебя?

– А чего ты ершишься? – удивляется тётя. – Всё ведь правильно говорю, как есть. Поддай-ка вон тот кувшинчик.

Олег поминутно глядит на часы. Двенадцати ещё нет. Он и сам не рад, что всё это затеял.

Придёт Алиса или не придёт? Странное дело: сознание Олега словно делится надвое. Одна часть уверена твёрдо: Алиса сдержит слово, нет ни тени сомнения. Не может такого быть, чтоб Алиса лгала. По крайней мере вчера – точно нет. Может, раньше и фантазировала про свою дельту Лиры, но вчера она была искренна, в этом Олег мог поклясться.

А другая часть сознания точно так же не может представить, чтоб Алиса явилась сюда. Будто есть в этом что-то невозможное, неестественное, вроде снегопада в июле. Или как если бы Найда заговорила человеческим голосом.

Наконец добавляется третья мысль, совсем уж дурацкая. Что если Алиса явится... но в привычном своём наряде? В полупрозрачном сарафане на голое тело? Всё же тётя Шура человек не вполне современный. Да и современный не каждый бы принял. Не хватало ещё скандала. Конечно, нарочно Алиса не станет... Вызов, глупая месть – с нею это не вяжется. Но она со своими странностями вообще может не понимать таких вещей, не придавать им значения. Ей запросто может казаться, что человеческое тело совершенно естественно в своём первозданном виде. Да и помнит ли Олег, чтоб Алиса когда-то чего-то стыдилась?

Стук в дверь прерывает его размышления. Четыре мерных удара – так вчера билось сердце Алисы.

– Вот и она, небось, – говорит тётя Шура, неторопливо шаркая в прихожую.

Олег опережает её, распахивает дверь.

На пороге стоит Алиса. В глазах её искорки – озорство? Какая-то необычная, хмельная радость? Или, может, отчаянье?

Яркое солнце золотит Алисины чуть зеленоватые волосы. Алиса аккуратно причёсана. И одета по-праздничному. На ней незнакомое синее платье с белой каймой, как у скромной старательной школьницы. На ногах – тёмные шнурованные ботинки (первый раз за всё время Олег видит Алису обутой). В руках – перевязанная лентой коробка: маленький тортик из поселковой лавки, точно такой тётя покупала Олегу на день рождения.

– Пришла... – непроизвольно выдыхает Олег. Радость захлёстывает его, ему хочется обнять Алису, прямо здесь, у порога, никого не стесняясь. Но он лишь протягивает ей руку: – Заходи, заходи скорее.

– С кем это ты разговариваешь, Олег? – прямо за спиной тётин голос – недоумевающий, удивлённый. Олег замирает, словно между лопаток ему ткнулось пистолетное дуло. Мурашки бегут по коже.

«Что? Неужели... Тётя её не видит?!»

Солнечный зайчик мгновенной вспышкой проскальзывает по Алисиному лицу.

– Здравствуйте, Александра Павловна! – весело здоровается Алиса. – Это вам.

– Ах, Алиса? – тётя подходит к двери, поправляя очки на носу. Радужно улыбается, берёт торт у Алисы из рук. – Проходи, пожалуйста. Очень рада! Олег столько о тебе говорил. Извини, у нас тут небольшой беспорядок...

– Ничего-ничего, – щебечет Алиса, переступая порог. – Я совсем ненадолго.

Найда жизнерадостно твякает, подпрыгивает, становится на задние лапы, передние кладёт Алисе на талию, будто хочет её обнять.

– Найда, брысь! – командует Олег.

– У нас чайник как раз закипел, – тётя Шура делает приглашающий жест.

Все трое проходят в кухню, рассаживаются за столом. Олег ставит чашки, наливает чай, режет торт, тётя предлагает печенье. Алиса держится просто, с искренней теплотой. От её обычной рассеянности нет и следа.

Тётя задаёт незначащие вопросы, и Алиса охотно поддерживает разговор. О домашней выпечке, сортах чая, о погоде и недавней жаре.

Спохватившись, тётя благодарит Алису за так вовремя принесённое лекарство.

– Не за что, – отвечает с улыбкой Алиса. – Рада, что вам помогло. Нет, его нет в аптеках, это просто толчёные травы. Всё равно что народный рецепт. Нет, в лесу они не растут, к сожалению. У меня оставались с прежних времён.

Разговор как-то плавно перетекает в литературное русло: степи, прерия, Фенимор Купер, Майн Рид, сёстры Бронте. Тётя Шура всегда любила читать, и Алиса хорошо ориентируется в классике. Олег больше помалкивает: книги он предпочитает посовременнее, а ещё лучше – кино. Журчащий ручёёк разговора понемногу начинает ускользать от его сознания. Олег думает о своём. На душе становится легко-легко.

«Надо же, как поладили. Ну а я-то кретин натуральный – как такое могло взбрести в голову? Утопленница, мёртвая... тьфу».

Олег улыбается своим мыслям. Всё хорошо. Даже Найда – и та мирно посапывает в углу на подстилке.

Олег, незаметно для тёти, касается под столом Алисиной руки. Рука холодна. Странно, в доме тепло, и чай ещё не остыл. Олег пожимает холодные пальцы, Алиса отвечает чуть заметным пожатием. Олег гладит её запястье и вдруг с изумлением понимает: Алису бьёт дрожь.

Олег с тревогой глядит ей в лицо. Но Алиса всё так же мила, голос её звучит по-прежнему ровно, приветливо.

В комнате становится темнее – солнце за окном закрылось тучей.

– А кстати, Алиса, – говорит тётя Шура, – ты ведь учишься ещё? Планируешь куда-нибудь поступать после школы?

– Я уже отучилась, – безмятежно отвечает Алиса.

– Я думала, вы с Олегом ровесники, – от удивления тётя допускает неловкость.

– Тётя Шура! – восклицает Олег с укоризной.

– Не совсем, – отвечает Алиса. – Но со временем... – она замолкает на полуслове.

Тётя озадаченно моргает:

– Со временем... ровесники... Что?

Алиса приподнимается со стула.

– Александра Павловна, большое спасибо, – на губах всё та же улыбка. – Я была очень рада... но мне пора. Пора уже убегать.

За окном становится совсем темно. Туча, скрывшая солнце, занимает полнеба. По стеклу торопливо сбегает косые струйки: грянул дождь.

– Что ж так рано, Алиса? – огорчается тётя Шура. – Ты и мёд ещё не попробовала. Ну куда ты пойдёшь в непогоду?

Алиса делает неловкое движение. Олег поддерживает её за руку – и едва не отдёргивает ладонь: рука Алисы холодна, как лёд.

– Алиса? – Олег смотрит на неё в упор.

– Ты смотри, как стемнело, – сокрушается тётя. – Включу свет. Алиса, Олег, ещё чаю?

Тётя Шура встаёт, щёлкает выключателем. Лампочка под потолком заливают кухню пронзительно-ярким светом.

Алиса как-то неловко опускается обратно, на своё место. По зеленоватым волосам её будто проходит рябь.

– Алиса, с тобой всё в порядке? – спрашивает Олег. За окном раскатиисто гремит гром, заглушая его слова. В углу поднимается на все четыре лапы испуганная Найда, растерянно смотрит на хозяев, скулит.

– Ну вот, так повеселее, – говорит тётя, оглядывая освещённую кухню, но в голосе её сквозит неуверенность.

Алиса, чуть наклонив вперёд голову, на мгновение закусывает губу. Затем, с усилием, будто усмирив свой порыв, берёт чашку, делает ещё глоток.

– Большое спасибо, – повторяет она очень вежливо.

– Я ещё что хотела спросить, – откликается тётя. – О родителях твоих. Кто, что, чем они занимаются? Олег мне, кажется, говорил, но я что-то...

Лампочка под потолком внезапно гаснет с каким-то протяжным звоном. И тут же загорается вновь. Мерцает несколько раз. За окном оглушительно ухает гром. Дребезжат стёкла. Комната погружается во мрак.

– Была очень рада... – слышен голос Алисы – тоже зыбкий, неровный, отчаянный. – Мне... вправду... очень добры... убегать...

– Алиса! – кричит Олег.

Найда пронзительно лает.

Лампочка вспыхивает ярко-ярко: тьма длилась не больше секунды, но Алисы в комнате нет.

Олег, опрокинув стул, мчится в прихожую. Дверь закрыта на все замки.

– Алиса! – зовёт он снова. Затравленно оглядывается, водит руками сквозь пустоту.

Лай Найды сменяется тихим поскуливанием.

– Что случилось? – из кухни доносится встревоженный тётин голос. Следом появляется и сама тётя. – А где Алиса?

Олег молчит. По щекам его разливается бледность.

– Олежек? Куда подевалась Алиса? Что происхо... Ты куда??

Олег хватает с вешалки куртку.

* * *

Солнца нет. Дождь давно уж прошёл. Чёрная туча рассеялась, но небо сплошь затянуто серыми облаками. Холодная мутная хмарь. Дело, должно быть, к вечеру, но Олег не уверен – он потерял счёт времени.

Сколько он сидит тут, у озера? Часов пять? Восемь? А может, целые сутки? По крайней мере, одежда успела высохнуть, хотя промок он до нитки, пока бежал через лес.

– Алиса! – в сотый раз зовёт Олег. Голос его звучит хрипло.

День угасает, словно смертельно больной старик.

В сердце Олега воскресает надежда: сумерки. Время Алисы. Она придёт. Он снова её увидит. Иначе и быть не может.

Чтобы сократить ожидание, Олег считает до ста. Затем ещё и ещё. Сбивается, начинает снова. Какое-то промозглое оцепенение охватывает его. Вечер перерождается в ночь, а Олег всё сидит, обхватив руками колени, не в силах пошевелиться.

Надо бы встать, позвать Алису, размяться, в конце концов. Но Олег продолжает сидеть, не чувствуя уже рук и ног, не замечая холода. Глаза его закрыты, и смутные картины плывут перед мысленным взором.

Это тоскливый, болезненный сон. В нём есть луна, и озеро, и бескрайний луг, и даже светит с неба звезда – далёкая дельта Лиры. Вот только Алисы нет в этом сне. И уже никогда не будет.

...Чьи-то холодные руки глядят Олега по лицу. Он просыпается разом, мгновенно. Кругом темно – глухая ночь давит на плечи многопудовым грузом. Но наверху сотни маленьких искр. Звёзды. Значит, облака разошлись, а Олег лежит на спине.

Чья-то ладонь проводит ему по лицу, Олег ощущает прохладное прикосновение, но никого рядом нет. Пусто. Никто не застит свет звёзд.

Олег моргает, поднимает руку – и рука вдруг касается живого, мягкого, нежного. Пустота не бесплотна.

– Алиса, – шепчет Олег.

– Прости, – отвечает Алиса.

Она опускается ниже, прижимается к нему всем телом. Руки Олега обнимают её. Олег гладит её по щекам, касается пальцами губ. Тело Алисы холодное, как трава в октябре. Но слёзы, что капают Олегу на лицо, – тёплые слёзы.

– Прости, – повторяет Алиса. – Я не смогла. Думала, получится, но...

– Не важно, – отвечает Олег. – Мы ведь можем быть здесь, как раньше...

Он прижимает её к себе, целует в заledenевшие губы – и по-прежнему видит над собой искры звёзд. Странное чувство – обнимать пустоту.

Олег гладит Алису, пытается согреть. Её тело открыто ночной прохладе, Алиса обнажена. Олег ласкает ей плечи, спину. Чуть отстранившись, кладёт ей ладони на грудь, большими пальцами обводит вокруг сосков, гладит живот, и ниже, целует снова и снова. Алиса откликается на объятия, ищет губами губы Олега. Ладони Алисы проскальзывают ему под рубашку.

И странное дело: Олегу кажется – здесь, сейчас он должен быть счастлив, но счастья нет, есть лишь горечь, неизбывная горечь потери.

– Ведь всё будет, как раньше? – шепчет он умоляюще. – Ты и я, дельта Лиры, рука в руке...

– Прости, – отвечает Алиса. – Совсем не осталось сил.

– Но мы увидимся? – Олег не хочет поверить. – Я увижу тебя хоть раз?

Алиса молчит. Её тело в объятиях Олега почему-то становится очень лёгким.

– Я увижу тебя?! – отчаянно повторяет Олег. – Хоть сейчас, на прощание?! Вместо неба и звёзд? Алиса!

– Закрой глаза и увидишь, – еле слышно отвечает Алиса.

Но Олег не хочет закрывать глаза.

– Ты не бросишь меня, – говорит он вдруг очень спокойно. – Ты живая, ведь так? Ты сама говорила!

– Живая... – эхом повторяет Алиса. Её дыхание холодит Олегу лицо. Она ещё здесь...

– А пока ты жива, нас никто не разлучит. Живые сами решают, с кем хотят быть. Ты ведь выбрала меня, помнишь, тогда, в первый день? Или ты передумала?

– Я по-прежнему... – шепчет Алиса. – Но...

– Нет никакого «но», – устало возражает Олег. – Если живая, ты будешь со мной: так велит тебе сердце. А если нет... если ты призрак, демон, – вспомни. Ты сказала однажды: «Мы когда-нибудь будем вместе». Ты солгала? Не верю. Мы ведь знаем с тобою оба: мёртвые не лгут!

Безмолвие встречает тираду Олега. Тишина. Лишь где-то далеко-далеко звенит колокольчик. Не сразу Олег понимает – это смеётся Алиса. Станный смех – в нём и боль, и отчаянное веселье, и полная, абсолютная безнадёжность.

Так, наверное, смеялся бы бог, узнавший, что люди – мираж и что он одинок во Вселенной.

Руки Олега смыкаются. Пустота растворилась во тьме.

* * *

Утром Олег пробуждается оттого, что щёки его лижет Найда. Утро мурое, как и минувший вечер. Небо затянуто сплошной пеленой.

С трудом Олег поднимается. Ноги затекли и почти не слушаются. Тело ломит. Одежда пропиталась росой.

На лугу никого. Озеро подёрнуто мутной ряской. Было? Приснилось?

Волоча ноги, Олег бредёт к лесу. Ему всё теперь безразлично. На душе пусто и пусто в мыслях. Одно странно: отчего пустота тяжелее самой тяжёлой гири?

* * *

Время обрывает листки календаря. Лето, осень, зима, весна. Снова лето.

Олег больше не ходит к озеру. Никого не зовёт. Какой смысл? Возвращался он тысячу раз, но однажды приходит пора смириться с неизбежным.

И опять он ловит себя на том, что сознание раздвоилось. Днём он ненавидит Алису. За предательство. За обман. За ту боль, что она ему причинила. За то, что жизнь его утратила смысл. Без Алисы всё стало тускло и пресно. И поправить это нельзя.

Ну а ночью, во сне, Олег снова гуляет с Алисой по зелёному лугу, держит за руку, обнимает, шепчет ласковые слова. Или вновь теряет её. Силится удержать – и не может.

Самый тяжкий момент – пробуждение. Горький миг осознания, что встреча привиделась, примирение оказалось фантомом, возродившаяся надежда – игрой воспалённого разума.

– Всё пройдёт, – утешает его тётя Шура. То же самое говорят и друзья – Димка Красин, Владик Донцов... Но Олег им не верит. Что они понимают? Они просто не умеют любить. Их судьба обделила. Хотя лучше бы обделила его, Олега.

Он не романтик и не готов прославлять минувшее счастье за то, что оно когда-то встретилось в его жизни. Лучше бы не встречалось. Он предпочёл бы ничего не иметь – это тысячекратно легче, чем полюбить всей душой, а потом потерять. К чёрту такую романтику.

Заканчивается школа, последний класс. Надо думать о будущем. Но какое тут будущее? Его будущее навсегда отравлено прошлым. Выхода нет. Олег это знает твёрдо.

* * *

Олег просыпается среди ночи от неясного шороха. На часах половина третьего. За окнами тихо, ни гудка, ни шума моторов, город окутан дремотой. Выходной, вспоминает Олег с облегчением. На работу сегодня не надо. Можно спокойно спать.

Рядом, у стенки, ровно дышит Света. Олег, повернувшись, бережно поправляет ей одеяло. При мысли о Свете его наполняет нежность.

Второй год уж женаты, а он всё никак не может поверить. Счастливчик. Олег улыбается, вспоминая. Ведь и в самом деле повезло. Не останься он в аспирантуре, так бы они и не встретились. Прошла бы судьба стороной, как *тогда*. А впрочем, и к лучшему, что *тогда* судьба прошла мимо.

И всё равно удивительно, что такая девушка, как Света, выбрала его. Он ведь вовсе не гений, не герой, не сказать чтоб красавец. Обыкновенный биолог. Ну, может, чуть лучше обыкновенного, но ничего выдающегося. Тётя Шура ему, правда, льстит, но она всегда видела его в лучшем свете.

Олег поворачивается на другой бок, чтобы снова заснуть, но сон не идёт. Наоборот, в мирный ход его мыслей вкрадывается смутное беспокойство. Что-то же его разбудило? Какой-то был шум.

Олег включает ночник.

– Привет, – говорит Алиса.

Олег цепенеет. Он не может вздохнуть, шелохнуться, словно от удара под дых. Кажется, будто в комнате кончился воздух.

– Я не помешала? – Алиса сидит на широком подоконнике, спиной прислонившись к стеклу и спустив на пол босые ноги.

Она не изменилась. Та же девчонка шестнадцати лет. Те же зеленоватые волосы. Даже сарафан на бретельках, кажется, тот же.

– Как? – выдавливают Олег. Судорожно оглядывается, но Света дышит спокойно.

– У меня получилось, – сообщает Алиса. Глаза её горят триумфальным огнём.

– Но... – бормочет Олег.

– Ты ведь звал, ждал... Я пришла... – Алиса удивлена. Огонёк в её глазах меркнет.

А Олега вдруг накрывает безудержная ярость. Он вскакивает с кровати, подлетает к Алисе, кладёт на плечо ей тяжёлую руку.

– Пришла?! – говорит он злым громким шёпотом. Ему хочется кричать в голос, но он боится разбудить Свету. – Какого же чёрта *сейчас*?! Кому ты сейчас, к дьяволу, вообще...

Он осекается и продолжает с горечью, чуть спокойнее.

– Где ты была *тогда*? Когда я головой об стенку готов был биться? За один твой взгляд, за одну минуту с тобой... Когда мне жить не хотелось, где ты была, а? Отвечай, чёрт тебя раздери!

Алиса смотрит с мягким укором.

– Я искала пути... к тебе. Долго искала. И вот нашла.

Олег смотрит на неё с отчаяньем. Появись она лет пять назад, он бы, наверно, её придушил. Три года назад – плюнул бы ей в лицо и выставил вон. За всё. За разбитую жизнь. За надругательство над мечтой.

Но теперь? Где же та разбитая жизнь? Где та мечта? Ради чего махать руками и бросаться словами?

– Я уйду, – говорит вдруг Алиса. Она сползает с подоконника на пол. Пошатываясь, делает шаг к двери.

И Олега прошибает холодный пот. Лишь теперь он разглядел Алису вблизи. А то и вправду считал бы, что время над ней не властно.

Нет, не в возрасте дело. Выглядит она по-прежнему на шестнадцать. Только вид у неё такой, будто её били палками по всему телу. На лице ссадины. На губах запеклась кровь. Руки в глубоких порезах. В вырезе сарафана багровеет синяк. Да и сам сарафан изорван.

Алиса делает ещё шаг, и Олег замечает, что она прихрамывает на правую ногу. И всем телом дрожит, будто в лихорадке.

– Постой, – говорит Олег. Приглаживает рукой её волосы. Они расчёпаны, потускнели. И сама она словно поблёкла.

– Пусти меня, – говорит Алиса спокойно.

– погоди, – повторяет Олег.

Алиса прислоняется к стенке – видно, ноги её плохо держат.

– Ты свой выбор сделал тогда, – объясняет она терпеливо. – Там, на озере, ты выбрал меня. Но ты жив, и ты передумал. Твоё право. Я теперь стала лишняя.

– У меня жена, – отвечает Олег. – Я её люблю.

– Вот и славно, – Алиса улыбается своей прежней безмятежной улыбкой. Олег чувствует: это не лицемерие, не ирония. Она действительно рада за них.

И Олега захлёстывает отчаяние. Потому что он перестаёт быть собой. Как и в прежние тяжкие времена, появляются словно бы два Олега. Один, тот, которым он был ещё вчера, хочет, чтобы Алиса исчезла, растворилась навеки. Чтоб её не было ни сейчас, ни потом, ни даже в прошлом. Чтобы её трижды проклятый образ не отравлял их со Светой тихое счастье.

А другой – тот, воскресший внезапно, пятнадцатилетний Олег, для которого высшее счастье – броситься Алисе навстречу, обнять её крепко-крепко, шептать глупости, целовать и не отпускать ни за что, никогда. Ведь минувших лет просто не было. Нет иного Олега, нет Светы и нет никакого счастья – кроме лишь одного: быть с Алисой.

– Куда ты пойдёшь? – спрашивает Олег.

Алиса молчит.

– Ну? – вопрошает он властно, сурово. И чувствует: напряжение схлынуло. Память ключьями оседает, рвётся...

Нет, не придумали люди машину времени. Невозможно вернуться в прошлое. Пятнадцатилетний Олег ожил лишь на мгновение, чтобы

сгинуть уже окончательно. Все точки отныне расставлены, все двери закрыты. Итоги подведены. Остаётся проститься с Алисой.

Он давно перерос её, а она-то осталась прежней. Зачем ему ныне девчонка-школьница со своими глупыми рассказками? И зачем он ей? Он теперешний, взрослый, женатый. Что могли бы они дать друг другу? Он и без неё теперь знает, кто такой Тициан, кто такие Диего и Фрида и о чём писал сказку французский лётчик. Он знает, но ему это больше не интересно. Не влечёт, не поражает воображение, не щекочет трепетных чувств. Всею своё время. И Алисино время прошло.

Только вот куда ей идти?

– Ты вернёшься на озеро? – спрашивает он. И вопрос звучит как приказ.

– Нет, – отвечает Алиса. – Озера больше нет.

– То есть?

Алиса выходит в коридор, шагает к двери, та открывается настежь сама собой. Сразу становится холодно. Олег вспоминает: на дворе ведь февраль.

– Куда ты пойдёшь босиком, в летнем платье? Зима же, – говорит он с досадой.

– Я привычная, – пожимает плечами Алиса. Сарафан на плече разорван, и до локтя тянется тёмная полоса – засохшая кровь.

– Стой, – вспоминает Олег. – Ты же мне говорила... тогда... что тебя нелегко поранить? Тоже, что ли, лгала?

Алиса с мягкой улыбкой смотрит ему прямо в глаза, смотрит так, будто это он, Олег, несмышлёныш. Будто он – нашкодившее дитя, которому ещё расти и расти.

– Я вообще не лгу, – говорит она. – Никогда. Разве ты до сих пор не усвоил?

– Что ж тогда с тобою стряслось?! – взрывается Олег. – Почему ты вся в крови, как корова на живодёрне?

В глазах Алисы вспыхивает насмешка.

– Дурак, – говорит она беззлобно. – Я сняла защиту. Перестала чувствовать мир. Чтоб найти путь к тебе, я разомкнула связь и сняла защиту. Вот и всё.

– Что? – переспрашивает Олег. Он ещё не понимает.

– Я разорвала связь с дельтой Лиры. Не сразу догадалась, ушли годы, но потом поняла: первым делом – разомкнуть связь.

Алиса переступает с ноги на ногу, правой пяткой трёт левую лодыжку.

– Когда связь прервалась, моя защита пошла на убыль. И дорога домой закрылась навек. Ну а мины на полигоне вернулись к жизни. Все эти старые снаряды, бомбы, дремавшие много лет под землёй. И тогда я наступила на мину.

– Ты совсем умом тронулась?

– Был красивый взрыв, громкий, как фейерверк, и озера больше не стало. И моей защиты не стало тоже. И не осталось мест на Земле, где я могу *быть*. Мест, которые меня держат. Кроме одного – рядом с тобой. Вот тогда я пришла к тебе.

Олег смотрит на неё с жалостью.

Алиса делает шаг на лестницу. Силуэт её начинает таять.

– Потому что ты был прав, – говорит она. – Я живая, и я вправду хотела быть с тобой. И нет никаких «но», кроме смерти. А мёртвые не лгут. Я сдержала слово. – Голос её слабеет. – Вспоминай меня без обид, хорошо? А ещё лучше – забудь совсем...

Она спускается ещё на ступеньку, и Олег понимает, что видит теперь *сквозь неё* – видит лестницу, окошко в дальней стене, свет фонаря в том окошке. И лишь зеленоватое колыхание Алисиных волос напоминает, что секунду назад она ещё была здесь.

Олег бросается на лестницу, хватая руками пустоту, чувствует между пальцами пряди волос.

– Стой! – кричит он, не заботясь больше, проснётся ли Света. – Вернись! Да вернись же... Ты не можешь уйти. Ты останешься. Обещала быть вместе, так будь! Не лги – ни мне, ни себе. Не важно, чего я хочу, чего не хочу. Не важно, кого я люблю. Просто мы будем вместе. Просто я *не отпускаю* тебя, вот и всё. Никогда. Слышишь, Алиса?! Ни-ког-да...

Олег, захлёбываясь, бормочет что-то бессвязное. Слова его путаются. Он противен сам себе, но он ничего не может поделать. Будто всё в этом мире давным-давно решено за него.

* * *

– А зачем третья чашка? – спрашивает Света. – Разве кто-то придёт?

– Никто больше не придёт, – отвечает Олег.

– Так зачем? – удивляется Света. – Давай я уберу.

– Оставь, – говорит Олег и ласково гладит Свету по руке. – Могут быть у меня чудачества?

– Ну, если тебе так хочется, – пожимает плечами Света.

Алиса молча подносит чашку к губам. В глазах её щемящая грусть...

Светлана СЕРГЕЕВА

Родилась в 1979 году в городе Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия). Окончила Белгородский университет потребительской кооперации. Кандидат экономических наук. Участница городских и областных литературных конкурсов. Посещала литературную студию поэта Игоря Чернухина.

Живет в Белгороде.

ЖИЗНЬ РАДИ ПРАЗДНИКА

Эрика была капризна, игрива и очень любила сладкое. Дейв обожал ее. Обожал эти долгие часы неги, когда они проводили время вместе, качаясь на лёгких волнах. Иногда их тела соприкасались, и тогда Дейв чувствовал, насколько упруго и аппетитно округлое тело его подруги. Каждый раз эта близость возбуждала Дейва до самых основ, до самого ядра пронизывала страстью. Под призывным взглядом Дейва тело Эрики начинало дрожать и пульсировать, и тогда они, не в силах противостоять мощному половому инстинкту, сливались в экстазе.

После они снова расслабленно и беспечно плескались в теплых водах, лакомились сладким сиропом, наслаждались тихим безбрежным покоем.

– Жить так легко и приятно, правда, милый? – Эрика улыбалась Дейву и нежно ласкалась о его бок.

– Да, моя дорогая! А разве может быть иначе? – Дейву было щекотно, и он смеялся в ответ.

Вокруг вода, кислород, стабильно +20 градусов по Цельсию и море сладостей. Никаких забот! Дыши, наслаждайся, занимайся любовью!

Кстати, плоды любви – восемь отпрысков Дэйва и Эрики, славные и дружные ребята, похожие как две капли воды на родителей, всегда держались где-то рядом. Эрика иногда приглядывала за ними. Впрочем, подрастающее поколение было уже вполне самостоятельным и не доставляло особых хлопот родителям.

Эрика гордилась чистотой своей расы и всегда говорила, что здоровые, красивые дети – это заслуга именно ее генома. Дейв тоже был из чистопородных, как и все остальные жители этого славного места. Но Эрике всегда хотелось быть особенной, она часто вспоминала своего прадеда, который жил на винограднике во Франции в знаменитой Шампани. Муж не разочаровывал супругу, хотя прекрасно знал, что их семья самая что ни на есть типовая, каких на побережье сотни тысяч.

Но стоит ли омрачать настроение дражайшей супруги, высказывая сомнения в ее исключительности и благородном происхождении? Пусть милая как хочет, как и считает, зачем расстраивать, тем более что в последние дни Эрика стала особенно капризна, плаксиво жаловалась на духоту и проблемы с пищеварением.

Через некоторое время Дейв и сам почувствовал себя неважно, кислорода для свободного дыхания стало не хватать. Еще бы, в такой тесноте! А народ все прибывал. Разгар сезона и все такое...

Курортное местечко с каждым днем прирастало любителями приятного времяпровождения, купаться и плескаться от души, не рискуя столкнуться с потным соседом, стало практически невозможно. А Дейву нравилось соприкасаться телами лишь с Эрикой, и это вносило нервозность и дискомфорт.

– Дейв, я тут уже задыхаюсь! – Эрика находилась на грани истерики. – Дети тоже страдают, а младшенькую сейчас толкнул какой-то толстопуз, и она плачет! Сделай что-нибудь!

Дейв растерянно оглядывался по сторонам, в поисках свободного пространства, куда бы он мог увести свою семью. Но всюду было одно и то же. Толкотня и столпотворение. Царящие ранее штиль и покой сменились полной неразберихой.

И тут Дейву посчастливилось, он увидел небольшой просвет – свободный участок, где не было такой давки, как здесь. Семья выстроилась в цепочку. Дети, Эрика и Дейв, крепко держась друг за друга, удачно протиснулись через толпу и заняли «островок». Дышать стало не легче – окружающие жадно поглощали кислород и отчаянно выделяли в окружающую атмосферу углекислый газ. Но здесь все же было свободнее.

Через месяц жизни в тесноте и постоянном стрессе к кислородному голоданию добавилось самое обычное. От голода население стало быстро редеть. Бывало, падали замертво целыми семьями, и это было ужасно.

Дейв, изможденный, отошавший, подавленный, часами бродил по окрестностям в поисках пищи, а когда находил – толкался, пихался, а иногда даже дрался с такими же полудохлыми обитателями бывшего райского уголка за кусочек сахара или капельку сиропа. Отбив добычу, тут же тащил ее домочадцам и делил честно поровну на всех. Хотя нет, чуть большую часть Дейв все же оставлял Эрике, ведь она должна была есть за двоих – на ее теле уже хорошо было заметно небольшую округлость – она вынашивала девятого малыша.

Еще через месяц беда добралась и до семьи Дейва. У младшенькой открылся страшный понос, и она в судорогах скончалась. Эрика рыдала, когда маленькое тельце было опущено в воду и стало тихо и медленно оседать в темную глубину, на самое дно.

После потери дочки Эрика совсем ослабла, все время дрожала, возможно, у нее началась лихорадка. Но, кроме верного Дейва, до нее никому не было дела. Никто не желал делиться жизненными ресурсами. Миллионы живых организмов сражались каждый за свою жизнь.

Но борьба была напрасной. Выиграть жизнь у богов невозможно. Через несколько дней у Эрики и Дейва с голоду умерли остальные дети.

– Почему это случилось с нами?! – прошептала Эрика.

– Не знаю! Наша жизнь была такой радостной и веселой, никто не ждал беды! – ответил Дейв и в последний раз прикоснулся к любимой.

- Прощай, милый!
- Прощай, моя дорогая!

Два одноклеточных дрожжевых гриба окончили жизненный путь и вслед за своими отпрысками и миллионами собратьев осели мертвыми хлопьями на дно бутылки.

«Приз де мусс» – процесс вторичного брожения вина был успешно завершен. Тихое вино ценой жизни миллионов клеток дрожжевой культуры насытилось углекислым газом и превратилось в игристое.

Бутыли опустили в подземные штольни горлышком вниз под углом 45 градусов, где прошел завершающий этап превращения грозди винограда в шампанское.

От выпавших в осадок дрожжей безжалостно избавились, затем в шампанское добавили экспедиционный ликёр, бутылки укупорили пробкой с мюзле и оформили красивыми этикетками.

Шампанское готово!

Сколько бутылок прислать к праздничному столу в честь ваших именин?

Анжелика ФОРС

23 года, окончила Гродненский государственный медицинский университет. По специальности психиатр-нарколог.

Лауреат международного молодежного конкурса «Горизонт-2100» в 2019 и 2020 годах, обладатель Гран-при в конкурсе 2020 года. Публиковалась в сборнике «Генезис. Пророчество» издательства FullLib, а также в сборнике по итогам II международного конкурса «Живой родник» им. Анатолия Жаренова.

Живет в Беларуси, в г. Лиде.

АВРОРЫ

Над горизонтом Марса сияют авроры.

Они не гаснут никогда. Лишь изредка скрываются за облаками, столь же необычными для Марса, как и дожди.

Авроры становятся особенно яркими к вечеру, когда Солнце уходит за горизонт. Розоватый углекислый воздух слегка дрожит, и разнообразные цвета над головой перетекают друг в друга, как разводы на боках мыльного пузыря, который вот-вот лопнет.

Эта аллегория немного пугает любого, кому приходит на ум. Ведь от источника аврор зависит жизнь колонии. Без генератора магнитосферы, висящего между Солнцем и Марсом и отражающего солнечный ветер, атмосферу опять разорвёт и унесёт прочь, а вода на Марсе снова замёрзнет. Радиацией выжжет всё, что не сумеют эвакуировать. Пылевые бури восстановят природный марсианский пейзаж. И на этом колонизация закончится.

Хорошо если не навсегда.

Однако каждое утро, в конце прогноза погоды, по радио Новых Помпей неизменно сообщают: «Позиция магнитного щита стабильна, к вечеру над горизонтом ожидаются синие авроры. Удачного дня!» После чего на волнах передают очередную прилипчивую мелодию, присланную с Земли. Под задорные аккорды колонисты завершают завтрак, проверяют запас картриджей в личных системах для дыхания и выходят на изрезанную реками поверхность по назначенным делам. А забот здесь немало. Строительство, хозяйство, промышленность, досуг... им предстоит промчаться экстерном по пути, который Земля прошла за долгие сотни лет. Только тогда Марс сможет считаться вторым домом для землян. Лабораторией, дачей, убежищем, а может, даже курортом.

Все пути открыты.

Но, так или иначе, ни для кого нет сомнений: первое поселение на Марсе, основанное двумя годами ранее, в 2100-м, растёт буквально на глазах. Сейчас оно тянется на полмили, вплоть до подножия Олимпа, величественно громадного и давным-давно погасшего. Новым Помпеям вряд ли грозит судьба тёзки.

Но взор наблюдателя редко останавливается на огромной, как великанская тарелка, вершине вулкана. Ведь в звёздном небе над Олимпом сияет Земля. И каждому из колонистов хоть раз да приходит на ум: не так ли видели их дом олимпийские боги – или любые из существующих? Яркой звездой, синевато-жёлтой на невооружённый глаз, плывущей по небосводу в сопровождении двух марсианских лун?

Такая маленькая! Такая далёкая! Такая родная...

Да, простому человеку, не богу, отсюда ничего не разобрать. Но поселенцы точно знают: где-то там, далеко-далеко отсюда, мировые державы, сцепив зубы, отодвигают собственный эгоизм на задний план, едва дело доходит до обеспечения жизни Новых Помпей.

Да, они так в этом преуспели, что произошло немыслимое событие: Часы Судного Дня разом отступили на восемнадцать минут назад.

Марс не остался в долгу. Спустя неделю, что весьма быстро для перегруженных заботами «марсиан», секретарю ООН на электронную почту прислали снимок со спутника. Тускло-рыжая железистая почва, исчерченная длинными тенями камней, на каждом из которых – по колонисту. Круг и линии изображают часы со стрелками ровно на 11:40. Руки людей вскинуты к небу, ладони раскрыты. «Привет! И спасибо вам!»

И ни один из миллиардов землян, увидевших снимок во всех возможных СМИ, не выказал сомнения: каждое из лиц, скрытых за дыхательными масками, счастливо улыбается.

Эти часы... Бестолково, дурашливо, но как вдохновляет! Истинно в духе человечества.

Да, и на Марсе можно взглянуть не только на это.

Как насчёт отдельной жизни?

Доктор Амелия села на корточки и прицелилась фотоаппаратом в рядок зелёных ростков, на два пальца показавшихся из толщи вод неторопливого ручья. Их ограждал заборчик вида, собранный из упаковки одного из марсоходов. На ближайшем штырьке бешено трепетала красно-белая ленточка.

«Не наступать. Не лезть в эксперимент. Не трогать. И вообще, ты что тут забыл, работы мало?!»

Это, конечно же, не первый рис на Марсе, но, видимо, ближайший из съедобных, выросших в открытом грунте. Скоро подтянется, расцветёт, завяжет зёрна – и после исследований на вредные примеси станет ясно, сколько акров земли отвести под первый серьёзный урожай.

Сделав все необходимые снимки, доктор Амелия убрала фотокамеру, погладила побег кончиком пальца и встала. Огляделась. Потёрла пальцы: её перчатки испачкала влажная рыжеватая пыль. Защитить посадки от колонистов – ерунда, все всё понимают. А вот от пыли и бурь, да в открытом грунте – задача не из простых...

Протирать ростки или оставить как есть?

Пока их десять, это не проблема, но вот потом, тысяч пять... Её же и назначат на водные процедуры. Нет уж, пускай обходятся поливом. Пыль – не беда.

Что ж. Доктор Амелия отёрла лоб, вытянулась и улыбнулась, глядя вдаль, на переливы аврор. Рис – это только начало. А там ещё год-другой опытов по очистке почвы от тяжёлых металлов – и роза из её комнаты, привезённая на Марс из сада бабушки, перекочет в клумбу перед окном. Подрастёт, вытянется, окрепнет, напитается светом Солнца и углекислым газом. А затем гордо вспыхнет карминово-красным – ярче блеска аврор и живее огня, который не загорится, пока в юной атмосфере не накопится достаточно кислорода.

И тогда каждый поселенец непременно придёт, чтобы мысленно вознести хвалу первому марсианскому пламени. Первому и негасимому.

Во имя жизни и процветания Новых Помпей.

Амина СЕРКАЛИЕВА

Родилась в 2000 году в Володарском районе Астраханской области. Учится в Астраханском государственном университете на учителя истории и обществознания, а также получает дополнительное высшее образование, изучает китайский язык.

Публиковалась в журналах «Путеводная звезда», «Мурзилка», «Юный натуралист», «Крым» и других, а также в коллективных сборниках.

ЯБЛОНЯ

Эта варежка провисела на ветке пятнадцать лет. Маленькая детская варежка, поблекшая, потускневшая, словно напоминавшая, как много времени прошло с тех пор.

Дерево уже стало сухим, кора на стволе местами облезла, а пару веток и вовсе были срублены. Местами застыла смола, слабо блестящая при свете. И на веточке висит варежка.

Я стою возле яблони и все никак не могу отвести взгляд от этой варежки. Не могу отдалиться от дерева. Что-то держит меня и не отпускает. Воспоминания...

Я помню все связанное с яблоней в такой ясности, будто это было совсем недавно. Будто бы не прошла большая часть моей жизни, не прошло столько времени. И я все еще босоногий мальчишка, непоседа, что разбил окно соседке Кате и теперь прячусь от нее на этом дереве. А наверху хорошо-то, солнце не слепит глаза, зеленая листва хорошо скрывает тебя, и все-все видно, что в деревне творится. Мне раньше казалось, что если взобраться на самую высокую ветку, то можно увидеть не только деревню, но и весь мир.

Каждую весну отец красил ствол яблони, и она преображалась. И каждый год я ждал весну, чтобы увидеть, как красиво она цветет. В одну из таких весен маму привезли с маленьким кульком. Родители все смеялись, и мне почему-то было тоже весело. Я, верно, думал, что это подарок какой-нибудь, но мама наклонила мне сверсток, а там, укутанный в белое мягкое одеяло, сопел ребенок. Мой младший брат. Его Сережкой называли.

Я не любил зимы. Зимой не получается так долго гулять на улице, а дома скучно. Зимой яблоня становится голой и неприветливой, сереет, словно замирает на некоторое время, уходит в спячку. Зимой часто болеет Сережка. В такие моменты я залезал в погреб и тащил

Сейчас я понимаю, что мой младший брат лучше меня. Он чуткий.

Я зажег керосиновую лампу, чтобы не было страшно. Мы сидели с Сережкой, укутавшись в одеяло, и слушали завывание ветра. Перед уходом отец сказал тихо и грустно:

Я тогда обрадовался тому, что в погребе остались еще яблоки с прошлого лета. Это ведь не так страшно, яблоки можно пожевать и соседские, другое дело скот.

– Сережка! Се-ре-жа! – Голос мой мне показался глухим. Так паника сдавливала все внутри. Никто не отзывался в доме.

Свет промелькнул с улицы. Слабый луч на мгновение осветил маленький участок комнаты. Но этого было достаточно. Я побежал в темноте к двери. Надел в спешке пальто, накинул шарф и выбежал.

Ветер был сильным, Хлопья снега кружились в воздухе. А вдалеке двора слабо светит керосиновая лампа.

— Се-ре-жа! — Ве-тер раз-ом про-ник в лег-кие.

Он накидывал на ветки яблоки что-то. Подбежав ближе, я увидел на яблоне пальто, мое старое и его, одеяло, шарф и варежку.

— Костя, я здесь! — крикнул он. — Яблоню одеваю!

– Ты что творишь! – Я схватил его за плечи и встряхнув от снега, потащил быстро в дом.

— Но яблоне же холодно!

— Дурак! А если заболеешь! Подумаешь, яблоня!

– Она жжживая, – дрожа, обиженно сказал Сережка. – Она кккаждый год дддает нам яяяблоки, а мы ей почтттти нннничего.

— Родители с ума сходят, когда ты болеешь, а ты про яблоню! Сиди здесь!

Я укутал его в одеяло, набрал горячей воды из чайника. Послышалось мычание коров и голоса родителей...

...Я стою перед яблоней, а она сухая, постаревшая, но такая родная. И слышу я тихий укор. Не от нее, от времени. Мне вдруг вспомнилось, как же часто я здесь, бывало, прятался. Искал спасения. Как срывал яблоки и убегал по своим ребячьим делам. Я вдруг вспомнил, как часто

падал, ударялся или получал в драке. Как приходил к матери, и она не ругала, лишь так же тихо, как и время, меня укоряла, но при этом заботливо обрабатывала рану, ушибы. Я вдруг вспомнил, как часто сиживал с отцом и горестно, в обиде рассказывал ему про проблемы. И он так же тихо и терпеливо объяснял мне, растолковывал все моменты человеческой жизни. Так мы и росли с Сережей. Под крылом своих родителей, под тенью своей яблони. И вправду, яблоня давала нам многое, и в первую очередь счастливые воспоминания, связанные с детством. А что дали мы ей? Что я преподнес ей взамен? Не вспоминал все эти годы, даже когда навещался к родителям. Все дела, да спешка. И мне все чаще и чаще вспоминаются слова Сережки: «Она живая, она нам каждый год яблоки дает, а мы ей почти ничего». Слова ребенка, понимавшего больше меня, мальчишки.

– Пойдем, – говорит мне Сережка. Он уже не ребенок. Он уже взрослый, у него так же, как и у меня, есть свои дети, своя семья. Но мы часто приезжаем сюда.

Я оборачиваюсь к родительскому дому. Поднимаюсь по старым ступенькам. Мама опять готовит пироги, кажется, с яблоками. А папа читает газету. Ждут нас. Не знают, что мы уже час стоим во дворе и смотрим на яблоню.

Инна ЧАСЕВИЧ

Родилась в Сарове. Окончила Нижегородское театральное училище им. Е. Евстигнеева, Литературный институт им. Горького (семинар драматургии). Работала в Дзержинском кукольном театре, в настоящее время – актриса Саровского драматического театра..

Публиковалась в периодике, в 2018 году вышла ее книга «Две повести». Живет в Сарове.

ФА, СИ, ЛЯ...

Привычным, отточенным за восемь лет движением Муся пристроил на плечо скрипку. Это был дорогой, старинной работы инструмент, которым музыкант очень дорожил. И сейчас ему больше всего было жаль ее, свою верную подругу, которую подарила ему мама. «Мама... Не плакать», – он поднял смычок. Красиво и легко провел по струнам.

Фа, си, ля, до второй октавы и снова си, фа, ми. Над замершей толпой поплыли первые звуки, тихие и дрожащие, пока Муся воевал с волнением, однако с каждым мгновением становившиеся все уверенней.

Иногда Мусе казалось, что он родился со смычком и скрипкой и сразу дал первый концерт. Времени, когда бы в его жизни не звучала музыка, он не помнил. Первым учителем Муси стал сосед, давший однажды плачущему малышу старую скрипочку, оставшуюся от внука. Все думали, что мальчик поиграется с инструментом, как с обычной деревянной игрушкой, но тот вдруг заиграл! Так старательно водящий смычком по струнам Муся неожиданно для всех и даже для самого себя вывел свое будущее. С этой минуты его душу наполнила музыка. Муся слышал ее в каплях дождя, стекающих по оконному переплету, в туманах, стелющихся над болотами, окружившими его родные Бельцы причудливым ореолом, в легкой ветерке, колышущем озерную гладь.

Муся почти никогда не расставался со скрипкой, которая радовала и огорчала, дарила надежду и причиняла боль. «Странно, почему Сева так плачет, когда его тетя Галя на занятия ведет? Как люди могут жить без музыки? Если бы она исчезла из мира я, б, наверное, сразу умер».

Ми, соль половинка, ми четверть. Рука не дрожала, звуки лились ровные и твердые. Смычок «летал» по струнам сильно и властно, словно Муся стоял на сцене, а не на выжженной солнцем окраине станицы. «Главное, не бояться. Страшнее уже не будет». Соль, си, ля...

Когда его стали звать Мусей, он не помнил. Как-то так само получилось, что мамино долгое и нежное «Абрамуся» превратилось в короткое и деловитое «Муся». Даже в газете, которую с торжественным видом принес дед, его называли домашним прозвищем. Муся не обиделся, все-таки не каждый день про тебя в газетах пишут, чего уж сердиться на такие пустяки. В тот вечер вся семья собралась за большим круглым столом, даже папа пораньше из своей больницы вернулся. Мама читала статью, а Муся тихонько играл. Сам-то он читать еще не умел, да и считал не очень быстро. Единственное, что он делал не просто хорошо, а удивительно хорошо, – играл на скрипке. В тот вечер даже дед согласился, что Мусе не обязательно становится врачом, как всем мужчинам в семье. Он будет лечить души людей музыкой. Муся тогда даже заплакал, так ему стало жаль больных и нестерпимо захотелось их всех вылечить. Ради этого он готов был отказаться от ужина, и от вкусного молока на ночь, и от яблока, и от... «Подожди, сынок, отказываться. Как же ты играть будешь голодным? У тебя сил не будет!» – мама ласково прижала сына к себе, радуясь и вместе с тем страшась его решимости.

Ля, соль, фа, ми. «Мама... – рука Муси дрогнула, и он тут же запретил себе думать о ней. – Нельзя! Надо продержаться хотя бы куплет. Нет! Еще припев. И еще куплет. Пока не опомнились».

Мусе нравилось идти по улицам Бельцов за руку с дедом. Да и с отцом тоже. Врачей Пинкензонов, казалось, знали в городе все. Их все время останавливали, чтобы поздороваться, совсем незнакомые люди. Мужчины поднимали шляпу и пожимали руки, женщины начинали раскланиваться еще издалека, а, когда подходили ближе, улыбались и совали Мусе в руку петушка на палочке или мягкий калач. Когда семье пришлось эвакуироваться на Кубань, отец и тут умудрился стать известным всей станице. Сколько раз Муся просыпался не от грохота снарядов, а от нетерпеливого стука в дверь – была нужна помощь, отец уходил и возвращался домой под утро. Если возвращался, конечно, а не сворачивался, как в детстве, калачиком на двух поставленных рядом стульях в ординаторской до следующего грохота или крика: «Раненых привезли». Вот ради этих «привезенных» семья Муси и не успела уехать от лавиной накрывшего станицу фронта. Вернее, не захотела, не смогла бросить ни обгоревшего летчика из пятой палаты, ни контуженного танкиста из третьей, ни санитарочку из первой с ампутированной после гангрены рукой. А потом эта смертельная лавина унесла с собой все: и раненых, и Мусины одинокие вечерние концерты в отцовское дежурство, и госпиталь, и саму жизнь семьи Пинкензон.

«Ре. Половина с точкой. Почему эта длительность многим кажется такой сложной? Все же понятно – половина и еще ее половина, ну, половина с четвертушкой, это несложно, это красиво» Муся перевел дыхание, и новая фраза зазвучала так мощно, что люди в толпе вдруг изменились. Казалось, страх перестал тянуть к их душам свои отвратительные мертвящие щупальца, и на них неуловимо повеяло ветром надежды. «До, си...»

Лежачих раненых добивали в палатах, тех, кто мог ходить, вытаскивали во двор и там расстреливали. Молоденькая санитарочка лежала на выжженной солнцем земле, глядя остекленевшими глазами в синее безбрежное небо. На белых бинтах расплывались пятна свежей крови. Отец Муси, не представлявший, что можно вот так расправиться с беззащитными людьми, первый раз в жизни преступил через клятву Гип-

пократа. Доктор Пинкензон не стал оказывать помощь немецким солдатам, которые уже заняли койки, еще хранившие тепло уведенных на расстрел. Мама до вечера металась по знакомым, пытаясь пристроить Мусю, но он упрямо возвращался домой. Вечером пришли и за ними.

Рыжие брови немецкого офицера сначала недоуменно взметнулись, а затем сошлись в одну сплошную линию, не предвещавшую ничего хорошего для худенького мальчика со скрипкой. «Замолчать! Свинья! Не играть!» Люди, толпящиеся вокруг Муси, зашевелились. В прозрачном летнем воздухе сначала негромко и слабо, а затем все звонче и сильнее звучало: «Кипит наш разум возмущенный...» Муся играл, песня, заполнив площадь, прокатилась над станицей и ушла дальше к удивительно голубому в тот день небу. Застывшие от неожиданности, солдаты оцепления даже не делали попытки взяться за оружие. Зубы капитана заскрежетали, глаза из светло-голубых, породистых стали черными и далеко не арийскими. Когда этот оборвыш попросил разрешения сыграть последний раз на скрипке, которую так старательно прижимал к груди, офицер решил, что он просто оттягивает момент расправы. Но этот еврейский выродок посмел играть «Интернационал»! Он что, сошел с ума, увидев расстрел отца, пытавшегося выпросить пощаду сыну и смерть матери, бросившейся на труп мужа? Как иначе можно объяснить эту дерзость?! Рука метнулась к кобуре.

«Ре, си, соль. Больно... Очень... больно... Играть... Еще игр...» Пятно крови на белой рубашке отца, волосы матери, поднятые ветром, лица людей, громко выводящих «в смертный бой...», зеленые мундиры немецких солдат, рот офицера, кривящийся в диком крике, слились в глазах Муси в страшной, нереальной пляске. Через мгновение Муся лежал на земле, левой рукой прижимая к себе скрипку, а правой крепко сжимая смычок. Его черные глаза смотрели в самую глубину бездонного летнего неба, словно надеясь увидеть там победный день, который он сейчас приблизил ценной своей маленькой одиннадцатилетней жизни.

Стихи по кругу

Роман КРУЧИНИН

Ардатов, Нижегородская область

* * *

То ль мозг замызгал сатана,
то ль чёрт пробил так сердце рогом...
Россия – это не страна,
Россия – к Господу дорога.

* * *

И ум, и чувства клонит в сон?
Бодришь, держись:
всего лишь жизнь на всё про всё,
всего лишь жизнь.

Россия – Русь коснулась дна?
Тяни со дна, –
всего одна страна дана,
как мать одна.

Твоё дитя кричит в ночи?
Кошмар ли, нет,
всего и надо – свет включить
и в сердце свет.

В конце пути, брат-человек?
Стенать не смей –
всего лишь смерть коснётся век,
всего лишь смерть.

* * *

Они за Родину сражались, –
окопы, вёрсты, артоналёт...
Мы, вызывая смех и жалость,
опустим руки за неё?

О них сказания и были, –
стремились ввысь, сдирая дёрн,
и по рукам воришек били...
А мы все по рукам пойдём?

Но убери здесь знак вопроса,
вставь отрицательное НЕ!.. –
В стихе проделать это просто,
а вот в стране...

Константин СТРУКОВ

Москва

Старая фотокарточка

...весной, на заднем плане руны окон,
трубы для стока жестяной рубец –
наш старый дом, и в кадре чуть-чуть сбоку
я с самокатом, мама и отец.
Все верно до деталей, без ошибки
нам прошлое фотограф предсказал,
мне нет шести здесь – папина улыбка
и мамины цыганские глаза.
И полутени, лёгкие, седые,
и, улыбаясь, смотрят в объектив
родители, такие молодые,
застигнутые солнцем, затаив
дыхание...

За кадром мостовая,
где переулком вниз идут дома,
где голубей разбуженная стая
беспечно разлетелась по дворам,
за кадром коридоры коммуналки,
ночных огней цветная карамель,
дворы-колодцы, скверики-топтальки –
галактика моя и колыбель.
Там самокат несётся против ветра,
там радость начинает свой разбег
и над землёй в полнеба светлый вектор
расчерчивает сталью человек,
и нет минут, нет дроби – только время,
когда мороженое капает с руки,
зеленка жжет разбитые колени,
и краски так отчаянно яркие.
И каждый день вмещает столько неба,
и в каждом ощущении любви,
и вкус конфет, и тёплый запах хлеба –
всё до конца растоплено в крови,
а на ночь сказка, правда над обманом
должна взять верх и горе не беда,
так сладко знать – разбудит утром мама
и в этот мир пришел ты навсегда...

У карточки края давно помяты,
и кто снимал, и как узнать число...
Всё унесло, ни подписи ни даты,
но главное понятно и без слов.

Бумага выцвела, как выцветает лето,
нечаянно попавший солнца блик –
и кажется, что слишком много света,
и всё слилось в один прекрасный миг!

* * *

Никто не застрахован от любви,
как, впрочем, от тюрьмы и от простуды –
в осколки разлетается посуда,
в бумагу превращаются рубли.
Засахарилось мамино варенье,
так много не сложилось, не сбылось,
день изо дня дожди, усталость, злость.
И вдруг из ниоткуда озаренье!
И радуга над городом встает!
Душа летит!.. а оглянулась – осень,
знакомый двор сухой листвой заносит,
твоя любовь здесь больше не живет.
И сколько, черт возьми, еще осталось?!
Пятнадцать, двадцать или двести лет...
Гадалкам и врачам оставь ответ,
спеши, душа, ведь на пороге старость.
И снова расплетаются пути,
распахнуты заветнейшие двери,
но сделай шаг, и новые потери –
за все, как это принято, плати.
Деньгами, компромиссами, здоровьем,
тяжелым похмелом от миражей,
и взятие последних рубежей
нередко здесь оплачивают кровью.
И выход в параллельные миры,
невидимый в обычной круговерти,
внезапно открывается... со смертью,
такие, значит, правила игры,
такие, в общем, принципы движенья
людей, цивилизаций и планет.

Но если допустить, что смерти нет,
Земля не потеряет притяжение

* * *

Празднично-красный, как вымпел, язык,
весело флагами плещутся уши,
в чем я никак уступать не привык –
это поспать, погулять и покушать

Нашу породу нетрудно узнать –
склонность к охоте всегда мы имели,
любим покушать, поспать, погулять,
мы компанейские – мы спаниели

Сбегать ли, сплавать ли мне ерунда,
дичь отыщу на воде и на суше,
лучше хозяина знаю, когда
надо поспать, погулять и покушать

Что вам ещё про себя рассказать?
Лёгкий характер, прямая натура,
ну, и покушать, поспать, погулять,
а остальное всё литература

Софья РЫБКИНА

Санкт-Петербург

Кравчий

я закрываю глаза. из осколков памяти давнее прошлое медленно вос-
стает. образы жгучие хваткой железной давят, и чаши заморские пол-
нятся до краев. образы жуткие страшной грозы-опричнины, лязганье
сабель и терема москвы. смотрит прекрасный кравчий глазами хищны-
ми, ведь не боится ни сабель он, ни молвы.

платья атласные, шелк и витое кружево, жемчуг, камня и бирюза
серег; манит меня эпоха, казалось, чуждая, и все внутри волнуется и
поет. пляски и празднества, пир и покои царские, бархат, рубины; алый
здесь – цвет царя. блещет, пылает московское государство, и кравчий
коварно манит в свои края.

мне не страшны ни плаха, ни звон серебряный; слаще объятий крав-
чего не найти. хуже всего мне быть им однажды преданной.

хуже всего любить мне – и не спасти.

Павел РОСЛАВСКИЙ

Москва

* * *

Остаться землёй, финальной строкой,
мечтать и прошляпить всю жизнь в ожидании,
отправиться словом в белый конверт,
носить высоченную шляпу в надежде,
что мама признает.

Но мама не знает, кто ты такой,
похож на стекло-сувенир из Италии,
похож на одну из публичных оферт.
Но мамин пирог не такой же как прежде,
совсем не такой.

1716

Стены слушают мой стих.
А я слушаю гуление труб,
знакомый фальшивый мотив.

Фальшивый, как мой билет в рай,
выданный когда-то, в каком-то Волгограде.
На обратной стороне почти стёртое: «Прилечай».

За билетом стоит мальчик, выпускающий раков обратно в реку,
такой невозможный в эту тысяча семьсот шестнадцатую
бестолковую среду.

Лариса ДЕГТЯРЕВА

Астрахань

* * *

Поймали ветер в парус. Слава, Отче!
Закинем сети в море. Боже, дай нам!
Чем меньше предстоит нам ожиданий,
тем больше уготовано пророчеств.

Как это сложно – по полету птицы
сказать, что будет день, и будет пища...
Во внутренностях рыбы что-то ищем...
Бросаем в воду, чтобы откупиться

от бед любую мелочь – ржавый ключик,
сухие крошки, мелкие монеты...
И понимаем, что по всем приметам,
по верным знакам завтра будет лучше.

Взметнется чайка. Вскрикнет буревестник.
Качнется лодка, сонно клюнув носом.
И мы поймем, что мы сюда вернемся.
И мы поверим, что вернемся вместе.

Надежда СЛЕПЦОВА

Воскресенское, Нижегородская область

Осень мне сродни

Осень мне теперь сродни,
И не жду я лета,
Пусть прибавит седины,
Пусть уйдут рассветы!

Я ее багряный цвет
Сердцем принимаю,
И неважно, сколько лет
Этот цвет я знаю!

Паутинки пусть летят
В бабье лето споро,

Я не верю, что закат
Моей жизни скоро!

Осень красками меня,
Мудростью утешит,
И прибавит мне огня,
Хоть я не безгрешна.

По коврам ее пойду,
Золотым, багряным,
Верю, счастье я найду,
Поздно или рано!

Александр ОФИЦЕРОВ

Бутурлино, Нижегородская область

* * *

Две старушки с «Черного квадрата»
Полчаса своих не сводят глаз...
Надували в жизни их, однако,
Прохиндеи разные не раз.

Ну а тут совсем другое дело:
И обман, и правда на виду.
Только правда что-то почернела –
Вечно ложь и в моде, и в ходу...

Светлана КРЮКОВА

Москва

* * *

Шорох осоки, лодка влетела в заводь,
Старый рыбак спит, улыбается солнцу – осенью дни коротки.
Утлая лодка застряла в сетях неба, трепещет рыбкой.
Гиблая заводь шуршит – осторожная вечность.

* * *

Всего лишь птица в ветвях вселенского дуба,
Невесома, несущественна, витаю между «всем и ничто»,
Ставшая песнею трав – склонись надо мною, услышь...
Ставшая твердью, огнём, молитвой.

Ещё не вычисленная Вселенной, неопознанная,
Пребываю в небытии – великая, ничтожная.
Сквозь меня мелькают волны, грохочут частицы,
Даже время сквозь меня... меня нет.

* * *

Маленькая родительская вселенная,
Солнце – огненный одуванчик.
Однажды облысеет, станет старым,
Однажды умрёт совсем... со всем, что рядом –
В мире замкнутых систем нет места бесконечности.

* * *

В мирах, ещё не созданных богами,
Именно сейчас по улицам космическим
Женщины тяжёлые с кувшинами на головах –
В складках порфир сияют иные вселенные...

Ещё когда была ты точкой, зерном пространства
И пыльный ветер пеленал твои просторы,
От всех иных ты отличалась постоянством,
Моя планета, мой благословенный дом!

Александр ПОПОВСКИЙ

Первомайск, Челябинская область

* * *

Теперь могу себе позволить всё,
Пока по мне ещё не голоса –
Катить по бездорожью колесо,
И жизнь свою вращать вперёд-назад.
Брать белый лист по триста раз на дню,
Чтоб тут же класть обратно под сукно,
И становиться ближе на одну
Ступеньку к яркой вспышке за окном.

Сергей ФИЛИППОВ

Москва

* * *

Старушка с маленькой иконкой,
Ладонку выставив вперёд,
Стоит на улице в сторонке
И милость просит круглый год

С утра до вечера. Немного
Осталось бабушке до ста,
Стоит и просит ради Бога
Иисуса нашего Христа.

Минуя бабуку, шагом скорым
Идёт с десяток человек,

В Москву приехавших на форум
«Россия XXI век».

Где все галдеть неделю будут
И повторять: «В конце концов,
Пора подумать и о людях
И повернуться к ним лицом!»

Юрий ПРЯДИЛОВ

д. Юрьевец, Нижегородская область

Когда теряют смысл слова...

Когда теряют смысл слова,
То под аккорд гитары старой,
Мне снятся в море острова
У берегов Мадагаскара.

Там птицы райские, паря,
Поют так звонко и беспечно
Мне о любви и жизни вечной...
И этой песне верю я.

Уходят наши корабли
Не в нами названные сроки.
И берег юности вдали
Такой туманный и далекий...

А временами так штормит!
Но, стиснув зубы, я не плачу.
И, уповая на удачу,
Я рад тому, что не забыт.

Жива надежда! И пока
Она искрится юным взглядом.
Мы к ней пришли издалека.
Она сегодня с нами рядом.

Так значит некого винить!
Так значит все идет как надо!
Пока нас крепко держит рядом
Любви связующая нить.

К 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

Николай БЕНЕДИКТОВ

Российский политический деятель, философ, писатель. Родился в 1949 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Доктор философских наук, профессор. Избирался депутатом Государственной думы третьего и четвёртого созывов.

Автор более десяти книг, в том числе «Русские святыни» (Москва, 2003) — о системе ценностей русского народа, «Записки о русском» (Н. Новгород, 2020). Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ИМЯ РОССИИ

К 800-летию со дня рождения
святого благоверного князя Александра Невского

Слова величания «святой и благоверный» принадлежат Православной церкви. Однако и светская власть признала князя великим русским человеком, а при советской власти существовал и боевой орден Александра Невского. А в 2008 году всенародное голосование признало князя «именем России», то есть символом национальной гордости, выразителем чаяний и мечтаний русского народа. Почему? Надо понять. Поэтому в наше непростое время стоит внимательно и достаточно подробно взглянуть на жизнь великого князя и акцентировать смыслы, в ней коренящиеся.

Князь жил в 1221–1263 годах и принадлежал к династии Рюриковичей. Вокруг этой династии кружатся разные мнения и возникают споры. Рюрик появляется призванным на русское княжение в 862 году. Для Средних веков это время эпохальное и время больших перемен. В 800 году становится императором Запада Карл Великий, которого потом историки назовут «первым европейцем». И к сожалению, это первичность прямо связана с отчетливым и печально известным тыся-

чететним «дранг нах Остен» (натиск на Восток). В это время славяне в Европе занимают громадные территории. Проведите примерно линию от Дании на юг до Ядреного – Адриатического – моря, это и будет приблизительно западная линия поселения славян. Пока это разливанное море родов и племен с одним более-менее понятным всем языком, как и сегодня – на Волге окают, в Белоруссии акают, но в целом друг друга понимают. От Дании идет Балтийское славянское Поморье, которое потом станет немецкой Померанией. Южнее текут реки Одра и Лаба, которые потом станут немецкими Одером и Эльбой. В море расположен остров русских сказок Буян – остров Русский – Руян. Балтийское море называется Варяжским. Вар означает Вода, вспомните Карловы Вары, или Карловы Воды. Варяг – это своего рода «водник». Скандинавы пока имеют для Балтики не очень большое значение. Норманны, которые пугают Европу, – датчане. Норги-норвеги мало участвуют в походах, а шведы имеют столицей сначала Бирке (аж до 700 жителей!), а потом Сигтуну (аж до 3 тысяч). Легко понять, что это не «страна городов» и напугать кого-либо шведам трудно. Наша родина и тогда слыла «страной городов» – Гардарикой (ведь никто не спорит, что Киев, Новгород, Ладога, Изборск, Колывань и т. д. на севере уже существуют в то время). В карело-финском эпосе «Калевала» самый умный Вяйнемейнен – это, конечно, славянин, он искусен, знает разные ремесла. Значит, финны тоже не представляют большой опасности.

Осознав немецкую опасность, восточнославянские племена поняли, что их рознь может привести к печальным последствиям. Они призвали Рюрика. Известен Рюрик и по немецким летописям. Почему ильменские славяне призвали его? Да потому, что с острова Русский (Рюген сегодня), где было общеславянское святилище Святовита на мысе Аркона, приходит царь-жрец, который по традиции считается выше племенных вождей-князей. Именно поэтому Олег, приплыв в Киев уже после смерти Рюрика, не становится сам князем-вождем, а показывает маленького Игоря местным жителям и говорит: «Вот ваш князь». Имя Рюрик неупотребительно во франко-немецких языках, а в славянских оно означает «Сокол». Сегодня опять русофобы-норманисты говорят, что это иностранный «цивилизатор», поминают скандинавские различные наименования типа Ольга-Хельга (почему бы не Вольга?). Думается, женские имена мало что доказывают, ибо время было сугубо мужское. И посмотрите мужские имена: сын Рюрика Игорь, Сын Игоря – Святослав, а у Святослава – Владимир. Далее и продолжать-то незачем. Рюрик, Святослав, Владимир, конечно славянские имена, и даже если перетолковать Игоря в Ингваря, это не изменит ситуации. Поэтому уже наш Михайло Ломоносов и писал, что наша начальная династия была, безусловно, славянской. На острове Русском (Рюгене) жили славяне-руяне, или руги-русы. Рюрик переселился, и его подданных стали звать русскими.

Традиционное патриархальное общество имеет долгую память. Мальчик 12 лет должен сразу на вопрос «Кто ты?» перечислить своих предков в 12 поколениях. А у арабов Йемена взрослый человек должен был знать не менее 22 поколений. Три поколения – сто лет, значит, взрослый должен помнить предков за 7 веков. Князь – тем более.

Невский помнил.

Он помнил и то, кто для него и его рода был друг, а кто враг. Остров Русский (Рюген) захвачен датчанами и немцами. Славянское поморье становится немецкой Померанией. Город Зверин становится немецким

Шверином, Бранибор – Бранденбургом, Гданьск – Данцигом, Липецк – Лейпцигом и т. д. В 1147-м объявлен крестовый поход против славян. В 1168-м захвачен Рюген, город Аркона. Святилище Святовита уничтожено. Иными словами, бой с немецкой агрессией имеет многовековые корни. И Невский об этом знает – до рождения князя Александра оставалось всего 50 лет! Много ли это? Мы помним сегодня и Великую Отечественную войну, и Первую мировую, и царя не только по книгам, но и по воспоминаниям ближайших родственников. А уж в то время помнили тем паче. Значит, Невский помнил, кто уничтожил его родовую память и родовую отчизну – немцы!

Основные сведения о том времени мы получаем из текстов византийцев, которые не путают немцев и славян, скандинавов и славян. Эту я сказал вот к чему. Святослав ходил на Византию. У него были переговоры с императором Византии. Позади императора стоял ученый летописец Лев Диакон Калойский, который и описал Святослава как потомка Ахилла, как славянина, никаких намеков на немецкое или скандинавское происхождение не было высказано. Это отвлечение вроде бы от Александра Невского, а на самом деле просто подчеркивание той мысли, что память долгой череды поколений вовсе не была чем-то необычайным. Совсем наоборот. Если бы этого не было, то удивляло бы современников. Князь-то хорошо знал, кто его предки, чего они хотели, кто им был друг, а кто враг. И он был из русской династии и выражал русские мечты и надежды.

И еще одно обстоятельство, о котором стоит упомянуть.

В середине IX века жили и творили святые Кирилл и Мефодий. Они считаются авторами русской письменности. Однако важно напомнить, что сам Кирилл говорил, что видел в Корсуни (нынешний Севастополь) у русского купца записки с русскими письменами. А уже сегодня известна надпись первой половины X века на горшке из Гнездовских курганов под Смоленском «горухша». Эти два факта говорят о том, что Кирилл и Мефодий не создавали, а реформировали русскую письменность для христианских нужд, но сама письменность уже была. Поэтому и находки берестяных грамот (более 1000 из 12 городов), и мнение специалистов показывают, что письменность была широко распространена на Руси. А массовая грамотность требует и очень образованного правителя. И именно таким был Александр Невский.

Еще одно пояснение, без него будет непонятно многое в жизни нашего героя.

Русь получила правителя Рюрика. В родовом обществе это означало, что Русью правит род Рюрика. Однако каких-то правил наследования не было. Появлялись дети. Какое наследство должен получить каждый – начались споры. В 1097 году в Любече собрались князья и договорились о порядке правления и наследования, о лестничном восхождении. По лестнице-лестнице по смерти князя ему наследует следующий по старшинству его брат, затем следующий, а после братьев наступает очередь сыновей в том же порядке старшинства. Но род разрастался, и возникали споры. Вспомним ближайшие к нам города. Ростов Великий одно время был столичным городом, в котором правила «лутшие» (по происхождению) люди, а потом появился Владимир, в котором сначала правила «мизинные», «маленькие» по происхождению люди. Но город разрастался, а значение Ростова уменьшалось. Где должен сидеть главный князь? А почему в Ростове должен сидеть «маленький» князь? Почему должен наследовать сын, если сын еще маленький, а

его племянник уже вырос и известен своими способностями? Как тут быть? Жители начинали требовать себе более достойного. В результате лествичное право трещало по швам, а жители конкретного княжества начинали чувствовать себя хозяевами.

Как призвать их к порядку? Для малых достаточно предостережения – погрозить пальцем, а с большими как быть? Это должна быть серьезная угроза – военная сила. Большие города начинали то выгонять князя, то призывать его к себе. Великий Новгород так жил очень долго, пока в 1478 году военной операцией великого Московского князя был навсегда лишен своих привилегий. И, конечно, само перемещение князей очень ослабляло управление. Князь пришел, привел с собой бояр, они что-то начали делать, допустим, строить дорогу на север, а тут происходит перемещение князей, приходит новый князь и новые бояре, которые бросают строительство пути на север, а начинают строить дорогу на юг. Русь очень долго избавлялась от этого неудачного способа управления, пока пришла к самодержавию. Правда, если князь основывал город или новое княжение, то ему наследовали только его потомки. Так, в Москве стал первым князем сын Александра Невского. В Нижнем Новгороде после гибели основателя его права перешли к брату Ярославу, а после него к сыну Александру. Иными словами, Александр Невский – наш коренной князь, где он правил по «отчине». Но единой державой Русь не была. Даже в период Куликовской битвы на Руси было 15 самостоятельных князей! Империя Карла – «первого европейца» могла осуществлять «дранг нах Остен», а русские князья все продолжали свои свары.

У Ярослава Всеволодовича родился второй сын Александр. У историков есть несогласие в вопросе о годе рождения Александра. Однако президент России объявил 1221 год годом Александра Невского, поэтому будем исходить из одной цифры. В общем, это непринципиально. Отец Ярослав оставил двухлетнего Александра и пятилетнего старшего Федора с боярами в Новгороде, а сам уехал в Переславль-Залесский. И через некоторое время боярам с княжатами пришлось бежать из города, опасаясь буйства новгородцев. Причем затем похожая история повторилась, и приближенным боярам пришлось еще раз вывозить княжичей из буйного Новгорода. Как видим, недостатки правления тут же отзывались и на жизни Александра.

Старший брат Федор через некоторое время умирает, и Александр в период юношества становится главным наследником и старшим сыном Ярослава Всеволодовича.

О внешнем виде Александра. В Суздальской летописи говорится: «И воистину, не княжил бы он без повеления Божьего. Ростом он был выше других людей, голос его как труба в народе, лицо его как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила его была частью от силы Самсона. Дал ему Бог премудрость Соломона и храбрость царя римского Веспасиана, который пленил всю Иудейскую землю».

Стал смотреть в интернете замечания о внешнем виде князя. Обнаружил, что о голосе реакции нет никакой. Слава богу, хоть это принимается сразу. А вот рост почему-то очень беспокоил многих. Мнения, комментарии якобы специалистов – совершенно невежественные, зато с дилетантским апломбом. Дескать, Эйзенштейн в фильме снял двухметрового актера Черкасова, и этот образ заслонил реального князя. А князя как измерить? Мощей толком не сохранилось. И какие-то

диванные «историки» пишут, что есть рака погребальная, а ее размер примерно 165 см. А люди в то время были в основном маленькие – 165 см, а потому, мол, князь был примерно 168 см. И отсюда вывод: Эйзенштейн врал, а князь был такой вот невысокий. Я видел изначальную каменную раку (по этому образцу потом сделали злато-серебряную) Невского во Владимире в музее, размер ее указан выше правильный. Однако я не поленился спросить музейных работников о росте Александра и размере погребального ящика. Мне объяснили, что рака должна была быть из серебра-золота, а это очень дорого, Русь обнищала. Поэтому князя укладывали в нее с согнутыми в коленях ногами. Дома попробовал лечь и измерить себя с прямыми и с согнутыми ногами. Получилась разница по крайней мере в 40 см. Итого князь Александр Невский был ростом примерно 205–208 см! Ясно, что летопись говорит правду, прав и Эйзенштейн.

О красоте Невского меньше страстей, хотя тоже появились публикации «ревнителей истины». Кто-то пишет, что он был никакой, что в летописи просто написали ритуальную «приличную» формулу, кто-то пишет, что князь был «восточного вида». Мне кажется, что летопись не единственный источник. Ведь и в летописи говорится, что Батый был восхищен его внешним видом, есть замечание встречавшегося с князем западного посланника, в котором тоже отмечается его красота. Мне думается, летопись верна. Никто не доказал обратного.

Важнейшая часть жизни князя Александра – его ратные подвиги. Его положение в иерархии основательно повысилось – в марте 1238 года на реке Сити погиб его дядя и великий князь Владимирский и основатель Нижнего Новгорода Георгий (Юрий) Всеволодович. Отец Александра Ярослав Всеволодович становится великим князем Владимирским, а Александр как старший сын становится его наследником, а Нижний Новгород становится его отчиной. Отец продолжает держать его в Великом Новгороде.

В этих условиях князь Александр одерживает свою первую знаменитую победу, давшую ему прозвище Невский. В устье Невы и Ижоры высаживаются шведы и начинают какие-то земляные работы («рытье и обрытье»). Александру об этом докладывает разведка. Он берет с собой свою дружину, а потом по дороге присоединяет к своему войску ладожских дружинников и идет на шведов. Место сражения приблизительно около нынешней Александрово-Невской лавры. От Новгорода до места примерно 130 км. Князь проходит это расстояние достаточно быстро и рано утром 15 июля 1240 года обрушивается на не ожидавших его нападения шведов. Бой был скоротечным, летопись дает нам несколько имен отличившихся дружинников, специально отмечает воинскую доблесть князя. Александр сам участвует в бою, ранит шведского руководителя. Шведы бегут, понеся потери, причем на противоположном берегу кто-то избивает шведов (предположительно местное племя ижор). Александр возвращается с победой. Сражение отмечено и описано в наших летописях, у шведов нет упоминаний об этом бое. Впрочем, в это время у шведов нет регулярного летописания, оно достаточно обрывисто.

Второе известное сражение, выигранное Невским, получило название Ледового побоища. Новгородцы в очередной раз начинают свою бучу, высказывают претензии к Александру, и тогда князь уезжает в Переславль-Залесский. Именно в это время происходит очередной акт немецкой агрессии. Крестоносцы захватывают Псков, а затем многие

земли Новгорода. Горожане в испуге обращаются к великому князю Ярославу, а тот присылает опять Александра. Бой происходит 5 апреля 1242 года у Вороньего камня на Чудском озере. Известный прием удар клином, или «свиньей», позволяет немцам глубоко врезаться в русские ряды, однако бой продолжается охватом немецкого клина. Начинается избиение немцев. Разгром был таким, что сомнений в успехе не было ни у кого. Сражение отмечено в русских и немецких летописях. Конечно, имеется различие. В русских называется большее количество погибших рыцарей, нежели в немецких. Вряд ли в этом есть что-то неожиданное.

Однако эти наиболее известные сражения Александра Невского продолжают быть предметом споров у современных идеологов. Противники-русофобы пытаются навязать нам нечто продиктованное их предвзятой позицией, а не реальными историческими фактами. Так, Александр, по их мнению, отмечен классической русской несговорчивостью, агрессивностью. Вместо-де попыток договориться с европейскими завоевателями о совместных действиях по христианизации местных племен и по борьбе с монголами князь Александр занимает жесткую позицию, накидываясь на мирных европейцев по любому поводу. Довелось прочитать даже предположение о том, что шведы на Неве были просто торговцами и никого не трогали, когда Александр на них напал. Напомню этим якобы профессионалам, что существовал договор Новгорода о торговле, по которой купцы пользовались экстерриториальностью, а в Новгороде существовал Немецкий двор для торговцев с Запада. Однако после Невской битвы никаких жалоб от торговцев не зафиксировано. И биты были на Неве отнюдь не мирные торговцы, а вооруженные агрессоры. Прочие толкования нелепы.

В 1200 году немцы основали Ригу, в которой жили только католики немцы. Если местный латыш оставался на ночь в Риге, то его вешали христоробивые пришельцы. В 1217-м датчане захватили русский город Колывань. Город начал превращаться в Таллин – датский, а потом немецкий город. Прусское славянское население вырезали полностью. При этом стоит помнить, что в 1204 году крестоносцы 4-го крестового похода захватили Царьград-Константинополь, разграбили его и уничтожили Византию, забыв про Палестину. Это могло потрясти любого христианина. Ведь именно вселенские отцы церкви в Византии оформили туманно-поэтические религиозные мотивы в цельное строгое, стройное учение с молитвами и обрядами, сотворив тем самым саму церковь как христианскую организацию. И эту первую и христианскую страну – фактически основательницу Христова учения – европейские крестоносцы разрушили! Не зная этого и не оценивать князь Александр не мог. Напомню, что в Европе нашлось не очень много охотников отправляться на войну в Прибалтику. Поэтому пришлось объявить амнистию преступникам, которые и составляли основу крестоносных войск в Прибалтике. Они не замечали, что поляки или литовцы уже католики, но грабили и резали всех подряд. Для Александра же европейские немцы выступали несомненно опасными и страшными врагами. Они уничтожили его родовую отчизну-остров Рюген (Русский) с городом Арконой и святилищем Святовита, родину его рода и пращура Рюрика. Они же уничтожили и второе основание его жизни – Византию с Царьградом, родину христианства, откуда пришла на Русь его вера, ставшая стержнем русской жизни.

Неслучайно недоброжелатели Невского при описании столкновений князя Александра с немцами и или шведами-датчанами старательно

умалчивают о поляках и не очень вспоминают литовцев. Зато непременно подчеркивают дремучий звериный характер местных племен, не понимающих цивилизаторской миссии европейских агрессоров. А ведь под русской властью всегда (!) уживались разные племена и верования, разные религии – и католики, и мусульмане, и ламаисты, и язычники. И насилие по отношению к ним в связи с их верой никогда не применялось.

Итак, Александр проявил себя как отличный воин и талантливый военачальник. У него были и другие походы, не столь известные, однако военная слава его явно была громкой и заслуженной. Именно поэтому Русская православная церковь объявила князя Александра Невского покровителем самого главного вида русских войск – сухопутного. В этом акте есть своего рода наследование традиции, ибо и при царе, и при советской власти существовали ордена Александра Невского!

Однако главным в жизни князя была все же его политика. Он становился все более значимым правителем на Руси. И одну линию он выдерживал весьма постоянно – это взаимоотношения с Западом. Были и папские подсылы, и попытки уговорить его встать на сторону крестоносцев. Однако, как известно, князь каждый раз отвечал, что веру он получил, как и его народ, от других, не от Запада, и ей одной будет предан. Очень недоверчиво относился Александр ко всем посулам западных послов. Вероломство и двуличие западной политики ему была известна.

Второе направление политики Александра Невского – его отношения с татаро-монгольскими завоевателями. Нужно хотя бы в общих чертах представлять тяжесть и сложность этой проблемы. Направления и организацию всей конструкции и политики татаро-монголов создал Чингиз-хан. И сегодня можно сказать, что ничего похожего по мощи и масштабам мировая история не знает. Была создана военная машина, которой не мог противостоять никто. Если из десятка бежал хотя бы один воин, то подвергался казни весь десяток. Отступление татаро-монгольских войск было возможно лишь ложное – для завлечения противника в засаду и последующего разгрома. У захватчиков были и талантливые полководцы – уже в школе дети знают имена полководцев Джэбэ и Субудая. По рассказам современников, по фронту монгольское войско могло быть длиной в 14 дней пути, а в глубину – на 20 дней пути! Конечно, это сильное преувеличение, однако завоевания монголов и эффективность политики показывают, что ничего похожего мировая история не знает.

В период расцвета монгольская империя занимала территорию раза в два больше территории будущего Советского Союза, а те страны, которые не были завоеваны, остались такими лишь потому, что у завоевателей почему-либо, как говорится, руки не дошли. Несколько фраз о завоеваниях. 1207–1227 годы – завоевание и подчинение Сибири и Восточного Туркестана. В 1211–1234-й – завоевание Северного Китая. 1215-й – завоевание Семиречья. 1219–1221 – завоевание Средней Азии. 1222–1223-й – походы в Закавказье и Северный Кавказ. 1231–1273-й – завоевание Кореи. 1232-й – разгром Волжско-Камской Булгарии. 1235–1279-й – завоевание Южного Китая и окончательное подчинение всего Китая. 1283–1287-й – завоевание Бирмы, затем Кашмир и Пенджаб, затем Вьетнам, Афганистан, Иран, Малая Азия, Сирия и Палестина. Монгольские войска, как известно, завоевали Русь, а затем вышли в Европу, где также разгромили венгров, поляков, чехов, немцев. И объединенное войско европейцев под Легницей было разгромлено.

В самой монгольской метрополии была начата подготовка похода «к последнему морю», для чего были призваны 14-летние мальчики с расчетом, что за время похода они вырастут и повзрослеют. Из целей монгольских походов не были захвачены только Япония и Западная Европа. Про Японию достаточно сказать, что не сопротивление аборигенов, а природные катаклизмы помешали завоевателям. Мощные бури не дали завоевать Японию, разметав флот захватчиков, откуда и пошло японское выражение «камикадзе», то есть божественный ветер. Похожее соображение можно высказать и про Европу. У монголов просто руки не дошли, а сопротивление было бы сломлено без всякого сомнения.

Сражаться с татарами означало обречь свой народ на смерть. Напомню, что и через сто лет, в период Куликовской битвы, Русь не была единой, а имела 15 независимых правителей, и осмелились сражаться только с Мамаем, то есть не чингизидом, а уклонистом и татарским сепаратистом. В ходе Батыева нашествия было уничтожено множество русских городов, из которых 14 никогда не были восстановлены (столько городов никогда не было во всей Скандинавии). В числе таких городов была, например, Старая Рязань. Случайно сохранился Великий Новгород.

Александр приходилось думать о том, как сохранить русский народ. Он был вынужден занять примиренческую позицию по отношению к захватчикам. Он, боец и полководец, показал себя великолепным дипломатом. Князь увидел единственно возможный путь выживания в новой политической обстановке. Неслучайно сегодня часто повторяют мысль о том, что Невский был первым геополитиком. Он неоднократно ездил в столицу монгольской империи Каракорум, подружился с Батыем и его братом Сартаком, тем более что Сартак был христианином. Александр видел, что татары в принципе не меняют жизненного уклада людей, если им подчиняются. Города и населенные пункты оставались русскими, а веры они вообще не касались. Более того, церковь и священнослужители освобождались от налогов.

Иными словами, это была отнюдь не жесткая немецкая оккупация, после которой славянское Поморье становилось немецкой Померанией, славянский город Зверин – немецким Шверином, и молиться можно было лишь по латинскому обряду. А в результате славянский Запад Польши становился немецким, впрочем, как и чешский, где Карловы Вары оказались Карлсбадом. А славянские Беловы становились фон Беловыми и самыми отъявленными немцами.

Монголы не лезли в душу народа, не мешали молиться своим богам, иметь свои представления о жизни. Фактически Русь попадала в положение вассала, а не жесткой оккупации. Более того, Александру удалось договориться с татарами о том, что Русь не будет платить налог кровью, то есть не будет поставлять своих людей в татарское войско. В то же время князь умудрялся беречь русский народ и тем, что договаривался о сборе налогов своими силами, а не с помощью татарских баскаков.

Излишне ретивые соотечественники не всегда понимали его политику. И его брат Андрей, будучи великим киевским князем, спровоцировал народное возмущение против татарских баскаков, фактически организовал народный антитатарский бунт. В результате второй раз после Батыя Русь пережила татарское нашествие – Неврюеву рать. Александр не мог повлиять на происходящее на Руси, так как он в это время был в Каракоруме, в Орде. Однако ему удалось смикшировать татарский

удар, и он постарался договориться о последующем сборе налогов без баскаков, а татары ему предложили стать великим князем в Киеве. В дальнейшем ему удалось мирно договориться и с братом.

Для Руси принципиальное отличие политики князя Александра по отношению к католическо-европейским кругам и политики по отношению к татаро-монгольским имело важнейшее значение. Политика крестоносцев и всяких рыцарских орденов приводила к онемечиванию населения, христианизация приводила или к католицизму и бесконечному выкачиванию десятины в пользу Римского папы, епископов, церкви, предельно униженному и даже рабскому положению местного населения по отношению к европейским «цивилизаторам», или выбором была смерть. Судьба пруссов – тому пример. Европейский путь есть жестокая оккупация без права быть самим собой. Татаро-монголы же не касались местных религиозных верований вообще, а иногда даже становились христианами по собственному выбору, как Сартак. Местная культура их также не беспокоила, и они в нее не вмешивались. Татаро-монголы могли брататься с русскими всерьез, становиться товарищами. Иными словами, власть чингизидов оставляла русских русскими, территории и верования теми же самыми, их интересовали только налоги. Они оставляли жизнь и душу. Разница, как видим колоссальная и принципиальная.

И, наконец, третья и особая черта князя Александра Невского проявлялась в его политике по отношению к своему народу. Эта политика отличалась заботливостью и вниманием, большим терпением и патристической любовью. Вспомним хотя бы взаимоотношения князя и новгородцев. Еще не став взрослым, князь несколько раз был вынужден бежать из Великого Новгорода – вроде бы весьма серьезное основание относиться прохладно к новгородцам. Однако мы ни в чем не видим такого отношения. Наоборот, новгородцы все больше проникались представлениями о князе как подарке судьбы, который они должны ценить и любить. И все чаще они обращались к князю как к защитнику их интересов. Фактически лишь однажды князь проявил себя как жесткий руководитель, когда приговорил наместника Пскова, открывшего ворота захватчикам и помогавшего им захватывать земли Новгорода. Кара предателю последовала незамедлительно, он был казнен. И вместе с тем, чем больше Русь узнавала Александра, тем большим уважением и любовью он пользовался. К концу своей жизни он и князь Новгорода, и великий князь владимирский, и великий князь киевский, и патрон и владелец своих отчих владений Москвы и Нижнего Новгорода. Можно предположить, что если бы не оборвалась жизнь князя неожиданно, то он мог начать, и весьма успешно, объединение Руси уже тогда. Без него этот процесс затянулся.

И неслучайно, как только Русь переживала тяжелые времена, вспоминали о князе Александре. Так было и в 1547 году, и перед страшным сражением при Молодях, и в начале царствования Петра. Всегда возникал образ святого благоверного князя Александра Невского, обозначающего надежду, и направление развития России. И неслучайно и в царское, и в советское время существовали ордена Александра Невского, которыми награждали и за воинские заслуги, и «в воздаяние трудов, для Отечества подвигавшихся».

Сегодня, в очередной период «европобесия» и русофобии, началась атака на князя. Как только его не «развенчивают»! Однако вот что бросается в глаза. Написал писатель в книге об Александре Невском

об ухоженных руках князя. Боже мой, какой крик поднялся! Князь воин, князь мужчина, князь русский, а всем этим категориям не свойственно заниматься своими руками. Ну а как же пушкинское «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»? Какое там! Не пробиться сквозь этот шум мнению Пушкина! И вот надо же – на раскопках в Новгороде был найден косметический набор князя. Вот это поворот!

Нынешняя свистопляска вокруг Невского, как уже говорилось, прямо связана с нападками на Эйзенштейна за его фильм об Александре. Это-де и лубок, и пропаганда, и неисторично, и т. п. А вы возьмите собрание сочинений Эйзенштейна и почитайте. Ведь прошел уже истерический период, когда свергали кумиров вроде Хренникова или Бондарчука, когда требовали порулить и обещали создать либеральные шедевры, какие и не снились этим жалким «тоталитарным личностям», – и, конечно же, ничего не создали, только разрушали и разрушали. Эйзенштейн очень старательно готовился к созданию своего произведения. Он прочитал и изучил все, относящееся к теме. В результате появился фильм и образ Александра Невского. Он всем известен. И во всех спорных вопросах Эйзенштейн оказывается ближе к истине, нежели современные якобы ученые и диванные исследователи.

И закончить хочется словами же Эйзенштейна. Он обратил внимание, что Александр Невский причислен клику святых за свою жизнь. Борис и Глеб стали святыми за свою мученическую смерть. Совершенно так же стал святым и Андрей Боголюбский. Как тогда понять «святость» князя Александра? Вот что пишет С. Эйзенштейн: «Прежде всего разберемся по существу, чем является само это звание “святого”. По существу оно в тех условиях не более как самая высокая оценка достоинств, достоинств, выходящих за пределы общепринятых тогда норм высоких оценок – выше “удалого”, “храброго”, “мудрого”. ...Здесь дело в том комплексе подлинной народной любви и уважения, который до сих пор сохранился вокруг фигуры Александра».

Благодарную память о князе хранят и наши земляки. Именно здесь, на земле нижегородской, окончив свои земные труды, принял князь иноческое пострижение с именем Алексей и отправился в небесные обители, где и поныне не оставляет служения Родине силой примера своего – ратных подвигов, государственной мудрости и любви к Отчизне.

Воистину, имя России.

Федор СЕЛЕЗНЕВ

Родился в 1968 году в Горьком. Проходил срочную службу на Краснознаменном Тихоокеанском флоте. Окончил исторический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Работал на кафедре истории России досоветского периода и краеведения исторического факультета ННГУ. В настоящее время профессор кафедры зарубежного регионоведения и локальной истории Института международных отношений и мировой истории (ИМОМИ), заведующий центром краеведческих исследований ИМОМИ ННГУ. Доктор исторических наук, член экспертного совета ВАК РФ по истории.

В сфере научных интересов, в частности, теория элит, история старообрядчества, биография П.И. Мельникова-Печерского, экономическая история России и Нижегородского края, политическая история России начала XX века, история нижегородских народных промыслов, биография Юрия Долгорукого. Автор более двух сотен научных публикаций, ряда монографий.

Живет в Нижнем Новгороде.

ХРАНИТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Время Александра Невского

Александр Невский – великий полководец и государственный деятель Древней Руси. В народе о нём вспоминают с уважением. Люди неслучайно сохранили добрую память об этом князе. Александр Невский дал достойный отпор захватчикам с Запада – немцам и шведам. Что касается монголов, то по отношению к ним Александр действовал мудро и гибко, оберегая русские земли от разорения.

Во времена Александра Невского Монгольская империя управлялась великим ханом, находившимся в городе Каракоруме, и состояла из нескольких частей – улусов. Ближайшим к русским землям был улус, выделенный в своё время Чингисханом своему сыну Джучи. Его принято называть Золотой Ордой. Первым ханом Золотой Орды стал Батый, сын Джучи, победивший мордву, болгар, половцев и русских. После захвата болгарских земель он обосновался совсем недалеко от Нижнего Новгорода – в городе Болгар (ныне в Спасском районе Татарстана). В 1250-е годы столицей Батыя стал город Сарай-Бату («Дворец Батыя»), построенный в низовьях Волги (около нынешнего села Селитренное Астраханской области, на восточном берегу Ахтубы).

Поскольку Золотая Орда непосредственно соседствовала с русскими землями, Александр Невский старался не ссориться с Батыем. В этом отношении он продолжил политику своего отца, Ярослава Всеволодовича.

Ярослав стал править во Владимире в 1238 году, сменив своего погибшего в битве на Сити брата, Юрия Всеволодовича. Это было тяжелое время. С разных сторон Русской земле грозили враги. И хотя сын Ярослава, Александр Невский, разгромил шведов и немцев, они вполне могли вернуться вновь, с ещё большими силами. В этих условиях Ярослав решил урегулировать отношения с Золотой Ордой и в 1243 году поехал к Батыю. Как сообщают летописцы, хан оказал Ярославу «великую честь» и назначил его старшим среди русских князей. На другой год (1244) к Батыю поехали князья Владимир Угличский, Борис Ростовский и Василий Ярославский «просить о своих отчинах». Батый и их почтил «достойной честью», распределив каждого в свою отчину. С тех пор повелось, что князья стали ездить в Орду за дозволением вступить в управление отцовским княжеством.

Следует сказать, что право на отцовское княжество (или «отчину») имели все сыновья по очереди. Сначала отчиной должен был управлять старший брат, потом средний и так далее. От последнего из княживших братьев престол переходил в линию внуков. Таким образом, отчина (её ещё называли «великим» или «большим» княжением) переходила не по прямой нисходящей мужской линии (от отца к сыну и внуку), а от старшего в роду к следующему по старшинству (от брата к брату, потом от младшего дяди к старшему племяннику).

Князьям, не получившим великого княжения, великим князем выделялись особые области для правления – уделы. Если удельный князь так и не побывал великим князем, то и его сыновья теряли право на великое княжение.

Такой порядок наследования княжеских столов существовал со времен Любечского съезда князей, состоявшегося ещё в 1097 году. Монголы не стали его менять. Правда, в литературе существует мнение, что ярлык на великое княжение монголы давали не старшему из князей, а тому, кто был наиболее удобен им политически или обещал дать большой «выход». Однако сведения летописей показывают, что нарушения старинного порядка наследования были редким исключением из правил.

Так, монгольские ханы никогда не пытались дать ярлык на великое Владимирское княжение ростовским, ярославским и угличским князьям. Почему? Потому, что Василек, князь Ростовский и Всеволод, князь Ярославский, сложили головы в битве на реке Сить, не успев покняжить во Владимире. Не дождался владимирского стола и Владимир Угличский. Поэтому их потомки – ростовские, ярославские и угличские князья – уже никогда не претендовали на Владимир. Так же как, например, князья рязанские или муромские – ведь их отцы не правили в этом городе.

Когда от погибшего Юрия Всеволодовича великое Владимирское княжение перешло к его брату Ярославу, то два других брата получили уделы: Святослав – Суздаль, а Иван – Стародуб на Клязьме. Святослав на владимирском столе побывал, а Иван – нет. Следовательно, потомки Ивана выпали из состава возможных претендентов на великое Владимирское княжение. Они составили особую линию князей Стародубских.

А как же монголы? Неужели они никак не влияли на наследование княжеских столов? Ответим так: они переход великого княжения узаконивали. Прежде чем вступить в управление им, наследник должен был с подарками съездить в Орду за ярлыком – особым документом на право княжения. Ездили князья в Орду и если между ними возникали

споры о старшинстве. Тогда хан определял, кто из князей стоит первым в очереди.

Черед Александра Невского пришел в 1252 году. Он был великим князем Владимирским до 1263 года. В это время под его непосредственным управлением находились Городец и Нижний Новгород.

За эти годы Александру приходилось неоднократно бывать в Городце и Нижнем Новгороде на пути в Золотую Орду. Здесь же останавливались ездившие в Орду за ярлыками другие русские князья. Иногда они встречались между собой и вели предварительные переговоры.

Такой княжеский съезд состоялся в 1256 году. После смерти Батыя русские князья съехались в Городец и Нижний Новгород, чтобы потом отправиться в Сарай-Бату. Побывал на съезде и Александр Невский. Сам он, однако, в Орду не поехал. Расклад сил там был слишком неясным. Неожиданно умер сын Батыя и союзник Александра Невского, Сартак. Развернулась борьба между сторонниками его сына Улагчи и братом Батыя, Берке. Мудрый Александр счел за благо дожидаться исхода этого противоборства, а пока отправил в Орду из Нижнего Новгорода дары.

В следующем году (1257), когда Улагчи утвердился на престоле, Александр отправился к новому хану лично, видимо, снова через Нижний Новгород. Однако вскоре трон все-таки завладел Берке. И в 1258 году Александру опять пришлось ехать в Сарай-Бату.

Еще раз Александр Невский посетил Нижний Новгород в 1262 году. В этом году в Ростове, Суздале, Владимире и Ярославле вспыхнуло восстание против монгольских сборщиков дани. Хану Золотой Орды Берке это было на руку, поскольку они были присланы от хана монгольской империи, от которой Берке стремился обособиться.

При Берке Золотая Орда фактически становится независимым государством. После 1262 года её ханы сами стали получать дань с русских земель. Кроме того, Берке стремился использовать русские рати в войнах со своими соперниками. Он хотел, чтобы русские приняли участие в его походе против Хулагу, монгольского правителя Ирана. И Александр Невский в 1262 году отправился к Берке, чтобы, как сообщает летописец, «отмолить людей от беды той». Русскому князю пришлось провести в Золотой Орде целый год. Домой он возвращался больным. В Городце недуг совсем одолел Александра Ярославича. Видимо, он почувствовал, что конец его близок и до Владимира ему не доехать. По обычаю князья перед уходом из жизни становились монахами. 14 ноября 1263 года Александр Невский принял в Городце монашеский постриг и в ту же ночь скончался. Затем из Городца тело его было отвезено в столицу княжества, Владимир. Там его и похоронили. Люди горько оплакивали смерть князя. В надгробной речи митрополит Кирилл сказал: «Чада мои, разумейте, яко уже зайде солнце земли Суздальской!»

Жители Городца бережно хранят память об Александре Невском. Еще в 1700 году по почину городчан был построен храм во имя Феодоровской иконы Божьей Матери с приделом во имя Александра Невского и учрежден Феодоровский монастырь. Некоторые историки полагали, что монастырь с таким названием существовал и в древнем Городце и именно там принял постриг великий полководец Древней Руси. Ныне Городецкий Феодоровский монастырь — одно из мест особого почитания Александра Невского. В 1993 году в Городце на берегу Волги был поставлен величественный памятник князю Александру.

Александр ЦИРУЛЬНИКОВ

Родился в 1937 году в городе Николаеве УССР. После эвакуации с 1941 года живет в Нижнем Новгороде. Окончил историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского.

Работал редактором общественно-политических и информационных программ Горьковской студии телевидения, собкором Гостелерадио СССР, ГТРК «Останкино», телекомпании ОРТ в Нижегородской области, представителем издательства «Воскресение», ведущим и старшим редактором Нижегородской государственной телерадиокомпании НТР.

Прозаик, поэт, публицист, автор трех десятков книг прозы и стихов. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии «Болдинская осень», премий Нижнего Новгорода, областной премии имени А.М. Горького, кавалер ордена Дружбы, ордена Почета.

Живет в Нижнем Новгороде.

РАДИ ЭТОГО СТОИТ ЖИТЬ

45 лет назад, 14 октября 1976 года, в 20 часов 40 минут московского времени, с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз-23». Командиром его был наш земляк, уроженец города Бора, 34-летний подполковник Вячеслав Дмитриевич Зудов, а бортинженером – подполковник-инженер Валерий Ильич Рождественский, ныне ушедший.

Многолетняя дружба связывала обоих космонавтов с нижегородским журналистом Александром Цирульниковым, который передал нашему изданию главы из своей документальной повести «Ради этого стоит жить».

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Позывной – «Радоны»

Ракета белая вся и вся словно в дымке.

Стартовый стол в эти минуты, как остров среди ночи, сияющий яркими огнями. Ракета в перекрестье мощных прожекторов. Площадки, балконы, фермы обслуживания как будто обнимают ее на прощание по всей высоте.

Несколько минут назад началась заправка ракеты топливом. По большим рукам, покрытым серебристой изоляцией, подают окислитель. Это жидкий кислород. На какой стадии эта работа, можно определить по такому

признаку: блоки первой ступени – огромные «сигары» почти двадцатиметровой длины покрылись толстым слоем инея. Первая ступень заправлена. Вокруг ракеты клубы пара. В общем гуле слышно характерное шипение: из дренажных клапанов вырывается вытесняемый из топливных баков воздух вместе с испаряющимся кислородом. Это тоже одна из операций – дренаж окислителя. Рядом с ракетой находится специально оборудованная железнодорожная цистерна с горючим. Горючее для ракет-носителей – всем известный керосин, но хорошо очищенный от примесей влаги и запаха. Все вроде обычное: и жидкий кислород – не новость, и керосин – не секрет. И тем не менее заправка ракеты топливом – это сложнейшая операция, которая выполняется и контролируется с помощью целого комплекса систем автоматики. Тут главное – обеспечить высокую точность дозирования. А ведь речь идет не о каких-то там килограммах, а сотнях тонн! С каждой минутой ракета становится все тяжелее и тяжелее. А когда заправка закончится, ее вес увеличится почти в десять раз.

Вот уже горючее поступило в баки, и клубы пара напитываются запахом керосина и разносят его по всей округе.

Но космонавты этого запаха не чувствуют. Они в кабине на самом верху ракеты, закрытом обтекателем. Вся их связь с внешним миром осуществляется по радио, они слышат и дублируют команды и сообщения из штаба запуска, а там на экранах служебного телевидения размножены их лица.

– Опустите стекла гермошлемов!

На телеэкранах видно, как выполняется указание. Командир экипажа доложил:

– Я – «Радон-один». Стекла гермошлемов опустили, находимся в режиме готовности...

Зудов вошел в корабль после Рождественского – на мгновение задержался на лифтовой площадке и помахал окружающим. Потом вдвоем наглухо закрыли люк и разместились на рабочих местах, рядом. Вячеслав в кресле командира, а Валерий – бортинженера. Переглянулись. Пожали друг другу руки. До старта оставалось два часа.

И было их только двое. Как много раз до этого они бывали вот так же вдвоем. И по привычке везде и всегда усаживались так: справа – бортинженер, слева – командир. Валерий как-то даже признался Вячеславу: «Когда посмотрю налево, а тебя нет рядом, даже как-то странно становится, а потом соображаю – я же у себя дома...»

В первые минуты пребывания в кабине Зудову показалось, что они вовсе не в корабле, который через сто двадцать минут покинет Землю, а опять на привычном тренажере, который никуда не улетит. Кабина тренажера как две капли воды похожа на кабину космического корабля. Вот почему все было знакомо. Одиннадцать лет назад каждый из них своим путем пришел в отряд космонавтов, пять лет назад по приказу командира они были объединены в один экипаж. И три года из этих пяти провели только вдвоем: на различных тренажерах!

Полет в космос, работа на орбите были мечтой. Проходили годы, а они все готовились и готовились. Как оказалось, к сегодняшнему дню – 14 октября 1976 года.

Позавчера на пресс-конференции на вопрос, что они считают главным в своей профессии, Вячеслав ответил:

– Главное? По-моему, уметь не расслабляться и быть всегда в форме...

А Валерий уточнил:

– Уметь жить и работать, несмотря на то что цель, к которой стремишься, может отодвигаться на годы. Представьте себе артиста, который доходит до генеральной репетиции, а на спектакль не выходит, и так в течение многих лет. В профессии космонавта, когда ты работаешь дублером, это обычная, рядовая ситуация.

Дублерами они были два раза – у Сарафанова и Демина и у Воынова с Жолобовым. Да еще в экипаже поддержки, то есть вторыми дублерами у Поповича и Артюхина.

Предстартовые минуты, пожалуй, самые напряженные. Впереди очень ответственная и тяжелая работа, и в нее нужно постепенно втянуться, вжиться. Поэтому космонавты и садятся в корабль за два часа до старта, чтобы настроиться.

По радио передали, что до пуска сто десять минут. Ведется обратный отсчет времени. Ему подчиняются действия всех служб. Каждая должна уложиться в отведенный для нее срок.

– Я – «Заря», приветствую «Радона-один» и «Радона-два», видим вас отлично, разместились вы по-хозяйски. Данные телеметрии хорошие. Все рады за вас и желают успеха.

Это обратился к экипажу генеральный конструктор станции «Салют-5» Владимир Николаевич Челомей, космонавты его называли «ВэЭном». Он был секретным ученым, и фамилия его не звучала даже в разговорах между людьми, которые вместе с ним работали. Так же сокращенно – по инициалам – называли когда-то и Сергея Павловича Королева – ЭСПэ.

– Я – «Радон-один», спасибо, самочувствие хорошее, настроение рабочее.

Позывной экипаж выбирает себе сам. Слово должно содержать как можно меньше букв и звуков, быть понятным звучным, хорошо читаемым. До того как назваться «Радонами», Зудов и Рождественский перебрали десятки вариантов. А потом как-то Валерий предложил:

– А что если будем «Радонами»? Произносится просто и легко. Нейтральный газ из таблицы Менделеева. Береговой же был «Аргоном».

Вячеслав несколько раз повторил слово, как будто попробовал его на слух и согласился:

– Ты, знаешь, звучит! «Радон-один», «Радон-два», а в сущности какая разница: не позывной красит космонавта!

Товарищи по работе

Валерий Рождественский на три года старше Зудова, но выглядели они ровесниками. Одного роста, тонкие, подтянутые. У смуглого темноглазого Вячеслава была копна черных волос на голове и легкая синь на щеках, которую ни одна бритва не убирала. Валерий, наоборот, был светлым, белесым, глаза серые с голубым отливом. В отряд космонавтов оба были приняты в 1965 году, так что за год до старта получили традиционные в Звездном городке медали «Десять лет в отряде космонавтов».

За Рождественским сразу же закрепилось прозвище «Адмирал», потому что пришел он с Балтфлота. Сын моряка, окончил в своем родном Ленинграде Высшее военно-морское училище имени Ф.Э. Дзержинского, а потом четыре года командовал группой

водолазов-глубоководников аварийно-спасательной службы в Лиепае. Там в основном работал на подъеме судов, уходя под воду в паре с товарищем.

– Так же, как и в космическом экипаже, – подчеркивал Валерий, вспоминая о своей первой профессии. Однажды он сказал мне: – Вообще-то в выборе товарища по экипажу у космонавта меньше возможностей, чем в выборе жены, а времени с ним проводишь гораздо больше, чем в семье. И «разводов» здесь быть не может! Во время подготовки к полету мы со Славой за полтора месяца в тренажерах провели 290 часов, выходит, мы совершили двенадцатисуточный «космический» полет на Земле!

С Зудовым мы тоже обсуждали совместимость характеров нескольких совершенно разных людей во время длительной работы на орбите. Он сказал:

– В космическом экипаже происходит не просто арифметическое сложение сил командира и бортинженера. Совместная работа двух специалистов на орбите подчиняется более сложным законам. Но при одном условии – члены экипажа должны понимать друг друга с полуслова. Строго разделения функций, конечно, нет. Должно быть полное доверие и взаимопонимание.

Если говорить о нас с Валерием, то каждый ощущает другого как свое второе я, но мы не «сиамские близнецы». И этап притирки в первый год совместной работы не был гладким, пока привыкали к личным особенностям друг друга.

За много лет общения с Вячеславом и Валерием могу сказать, что друзьями типа водой не разольешь они так и не стали. И не стремились к этому.

– Ты пойми, мы – товарищи по работе, и это самое главное! – убеждали меня и Вячеслав, и Валерий. – Какими бы хорошими друзьями ни были два гребца на распашной лодке-двойке, но если они не стали единым организмом в работе во время гребли, то никакая дружба не поможет им выиграть заезд...

В обыденной жизни у них были совершенно разные интересы, у каждого свой круг знакомых, и отпуска, как правило, они проводили не вместе и даже в разных местах. Несколько раз я оказывался на днях рождения у того и у другого и ни разу не встречал за столом экипаж «в полном составе». Вначале я удивлялся, а потом принимал как должное. Это мои коллеги-журналисты придумали термин «звездные братья», а в жизни и первые космонавты, и их последователи были просто товарищами по работе.

Трудная участь дублеров

– Как самочувствие? Скоро вам в путь, ребята! Пишите!

– Спасибо! Все хорошо! Будем писать, конвертов много!

Это на связь с экипажем вышли дублеры – Георгий Горбатко и Юрий Глазков. Горбатко уже летал в космос, а Глазков с нетерпением ожидал своего часа. (Они оба полетели в феврале 1977 года на корабле «Союз-24».) Дублеры знали, что Зудов и Рождественский взяли с собой пачку почтовых конвертов и свои фотографии, чтобы надписать их на орбите, а вернувшись на Землю, раздать друзьям. (В скобках замечу, что я тоже оказался в числе обладателей автографов из космоса.)

Вячеслав, будучи дублером, знал, как трудно отрешиться от мысли, что полетишь не ты, а другой человек. А в минуты ожидания своего

старта представил, как сидят в бункере его и Валерия дублеры и видят перед собой на стартовом столе нацеленную в небо ракету. Собственно, дублеры не просто сидят и наблюдают за происходящим, а мысленно действуют вместе с улетающим экипажем. Вот выдана очередная команда, и дублеры должны сообразить, почему эта команда выдана, и – опять же мысленно – выполнить ее. И в корабле думают о том же самом, но реально выполняют приказ и следят, прошла команда или не прошла. Все предстартовое время синхронно действуют два экипажа – основной в корабле, а запасной – в подземном бункере. И ты, дублер, так втягиваешься в эту работу, что просто забываешь о том, что не тебе сегодня лететь.

И – взлет!

А потом выходишь из бункера, а стартовый стол пуст. Улетели...

И тогда щемящее чувство – почему не ты? Не то чтобы обида, а как-то не по себе становится. И сам себя успокаиваешь – ну, в следующий раз обязательно...

Дублеры готовятся наравне с основным экипажем и в полном объеме проходят всю программу подготовки. Так что в любое время могут занять место основного экипажа. Да и сами понятия – основной экипаж и дублирующий экипаж – пока еще совершенно условны. Это соперники, которые могут поменяться местами. И такое не раз случалось.

За примерами недалеко ходить: на станцию «Салют-3» должен был лететь экипаж – Леонов, Кубасов и Калугин. Но незадолго до старта во время рентгена медкомиссия обнаружила у Кубасова какие-то недлады с легкими, и вместо этих космонавтов на орбиту отправились их дублеры – Волков, Добровольский и Пацаев. А пока они работали в космосе, Кубасова снова обследовали, и выяснилось, что у него со здоровьем все в порядке, просто рентгеновский аппарат выдал неверные показания. Оставшийся безработным бывший основной экипаж страшно переживал несостоявшийся взлет и завидовал своим бывшим дублерам.

При посадке из-за разгерметизации спускаемого аппарата Волков, Добровольский и Пацаев погибли. Получается, дублеры заменили первый экипаж не только в жизни на орбите, но и в смерти при возвращении на Землю...

Когда космонавты уже выполняют программу на орбите, дублеры отчасти повторяют ее на Земле, на аналоге космического корабля или научной станции. Бывает, у космонавтов в работе запарка случается. Нужно найти выход из той или иной сложившейся ситуации. Там, наверху, некогда искать варианты, необходимо выполнять запланированное задание. Тут на помощь придут дублеры. Они в спокойной обстановке проведут эксперименты, проанализируют все, отыщут решение. И их рекомендации передадут на орбиту космонавтам.

...После обеда, когда до старта оставалось шесть часов, Вячеславу и Валерию предложили на два часа прилечь отдохнуть. Зудов пришел в свою комнату, лег и сразу заснул. Разбудил его Владимир Александрович Шаталов:

– Что же ты разоспался? Вставай, а то дублеры улетят!..

А разоспался Зудов потому, что долго не мог уснуть прошлой ночью, когда оставались всего сутки до команды «зажигание». Все эти дни он никуда не мог уйти от мысли о полете. Отвлечься не удавалось даже

на рыбалке, за бильярдом, у телевизора. Наедине или вдвоем с Валерием в сотый раз он мысленно проигрывал все, что предстоит выполнить. Или намечал какой-то участок полета и детально разбирал все действия – и свои, и бортинженера в той или иной возможной ситуации. Естественно, все это сопоставлялось с давным-давно заученными наизусть инструкциями.

За день до старта, как и всем летавшим до них, Зудову и Рождественскому предоставили полный отдых. Забрали всю документацию, потому что если ее оставить у космонавтов, то они все равно будут корпеть над ней, как корпят студенты над конспектами за час до экзамена.

День прошел в ничегонеделанье и потому был длинным и скучным. На всех, кто общался с космонавтами, врачи надели маски, каждый боялся на них лишний раз дохнуть. Да и сами они старались обезопасить себя от малейшего сквозняка, любой другой неприятной случайности. Ведь было же у американцев такое, когда за несколько часов до старта один из астронавтов вдруг заболел крапивницей и весь экипаж остался на Земле, полет пришлось отменить...

Задолго до старта

Когда 4 октября 1957 года в Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник Земли, Вячеслав учился в школе. Возникло какое-то неясное желание участвовать в новом деле. Впрочем, оно было у всех ребят, записавшихся в физический кружок. Руководила им преподавательница физики, влюбленная в свой предмет и поощрявшая ребячью фантазию.

Однажды Зудов со своим одноклассником и тезкой Славой Зерновым сконструировали гидравлическую ракету. Запустили ее в «космос» на кухне дома у Вячеслава. Раздался звук, похожий на выстрел, ракета взлетела, отбила кусок потолка и осталась торчать наверху. Прибежала испуганная мать. Но опыты на этом не закончились. Строились новые ракеты с водяными двигателями. Они уносили под кухонный потолок спутники – металлические шарики от подшипников. Ребят совсем не смущало, что после каждого очередного удачного или неудачного запуска двигателя заливали комнату водой и нужно было, пока Анна Ивановна не вернется с работы, успеть все прибрать.

Потом оба Славы построили ракету на пороховом двигателе. Им удалось достать минного пороха, он крупнее обычного, а значит, время горения у него дольше, и двигатель получался мощнее.

Космодромом становилось заснеженное поле за деревней Высоково под Электросталью. Учительница в коротких сапожках лазила по сугробам вместе с мальчишками. Установили ракету – в комнате она казалась большой, а здесь, в широком поле, выглядела совсем маленькой – подвели бикфордов шнур. И – вся система сработала! Правда, ракета высоко не поднялась и летела, кувыряясь, но ведь все-таки взлетела!

Оба Славы решили заняться более серьезным делом: рассчитать и построить для новой ракеты реактивный двигатель внутреннего сгорания. Когда они принесли свои расчеты на консультацию к учительнице, та смущенно развела руками:

– Милые мои, я только преподавательница школьной физики, мне не под силу научить вас строить настоящие ракетные двигатели...

На орбиту – к Рериху!

...Теперь же самые настоящие ракетные двигатели готовы были взрывать далеко внизу, под капсулой с космонавтами, и вынести корабль «Союз-23» в черное звездное небо.

– Я – «Заря», ключ поставлен на старт! Дается продувка.

– Я – «Радон-один», вас понял: дается продувка.

Через минуту прошла команда:

– Ключ на дренаж!.. «Радоны», чувствуете – отошла кабель-мачта? Как настроение?

– Все в порядке, чувствуем подрагивание ракеты...

– Это она волнуется перед стартом! – пошутил Рождественский.

– Я – «Заря». «Радоны», дается зажигание!..

Раньше Зудов и Рождественский, будучи дублерами, не раз наблюдали из бункера захватывающее зрелище, когда просыпаются мощные двигатели и от их грохота сотрясается все вокруг, а потом извержение огненного шквала обрушивается на раму пускового стола...

– ...Предварительная ступень... Промежуточная... Главная... Подъем!

Счастливого пути, «Радончики»!..

Этот самый подъем Зудов и Рождественский почувствовали на мгновение раньше, чем прозвучала команда в шлемофонах.

В грохоте и реве двигателей, в дрожи, которая пронзает всю ракету, обнаружилась какая-то новая неодолимая сила, которая прижала космонавтов к креслам и неотвратимо потащила вверх все сооружение, на вершине которого они находились.

Со старта ракета идет почти вертикально. Здесь перегрузки еще небольшие. А потом, когда начинается программа выведения в тангажной плоскости и происходит некоторое заваливание ракеты назад, перегрузки возрастают до четырех – четырех с половиной единиц. Это значит, что все становится тяжелее вчетверо – руки, голова, лицо. Тело словно наливается свинцом. Скорость проявляет свою власть над человеком.

Когда появился первый автомобиль, медиков того времени тревожила проблема – а вдруг у человека, сидящего в автомобиле, на скорости в шестьдесят километров в час сердце не выдержит?

Видно, так устроен человек, что он все выдержит. Было бы желание. Но если бы все зависело только от желания!

Вывод на орбиту длится около девяти минут. Все это время космонавты работали, готовились к встрече с невесомостью. И хотя они с точностью до секунды знали, когда наступит этот момент, ждали его – все произошло неожиданно, вдруг! Толчок от резкого отделения ракетоносителя, и – сразу все стало невесомым.

– Я – «Радон-один», вышли на расчетную орбиту. Есть невесомость, все в порядке!

Вячеслав и Валерий впервые стартовали в космос, но с невесомостью были знакомы давно. Хотя во время тренировочного полета на высотном самолете искусственная невесомость создается всего лишь на двадцать четыре секунды, полетов за пять лет подготовки было совершенно столько, что все эти секунд сложились в девять часов!

Зная, что в невесомости кровь приливает к голове, Вячеслав иногда даже спал вниз головой. Жена Нина шутила:

– Хоть кровать ставь под отрицательным углом...

Врачи не раз предупреждали, что с невесомостью надо быть осторожным, особенно на первых порах, пока не произойдет некоторая адаптация. Могут быть нарушения вестибулярного аппарата. Все движения надо выполнять плавно, голову поворачивать медленно, чтобы не закружилась.

Какое-то время Вячеслав и Валерий именно так и поступали. А потом Зудов попробовал подвигаться резче, наклонился в кресле, выпрямился. Быстро повернул голову к Рождественскому. Никаких неприятных ощущений не последовало.

– Ну-ка, и ты попробуй, – улыбнулся он Валерию.

Рождественский проделал то же самое. Все было нормально. Вот как сказалась польза тренировок в искусственной невесомости!

Первый раз в иллюминатор они посмотрели минут через тридцать. Они стартовали ночью, и теперь «Союз-23» вылетал из темноты на освещенную часть Земли. Занималась заря. На черном фоне появились первые красные лучи, потом последовал переход в фиолетовый цвет, из фиолетового в синий. А вот уже горизонт краснеет, становится багрово-красным, и вдруг из-за него выкатывается огромный шар...

– Рерих, наверное, был здесь до нас и видел это! – произнес Валерий. – Это же настоящий Рерих!

– А посмотри, какая пронзительная голубизна! – удивился Зудов.

– Даже белый цвет какой-то особенный, на Земле такого не бывает! – тихо сказал Рождественский.

Земля была необыкновенно красива. На фоне черного чужого неба она отливала голубизной, словно надевала на себя меняющие цвета прозрачные шарфы.

И тогда Валерий вымолвил:

– Чтобы такое хоть раз увидеть, стоит жить!

А Зудов вспомнил, как Георгий Тимофеевич Береговой как-то сказал, что космонавт – это антенна человечества, выдвинутая вверх, и все, что он делает, должно служить на благо Земле людей.

– Ради этого стоит жить! Ты тысячу раз прав, Валера! – по-мальчишески радовался Зудов.

ИСПЫТАНИЕ

Нештатная ситуация

На одной из стен главного зала Центра управления полетом – огромное изображение обоих земных полушарий. На этой обширной плоской карте светящейся синусоидой проецируется траектория движения «Союза-23». Электронные вычислительные машины, обрабатывающие непрерывный поток баллистической и телеметрической информации, ежесекундно выдают результаты, которые возникли в виде таблиц и графиков на экранах слева и справа от карты.

По громкой связи идут переговоры с космонавтами. Они выполняют сейчас один самых сложных и ответственных элементов программы: нужно сблизиться с орбитальной станцией «Салют-5» и пристыковать к ней транспортный корабль.

Атмосфера сосредоточенная, деловая и – тревожная. Потому что система управления сближением на корабле работает не по расчетным параметрам. Что-то где-то вышло из строя. И каждый, кто сейчас дежу-

рит в Центре, мысленно повторяет операции, что выполняют на орбите космонавты, чтобы подчинить себе вышедшую из строя автоматику.

Земля дает им советы и указания. Командир и бортинженер вслух дублируют каждую поступившую команду, и часто в динамиках повторяется одна и та же фраза:

– Вас поняли, мы это уже делали...

Пока все безрезультатно. По голосам, по напряженному дыханию, которое слышится в эфире, чувствуется, как устали там, в космосе, ребята.

– По всем расчетам, топливо на корабле заканчивается, надо возвращать экипаж на Землю! – негромко доложил главный оператор руководителя полета.

В это время из динамиков донесся спокойный голос Зудова:

– Просим вас разрешить нам повторить весь маневр еще раз, должны состыковаться...

– Что думает по этому поводу бортинженер? – нагнулся к микрофону руководитель полета.

– Я поддерживаю. Это наша общая просьба, – ответил Рождественский.

– Вы понимаете, что предлагаете? На что идете?..

Вячеслав с Валерием понимали все: на новый маневр для подхода к «Салюту» горючего должно хватить. Стыковаться с помощью ручного управления, наверное, все-таки удастся, но Рождественский подсчитал: топливо на пределе, его едва-едва хватит на операции, связанные с посадкой.

– Мы не можем разрешить вам новый маневр, приказываем готовиться к возвращению! – командовала Земля.

А они медлили и упрашивали Центр разрешить им пойти на риск. Собственно, это был уже не риск, а самопожертвование. И Земля коротко и безоговорочно запретила стыковку.

16 октября ТАСС сообщил: «15 октября в 21 час 58 минут корабль “Союз-23” был переведен в режим автоматического сближения со станцией “Салют-5”. Из-за нерасчетного режима работы системы управления сближением корабля стыковка со станцией “Салют-5” была отменена»...

«Шаляпин в космосе!»

Обычно точное время и место посадки планируются заранее. Подбирается несколько возможных вариантов, каждый из которых должен отвечать вполне определенным требованиям. Причем есть два обязательных.

Приземление должно произойти не позднее чем за час до захода солнца, чтобы экипаж можно было эвакуировать до наступления темноты. Хотя были случаи, когда посадка совершалась ночью и даже планировалась на ночь. Второе условие: не менее чем за восемь минут до включения посадочного двигателя корабль должен оказаться над освещенной поверхностью Земли. Это нужно для того, чтобы космонавты могли видеть у себя на экране в капсуле эту «бегущую» территорию и контролировать и дублировать работу автоматической системы ориентации корабля с помощью такой же ручной системы.

Посадка, которая предстояла Зудову и Рождественскому, была вызвана нештатной ситуацией и оказалась неожиданной и для космонавтов,

и для наземных служб. Была нарушена вся последовательность запланированных действий: с этапа сближения со станцией надо было срочно переходить к спуску с орбиты и осуществлению мягкой посадки. Приходилось на ходу перестраивать работу всех систем и перестраиваться самим.

Зудов с помощью ручного управления произвел серию сложнейших маневров и четкими корректирующими импульсами сориентировал корабль на посадку в заданном районе нашей страны на территории Казахстана. Все это выполнялось в условиях жесточайшей экономии топлива. Скупой на похвалу главный конструктор Владимир Николаевич Челомей в Центре управления полетом ходил за спинами операторов, сидящих у приборов, и громко восхищался:

– Ай да молодец командир, красиво работает! А докладывает как спокойно, деловито, точно...

Подошел к руководителю полета Виктору Благову и улыбнулся:

– Вот это волгарь!.. Шаляпин в космосе!..

Уходя на последний виток, космонавты сообщили, что готовы к приземлению. Центр дал «добро» и пожелал счастливой мягкой посадки.

Баллистики предусмотрели основной и запасные варианты мест возвращения на Землю. В их поле зрения была территория в несколько тысяч квадратных километров. Одна из резервных точек находилась в Шатковском районе Горьковской области, недалеко от тех мест, где Вячеслав Зудов жил в войну и послевоенные годы до шести лет. Когда отец, Дмитрий Зудов, был на фронте, мама Анна Ивановна с четырехмесячным Славой переехал из Бора к своим родителям под Шатки...

Спуск корабля с орбиты – это тоже своеобразный маневр, когда импульс, выдаваемый командиром, направлен против движения – на торможение.

На табло в Центре управления загорелась информация: «Время включение тормозной установки...» Потом – «Время разделения...» Информатор ведет репортаж по громкой связи, сообщая, что «Союз-23» выходит на траекторию спуска. На карте над океаном плывет красная точка...

Как на телеге по булыжнику

...Под ними была Атлантика. В 20 часов 02 минуты по московскому времени Зудов нажал кнопку. Раздался гул. Включилась тормозная установка. Двигатель постепенно выходил на оптимальный режим. Но корабль еще несется в невесомости, а надо – чтобы к Земле! Остается только ждать, когда о себе даст знать земное притяжение. Это тревожные мгновения.

– Не чувствуешь перегрузки? – взволнованно спросил Зудов Валерия. Тот покачал головой. А потом посоветовал:

– А ты бортжурнал подними и убери от него руки. Посмотрим...

Зудов проделал этот нехитрый эксперимент. Не ощущаемая еще людьми сила перегрузок распластала книгу в воздухе и прижала к его груди. На сердце отлегло:

– Есть перегрузки! Правильно идем... Домой!

Динамики в ЦУПе сообщили: «Двигательная установка отработала заданное время... Состояние корабля и экипажа нормальное...» И по-

сле небольшой паузы: «Разделение произошло в 20 часов 17 минут 02 секунды»...

При входе в плотные слои атмосферы спускаемый аппарат разворачивается теплозащитным экраном навстречу Земле. И сам выбирает крен, чтобы создать опорный угол неоптимального вторжения в воздушную оболочку голубеющей внизу планеты.

Рождественский, располагавшийся возле иллюминатора, наблюдал и докладывал в Центр управления, как вначале где-то вдали от корабля стали проскальзывать отдельные огненные полосы, потом начали вылетать струи пламени: одна, вторая, третья...

Их все больше и больше. И вот уже вокруг капсулы мчатся куски огня – огромные, яркие.

– Гляжу в иллюминатор, как будто в мартеновскую печь! – прокричал Валерий, боясь, что из-за нарастающего вокруг гула Земля его не услышит.

Красная точка – корабль – ползет по карте, а из динамиков доносится сигнал коротковолновой телеметрии – попискивание, разряды. И вдруг все смолкает. Это подтверждение того, что произошло разделение отсеков. В небе над Африкой спускаемый аппарат отделился от других частей корабля и вошел в атмосферу.

Приборно-агрегатный и орбитальный отсеки сгорели. Оплавилась и сгорела антенна. Связь с Землей и Земли с кораблем прекратилась. Охваченный бушующим огненным вихрем спускаемый аппарат несется к Земле. Весь иллюминатор залит пылающим красным огнем. Корпус капсулы снаружи покрыт теплозащитой, а внутри – теплоизоляцией в сочетании с декоративной обшивкой. Сквозь гул и рев космонавты слышали, как работают двигатели системы управления спуском. Именно она держит корабль жестко и твердо в нужном положении, не позволяя ему вращаться и кувыркаться. Видно, как снаружи за жаропрочным стеклом срываются капельки расплавленного металла.

А потом иллюминатор обгорел и стал совсем черным, закопченным...

Перегрузки наваливаются все с большей и большей силой, буквально утрამбовывают космонавтов в ложементы кресел. А командир и бортинженер все туже и туже затягивают привязные ремни. Кажется, уже некуда их затягивать, но чем ниже и ниже спускается корабль, тем мощнее перегрузки вдавливают Вячеслава и Валерия в кресла, так что туго натянутые ремни становятся свободными и их приходится опять подтягивать и застегивать туже и туже.

Скорость спуска сверхзвуковая. Корабль сотрясается, словно телега на булыжной мостовой. Так и должно быть, это сходит расплавленная экранно-вакуумная изоляция, и корабль сбрасывает ее с себя, как огненную шубу. Это самые тревожные и томительные минуты для тех, кто возвращается на Землю, и для тех, кто их ждет на Земле. Ждут, когда раскроется основной парашют и снова заработает радиосвязь.

Красная точка медленно движется по кривой, которая упирается в расчетный квадратик района посадки. Траектория спуска проходит по советской территории: Орджоникидзе... Астрахань... Гурьев... Информатор в ЦУПе сообщает: «Удаление от точки посадки 2500 километров... 1350... 980... 200... Спускаемый аппарат в сорока километрах от места приземления...»

На световом табло зажигаются данные о времени ввода парашютной системы. На главном экране высвечивается крупномасштабная карта

района приземления со всеми населенными пунктами, дорогами, местами базирования самолетов и вертолетов поисковой группы.

«Высота 12 километров... 10... 9...»

Кругом вода

Когда до Земли оставалось 7 километров, экипаж ощутил мощный рывок, корабль стал вращаться на месте: сработала парашютная система.

Динамики громкой связи передали: «Спускаемый аппарат завис на парашюте...»

Это же сообщение прозвучало и за тысячи километров от ЦУПа – в Казахстане на командном пункте службы поиска и встречи космонавтов. Здесь теперь основной фронт работ.

Низкое звездное небо над Аркалыком время от времени заволакивалось молоком тумана. И тогда звезды тонули во мгле. За несколько минут до информации о включении парашютной системы туман рассеялся, и вдруг на глазах спасателей одна из звездочек стала увеличиваться в размерах, окрасилась в желто-красный цвет и, потянув за собой голубое сияние, быстро понеслась с юго-запада на северо-восток.

– Ребята возвращаются, – улыбнулся Андриян Григорьевич Николаев, – пошли работать!

Ему было поручено руководить поисково-спасательной службой. Теперь информационные сообщения звучали почти одновременно и в Центре управления полетом, и на командном пункте у генерал-майора Николаева.

«Вертолетная группа поиска обнаружила идущий к Земле спускаемый аппарат и вышла на связь с экипажем. Зудов доложил, что на борту все в порядке».

Точно в расчетное время включились двигатели мягкой посадки. Их задача – затормозить спуск, погасить скорость падения. В ожидании сильнейшего толчка о Землю космонавты сжались в комок. Но толчка, который Вячеслав и Валерий не раз наблюдали на телеэкранах во время посадки других экипажей, не последовало. Им показалось, что капсула коснулась чего-то упругого, спружинившего под ней. Словно погрузились в воду и вынырнули на поверхность...

«“Радоны” передают, что у них такое ощущение, как будто они сели на воду!» – доложили связисты на КП.

Через автоматически открывшиеся клапаны в кабину стал поступать морозный воздух. Аппарат слегка покачивало.

– Ну вот мы и приводинились, – сказал Валерий, – может, это Аральское море?

Оба прильнули к иллюминаторам, но сквозь закопченные стекла ничего не разглядели.

– Видно одно, – усмехнулся Зудов, – вокруг много воды, сильный снегопад, а ночь еще чернее, чем наши иллюминаторы...

По радиосвязи спасатели сообщили, что космонавты сели в соленое озеро Тенгиз.

Первым желанием Вячеслава было поскорее открыть люк, чтобы, выглянув наружу, осмотреться по сторонам. Но Валерий остановил его:

– Мы на весьма беспокойной воде. Открывать люк опасно!

Не прошло и пяти минут после приводнения, как вдруг услышали и ощутили под собой взрыв, спускаемый аппарат подпрыгнул и перевернулся люком вниз. Поняли, что нехстати сработала запасная парашютная система. Оказалось, что соленая вода по капиллярам проникла в мембранные коробочки, и произошло замыкание в реле. «Выстрелился» огромный парашютный купол – его площадь полтысячи квадратных метров. Он какое-то время нависал над капсулой, а потом опал, напился студеной воды, отяжелел и погрузился в озеро, перевернувшись при этом спускаемый аппарат вверх тормашками. И удерживал его в таком положении, словно якорь.

Космонавты в своих креслах оказались в положении вверх ногами и вниз головой...

Сон и явь ожидания

...В Звездном городке еще в гагаринские времена родилась такая традиция: во время посадки космического корабля в семье его командира собираются свободные от работы космонавты, жены космонавтов, чтобы вместе ждать известий о возвращении на Землю тружеников Вселенной. И на этот раз на седьмом этаже у Зудовых собрались друзья и соседи. Пришла Светлана Александровна Рождественская с дочкой Таней, восьмиклассницей, родственники других космонавтов. Нина Васильевна Зудова не отходила от телефона. Общее волнение передавалось и детям. Забилась в уголок дивана одиннадцатилетняя Наташа, на коленях у бабушки Анны Ивановны притихла пятилетняя егоза Алёнка. Ее так и не удалось уложить спать.

– Буду ждать, когда папа вернется! – упрямо скривив губки, заявила она.

По телевизору шел веселый спектакль «Доктор философии» по пьесе Бронислава Нушича с Владимиром Этушем в главной роли. Но его смотрели рассеянно, при каждом телефонном звонке прикручивали звук, а потом телевизор так и вещал вполголоса. Да и нужен он был только для того, что кое-как заполнить охватившее комнату молчание, тишину тревоги и ожидания...

Случалось, они становились предвестниками трагедии. Первый раз – когда при испытании космического корабля «Союз-1» погиб Владимир Михайлович Комаров, а потом – когда спускаемый аппарат принес на Землю бездыханные тела Георгия Тимофеевича Добровольского, Владислава Николаевича Волкова и Виктора Ивановича Пацаева. Тогда в Звездном была долгая бессонная ночь. Закончились телепередачи, замолкло радио. Позвонили из ЦУПа и сказали, что «Союз-11» приближается к Земле. А потом – ни слуху ни духу, хотя все сроки, обычно отпущенные на приземление, уже вышли.

– Может быть, они сели куда-то не туда – в море, в тайгу, как Беляев с Леоновым, и их ищут... – предполагали ожидавшие. Хозяйка квартиры Людмила Добровольская, утомленная неведеньем, даже забылась коротким и зыбким сном, сидя в кресле, но вдруг вздрогнула и проснулась. Она обвела всех, кто был в комнате, испуганным взглядом и тихо сказала:

– Девчонки, мне такое приснилось сейчас... Такое... Идут три человека и несут над собой три доски... К чему бы это?..

В это время с балкона вошла в комнату соседка, которая не слыхала слов Ларисы, и с надрывом прошептала:

– К нашему дому пришли генерал и два полковника, а когда входили в подъезд, почему-то сняли фуражки...

Сон и явь жутко совпали.

...Около девяти часов вечера позвонил Георгий Тимофеевич Береговой:

– Ну, «Радончики» уже вернулись, все в порядке. Не волнуйтесь!..

Во «Времени» показали интервью с руководителем подготовки советских космонавтов Владимиром Александровичем Шаталовым. Он высоко оценил действия Зудова и Рождественского на всех этапах полета, отметил, что они проявили беззаветное мужество и безупречное чувство долга.

Никаких сообщений о возвращении космонавтов на Землю не прозвучало...

Тенгиз по-русски – Океан

Изучив обстановку по карте, руководители службы поиска пришли к выводу, что приводнение произошло в ста тридцати километрах от Аркалыка на озере Тенгиз, название которого по-русски означает – Океан. Летчики одного из самолетов спасательной группы подтвердили:

– Находимся над озером Тенгиз. Наблюдаем спускаемый аппарат на воде визуально. Вспыхивает голубой огонек. СА находится примерно в двух километрах от северного берега озера...

Через короткое время еще одно известие:

– Вышли на связь с космонавтами. Корабль сильно накренился. Люк находится в воде. Зудов и Рождественский чувствуют себя удовлетворительно. Просят за них не волноваться...

Во время предполетных тренировок Зудов и Рождественский, как и другие космонавты, по многу часов проводили в спускаемом аппарате в море. При этом нередко штормило. И Вячеслав с Валерием учились, как вести себя в подобных условиях и как осуществлять срочную эвакуацию. И надо же такому случиться, чтобы именно тот экипаж, в составе которого был единственный космонавт из моряков, да еще из водолазов-глубоководников, впервые в истории советских космических полетов не приземлился, а приводнился!

Космонавты помогли друг другу снять скафандры. Внутри тесного спускаемого аппарата это было делом нелегким и выполнялось впервые в практике, к тому же сильно качало. Вячеслав и Валерий надели теплое белье, а поверх него плотные теплозащитные костюмы. В период тренировок они надевали еще и гидрокombineзоны, а затем открывали люк и по веревочной лестнице поднимались из воды в вертолет. На этот раз гидрокombineзоны им были не нужны. Люк открыть нельзя было. Без помощи спасателей покинуть капсулу было тоже невозможно.

С КП передали, что принято решение эвакуировать экипаж из озера прямо в спускаемом аппарате.

Как назло, над Тенгизом разразилась снежная буря, среди ночи стал усиливаться туман, а видимость все ухудшалась и ухудшалась – вначале до пятисот метров, потом до трехсот, двухсот. Термометр показывал двадцать градусов мороза.

От спасателей, которые отправились к спускаемому аппарату на плавсредствах, долгое время не было никаких известий. Наконец, они передали:

– Встретились со льдами толщиной с ладонь. Льды торосятся, наползают друг на друга. Пробриться к спускаемому аппарату затруднительно...

Обычно озеро Тенгиз не замерзает. Вода в нем горько-соленая. У охотников и рыбаков этот «Океан» пользуется недоброй славой. Он занимает почти семь тысяч гектаров. Дно у него илистое, топкое, а берег – настоящая трясина. Казахи называют его по-своему – «сор», то есть «гиблое место». Поэтому местные жители даже днем не рискуют далеко забираться.

Туман становился все гуще и гуще. Над застывшим озером клубилось сплошное белое молоко. С большой высоты вертолеты видели сигнальные огни «Союза-23», но как только спускались вниз, теряли их из виду в пелене пара.

Связисты на КП получили радиogramму с одного из вертолетов: «Космонавты просят не бросать в озеро аквалангистов, так как они вряд ли окажут существенную помощь, к тому же их самих придется спасать...»

Вообще-то спасатели предусматривали спустить на озеро на парашютах группу аквалангистов, чтобы они отбуксировали СА по воде к берегу. Но в штормовую морозную погоду с туманом и снежными зарядами эта задача становилась невыполнимой. Аквалангистов самих пришлось бы вырывать из беды.

Закончив работу в ЦУПе, вернулись в Звездный и пришли домой к Зудовым Волевым, Жолобов, Климук, Сарафанов, Демин.

– Конечно, – шутили гости, – один из них на Волге родился, другой – бывший водолаз, вот их на воду и потянуло. До сих пор мы Рождественского Адмиралом называли. Отныне будем именовать Адмирал Тенгизский, или Адмирал Тенгиз...

С приходом видавших виды космонавтов в квартире сразу стало спокойнее, они вспоминали о своих полетах и ЧП, рассказывали веселые истории. Борис Волевым признался, что самое памятное, что осталось у него от космического полета, – это возвращение на Землю.

– Сколько бы человек ни кружил на орбите, что бы там ни делал, – раздумчиво говорил он, – как бы сложно и интересно ни было там работать, а посадка, встреча с Землей – самое-самое! Помнишь, – обратился он к Виталию Жолобову, – ночь, пшеничное поле, теплая августовская погода, 24-е число, начало уборки. И мы открываем люк, и в корабль вливается масса запахов, сразу весь полевой букет. Как пахнет Земля! Пьянит просто! На станции же совсем нет каких-либо запахов. А здесь – голова кругом идет от запаха жизни...

...На помощь спасателям пришли работники совхоза имени Абая. Директор Сухоруков распорядился вывезти на берег озера все, что могло гореть, – старые ящики, доски, штакетник. Люди приносили дрова, запасенные на зиму, мальчишки прикатали несколько старых автопокрышек. Костры нужны были вертолетам для ориентирования. Рыбаки

предлагали свои лодки, просили разрешения отправиться по бурному озеру к космонавтам. Военные стали им препятствовать, потому что добровольные помощники были подвыпившими: у совхозного тракториста Вячеслава Наполова в этот день родилась дочка, и это событие стало поводом для шумного совхозного застолья. Кстати, отмечавшие прибежали на берег Тенгиза не с пустыми руками, а принесли несколько бутылей с самогоном, чтобы отогреть замерзших космонавтов и тех, кто их спасал. И надо сказать, что самогон в лечебных целях оказался кстати.

...Болтанка усиливалась. И хотя корабль был перевернут, космонавтам пришлось закрепиться на своих штатных местах и сидеть вниз головой. Другого выхода не было. Иначе качка бросала их друг на друга, швыряла на приборные доски, изматывала. К горлу подступала тошнота: начиналась морская болезнь.

Порыв сильного ветра сломал антенну спускаемого аппарата. Радиосвязь с вертолетами была потеряна. Космонавты теперь не знали, какие меры осуществляются для их эвакуации и чем они могут помочь спасателям. А на КП перестали поступать сведения об их самочувствии, о работе систем жизнеобеспечения в аппарате, который уже около семи часов раскачивали соленые волны Тенгиза.

Неожиданно Вячеслав и Валерий услышали через обшивку крик, доносившийся снаружи. Сначала каждый из них про себя подумал, что показалось, не дай бог, начинаются галлюцинации. Но крик повторился:

— Ребята, как дела? Вы живы?

— Живы... Кто ты?..

— Я приплыл к вам на лодке... А почему ваши голоса доносятся снизу, у вас что — головы вниз?

Так шли эти переговоры через стенку корабля, в вое ветра с трудом можно было разобрать слова.

Уже потом, на берегу, Вячеслав и Валерий узнали, что их собеседником был Николай Чернявский, командир одного из вертолетов. Когда связь с экипажем прервалась, он на свой страх и риск в резиновой лодке добрался от берега к спускаемому аппарату и зацепился за него. Он был одет в легкую куртку, которая совсем не грела на штормовой воде при двадцатиградусном морозе. Космонавты кричали ему, чтобы возвращался на берег, а то замерзнет и погибнет, а Чернявский отвечал им, что никуда не уплывет, а будет дожидаться спасателей, потому что им пригодится его помощь. Вячеслав и Валерий прокричали Чернявскому, чтобы он немедленно отчалил, потому что по незнанию прикрепился возле передатчика гамма-лучевого высотомера, а это опасно для здоровья, особенно мужского. Поняв, что детей у него может не быть, Чернявский отцепился и переплыл к передней части спускаемого аппарата.

Так и держались на воде рядышком — капсула с космонавтами и резиновая лодка с человеком, белым от инея...

На КП службы поиска понимали, что положение становится крайне серьезным. Связь с экипажем отсутствует, аппарат перевернут. Еще до того как сломало антенну, космонавты передали, что вентиляционные клапаны, через которые после посадки в спускаемый аппарат поступал свежий воздух, не действуют, видимо, были забрызганы водой, которая превратилась в ледяную корку. В капсуле, правда, есть регенерацион-

ная установка, воспроизводящая кислород из отработанного уже воздуха. Но она предназначена на час-полтора работы. И для нее требуется электроэнергия.

– ...Сейчас самое главное, чтобы нам хватило дыхания! – сказал Валерий.

Чтобы обеспечить регенерационную установку электричеством, космонавты отключили отопительную систему и освещение. В капсуле стало холодно: морозный воздух, мерзлая вода, в которой бултыхался спускаемый аппарат, выстудили корабль.

Знобило, тошнило из-за непрерывной болтанки. Чтобы согреться, нужно было подвигаться, поразмяться. Но при активном движении организм потребляет больше кислорода, а его надо было экономить, потому что с каждой минутой таяли силы батарей, питающих регенерационную систему.

Время шло медленно. Казалось, этой ночи не будет конца.

Они выключили все батареи. И регенерационную установку включали теперь только время от времени, когда дышать становилось уже совсем нечем, лицо покрывал холодный липкий пот, а сознание становилось смутным и зыбким. Пересиливая это навалившееся беспмятство, тянулись к спасательной кнопке. Делали несколько глубоких живительных глотков воздуха и снова выключали регенератор.

– У нас в магнитофоне осталось на восемь минут пленки, – тихо сказал Зудов, – когда будет совсем неважно и питание станет заканчиваться, его надо будет все подать на магнитофон, чтобы рассказать, что с нами произошло...

В темноте они не видели, а только ощущали присутствие друг друга. Вячеслав почувствовал, как Валерий в знак согласия сжал ему руку у локтя.

Смутно Зудов вспомнил о том смельчаке, что приплыл к ним лодке сквозь пургу и туман. Валерий, словно прочитал мысли командира:

– Как он там, жив ли?..

Ни у него, ни у космонавтов уже не было сил, чтобы перекрикиваться через стенку корабля.

...Когда стало светать и туман немного разошелся, на КП было принято решение немедленно подцепить аппарат тросом к вертолету и по воздуху буксировать его к берегу. Раньше такую операцию выполнять было нельзя – низко спустившийся вертолет в густом тумане мог случайно задеть капсулу, повредить или даже потопить аппарат с экипажем. К тому же надеялись, что автомашины-амфибии все-таки смогут пробиться сквозь туман и снегопад к «Союзу-23», но они не смогли преодолеть разгулявшуюся стихию...

Над местом нахождения спускаемого аппарата завис вертолет, пилотируемый Николаем Кондратьевым и Олегом Нефедовым. Оба опытные пилоты. Не раз им приходилось работать в сложных условиях. Однажды зимой в Тургайской степи искали и нашли бригаду табунщиков, заблудившихся в метель, спасли шоферов, которые затерялись в снегопаде на дальней дороге. А весной, когда стремительно разлилась обычно немногочисленная и безропотная целинная речушка, затопившая целый поселок, помогли эвакуироваться его застигнутым врасплох жителям. Это Кондратьев и Нефедов первыми обнаружили Волинова и Жолобова, Быковского и Аксенова...

И на этот раз они все-таки ухитрились пробиться к «Союзу-23».

Рядом со спускаемым аппаратом они увидели похожего на Деда Мороза Чернявского в резиновой лодке. Он кричал и махал руками, как Робинзон, на своем крохотном резиновом острове.

Вертолетчики спустили ему трос с «серьгой», и он, забравшись по скользкой обшивке на капсулу, зацепил крюком «ушки» на корпусе спускаемого аппарата.

Срывающимся промерзшим голосом Чернявский передал космонавтам просьбу пилотов отстрелить парашют, чтобы он не тянулся за кораблем, как огромный бредень, и не затруднял буксировку. Чтобы лучше видеть повисший на тросах «Союз-23», Нефедов открыл блистер. В кабину ворвался снежный вихрь. Вокруг туман, лед, вода. Медленно двинулись к берегу. Кондратьев управлял машиной, Нефедов наблюдал за бережно буксируемым по воздуху космическим кораблем. Два километра шли без малого час.

Чернявский остался внизу. Спасатели потом вернулись за ним и по веревочной лестнице подняли его в вертолет.

...Получилось так, что, когда открыли люк, раньше из капсулы вылез не командир, как положено, а бортинженер и сразу встретился с вопросительным взглядом почерневшего и осунувшегося за ночь Николаева.

Валерий тут же сообразил, о чем подумал космонавт-3, и жестом и трудно доставшейся ему улыбкой попытался его успокоить: «Сейчас... сейчас... мы живы...» Наконец, показался Зудов. Андриян Григорьевич бросился к нему:

– Тебя всего знобит, ложись на носилки!

Вячеслав лег, и на него набросали одеяла и меховые куртки. Валерий же успел обежать вокруг спускаемого аппарата, а потом тоже опустился на носилки рядом с Зудовым.

Но тут подошли корреспонденты и попросили подойти к спускаемому аппарату, чтобы сфотографироваться.

– Чего не сделаешь для истории, – пошутил Рождественский. – Пошли, Слава!

Они подошли к своему космическому дому, что выдержал все выпавшие на его долю испытания огнем и водой. Обнялись.

Корреспонденты попросили их улыбнуться...

Возвращение в Звездный городок

19 октября 1976 года мы с кинооператором Александром Маловым приехали в подмосковный Звездный городок встречать только что вернувшихся из космоса Вячеслава Зудова и Валерия Рождественского – экипаж «Союза-23». Пропуск нам оформили разовый – на два дня и ночь между ними, а уже после нашего приезда выяснилось, что космонавты прилетят с Байконура не раньше чем дней через пять. Мы остались их ждать: не было никаких гарантий, что нам снова разрешат сюда приехать, если уедем и захотим возвратиться.

Городок небольшой – минут за сорок можно было обойти его вдоль и поперек. Сперва нам было очень интересно, а потом стала надоедать его однообразная жизнь. Был соблазн съездить на электричке в Москву – всего-то час пути от платформы Циолковская до Ярославского вокзала, – но ведь для этого надо выходить за проходную Звездного городка.

Вдруг назад не пустят? Так и маялись до 26 октября, когда тут, четко соблюдая традиционный ритуал, торжественно встретили 37-го и 38-го советских космонавтов.

Накануне нам позвонили в гостиницу «Орбита» и сообщили, что вечером нас хочет видеть у себя дома Юрий Петрович Артюхин, которого, как и Вячеслава Зудова, мы считали своим земляком в отряде космонавтов. Правда, Зудов родился в городе с лесным именем – Бор, что на другом берегу Волги, напротив Нижнего Новгорода, а Артюхин детские годы во время войны провел в лесном заволжском районе в деревне Ноля. В 11 лет он был эвакуирован сюда вместе с матерью Анной Васильевной и трехмесячным братишкой Игорем из-под Новгорода, где служил командиром авиаэскадрильи его отец Петр Павлович. 7 июля 1941 года его самолет не вернулся на аэродром с боевого задания...

Три первых военных года Юрий Петрович жил в Ноле, его с мамой и братишкой приютила крестьянская семья Маловых – однофамильцев моего кинооператора. Своей второй матерью Юрий Петрович называл молодую женщину – тетю Настю, муж которой – Константин – воевал на фронте, а потом вернулся домой из госпиталя с пустым правым рукавом...

За месяц до старта «Союза-14» с экипажем в составе Павла Поповича и Юрия Артюхина в Звездный городок пришло сообщение, что красные следопыты – школьники и комсомольцы Даугавпилсского мебельного комбината – нашли в болоте останки самолета, на котором летал и погиб Петр Павлович Артюхин. То, что это в кабине именно он, удалось установить по номеру сохранившегося на истлевшей гимнастерке ордена Красной Звезды, которым летчик был награжден за участие в боях на Халхин-Голе. Похороны отца и его бортрадиста состоялись уже после возвращения сына-космонавта из полета. Весь Даугавпилс провожал летом 1974 года в последний путь героев 1941-го.

В Звездном городке было тогда два высотных – 11-этажных дома. В них жили все военные летчики-космонавты. Звали эти дома «башнями». Так и говорили – «башня первая» и «башня вторая». В только что построенной первой «башне» на шестом этаже вскоре после полета поселился Юрий Гагарин, а Артюхин над ним в точно такой же квартире на последнем – одиннадцатом этаже.

Из окна видно, как бронзовый Гагарин идет в сторону Центра подготовки космонавтов, пряча за спиной цветок ромашки в правой руке...

Когда я в первый раз увидел Юрия Петровича, его лицо с прямыми резкими чертами показалось мне очень суровым и строгим. А потом при более близком общении понял, что это не мешает ему быть доступным, веселым, исполненным неброской и несуетливой доброты. Сам он считал себя молчуном, но был отменным рассказчиком, только вот разговорить его было непросто. Нужно было, чтобы он удостоверился, что собеседнику можно доверять...

Юрий Петрович угощал меня космическими яствами из туб и западных прозрачных пакетиков. Помню, очень понравился чернослив с орехами.

Артюхин подтвердил, что Зудов и Рождественский прилетят в Звездный завтра, и открыл папку с фотографиями:

– Я сейчас покажу фотографии двух человек, которые во время вашей завтрашней киносъемки ни при каких обстоятельствах не должны

оказаться на киноплёнке. Иначе у вас могут разрядить камеру и засветить все, что сняли. Вот смотри: этот седой человек в очках – генеральный космический конструктор академик Владимир Николаевич Челомей. Мы его между собой называем «ВэЭном». В его экипажах оба – и командир, и бортинженер – военные. Мы с Поповичем – тоже в его группе, Зудов и Рождественский как раз с ним работают. И еще обрати внимание на этого генерал-полковника: это председатель государственной комиссии, он всегда на космодроме желает экипажам счастливого полета, оставаясь за кадром. Слышен его голос, а видно – в лучшем случае – только его руку, когда он обменивается приветствиями с космонавтами, которых напутствует в дорогу... Это Михаил Григорьевич Григорьев – главнокомандующий ракетных войск и артиллерии...

На следующий день, когда Зудов и Рождественский в сопровождении космического начальства прибыли в Звездный городок, я показал Саше Малову (его со мной у Артюхина дома не было) Челомея и Григорьева. И оператор стал просто-напросто избегать их, чтобы они вдруг не оказались в поле зрения его камеры. С Григорьевым это удалось легко. Проблемы возникли с генеральным конструктором. Как только он увидел, что Малов снимает идущих рядом Зудова и Рождественского, сразу подошел к ним и обнял сзади, и так они шли втроем по аллее Героев. Малов быстро опустил камеру, но Челомей обиделся: «Молодой человек, вы почему перестали снимать? Я вас прошу – продолжайте съемку. Понимаю, кто-то вас предостерег и даже напугал, что засветят пленку? Пусть только попробуют! Снимайте! Снимайте!...» Малов посмотрел на меня: «Что делать?» Челомей перехватил его взгляд: «Мне Слава Зудов сказал, что вы его земляки – горьковчане. Я хочу, чтобы в Горьком нас увидели, меня там по работе знают, и пусть их узнают тоже. Это замечательные ребята, настоящие герои... Прошу вас – снимайте...»

Мне пришлось кивнуть Малову: «Снимай!»

А Челомей продолжал: «Я не хочу себе судьбу Королева, чтобы обо мне узнали, когда меня не будет... Мне это нужно сейчас! И пусть попробует кто-нибудь помешать вашей киносъемке теперь или потом! Я все узнаю!...»

Позже ко мне подошел замначальника Центра подготовки космонавтов по режиму в звании полковника и попросил не показывать в эфире кадры, запечатлевшие Челомея. Я дал ему слово, что мы их не покажем. И сдержал обещание. Когда пленка у нас на студии в Горьком была проявлена, я осторожно ножницами вырезал все моменты с генеральным конструктором и свернул эту короткую ленту в рулончик, надписав его «В.Н.». Киноочерк был показан без его присутствия. И только совсем недавно, когда многое из того, что было совершенно секретным, стало совершенно доступным, я смонтировал эти кадры на нужное место.

Гениальный конструктор

Еще одна встреча с Владимиром Николаевичем Челомеем произошла после весьма, как говорят космонавты, нештатных для Москвы обстоятельств – после землетрясения, которое случилось в ночь с 4 на 5 марта 1977 года. Эпицентр его, как потом оказалось, был в Румынии, а подземные волны достигли центральных областей России, Верхней

и Средней Волги и утихли на Урале. На 5 марта в Звездном городке была назначена встреча экипажа Виктора Горбатко и Юрия Глазкова, которые вернулись после длительной экспедиции на орбитальной станции «Салют-5». Они были дублерами у Зудова и Рождественского и, по сути дела, поработали на станции и за этих парней, у которых стыковка сорвалась, и за себя. Встречать их меня пригласил Валерий Рождественский, с которым мы были уже хорошо знакомы и дружны. В феврале 1977 года он вместе с Вячеславом Зудовым приезжал в Горьковскую область, их очень тепло принимали у Славы на родине – на Бору, да и в самом Горьком, оба участвовали в моей передаче на Горьковском телевидении. Я приехал в Звездный городок вечером 4 марта: Валерий предложил заночевать у него.

Около десяти часов вечера Светлана, жена Валерия, позвала нас на кухню ужинать. Пока она дожаривала котлеты в микроволновке, Валерий наполнил три фужера красным вином и предложил выпить за встречу. Я отхлебнул с полбокала и вдруг почувствовал, как меня повело, и быстро сел за стол. Светлана, как мне показалось, пошатнулась и ухватила свободной от фужера рукой за висящий на стене шкафчик. Валерий недоуменно смотрел на нас: «Вы чего?..»

– Да, знаешь, вроде как голова закружилась... – призналась Света.

– И у меня такое чувство, будто пол колебнулся под ногами... – сказал я.

– Эх, вы, слабаки, фужера не допили, а уже поплыли! – посмеялся над нами Валерий.

Дальше все было нормально: выпили еще по бокалу, поели котлет без хлеба. Выяснилось, что его забыли купить. Посидели с часок. И пошли спать.

Утром Светлана побежала чуть свет в булочную и пришла с известием о происшедшем вечером землетрясении. Оказалось, пока мы беспечно пили вино и ели котлеты, все жители с одиннадцати этажей бежали на улицу и гуляли там больше часа. Меня удивили три обстоятельства: первое – как они все сообразили, что случилось землетрясение? Можно подумать, что оно в Подмосковье – дело обычное. И второе – как быстро люди поняли, что в этом случае лифтом пользоваться опасно и бежали вниз по лестнице с детьми на руках. И третье – прочему никто, пробегая мимо, не позвонил или не постучал в нашу дверь на четвертом этаже?..

Утром, когда все вышли на улицу и ожидали прибытия Горбатко и Глазкова, землетрясение было главной темой разговоров. Валерий Рождественский смущенно улыбался:

– Я, наверное, тут единственный человек, который ничего не заметил!..

После традиционной встречи вернувшихся космонавтов у памятника Гагарину и их проходки по аллее Героев все вошли в Дом офицеров. Перед торжественным заседанием в фойе было многолюдно, и я вначале потерял Рождественского из виду, потом заметил у боковой двери на лестницу с Владимиром Николаевичем Челомеем. Валерий махнул мне, мол, подожди. Он представил меня ВэЭну: «Это наш со Славой товарищ из Горького... Слава в отъезде, и он приехал ко мне...»

– Это вы же с вашим кинооператором нас снимали, когда Валерий и Вячеслав прибыли сюда с Байконура, – вспомнил Челомей, а я весь превратился в ожидание, что ответить, если вдруг он спросит, прошли ли в эфир кадры с его участием. Но он задал другой вопрос:

– Ну, что, вас тогда не разоружили – ни камеру не отобрали, ни пленку не засветили?

– Нет, что вы, все было нормально!...

Челомей подмигнул Валерию:

– То-то же, и над теми власть имеем...

И тихо, с явной злинкой в голосе засмеялся...

Разговор перешел к вечернему происшествию. Помню, как Владимир Николаевич сказал:

– Я был дома и как раз вышел из кабинета в столовую. А у меня там большая люстра, и вдруг я увидел, как она стала раскачиваться надомной, а в серванте зазвенела посуда. Я понял, что это какой-то природный катаклизм, и подумал, что моя голова не для этой люстры, и вернулся в кабинет...

Запомнилось, как Челомей впервые и, по-моему, в последний раз появился в телевизионном эфире в программе Юрия Александровича Летунова, главного редактора «Времени» и всей информационной службы Центрального телевидения СССР. Летунов по воскресеньям в 17 часов вел беседы с выдающимися деятелями науки, промышленности, искусства. Передач этих вышло в эфир очень немного. И, кажется, беседа с Челомеем открывала эту серию. Дату точно не помню, но как будто это было весной 1982 года. Узнав из утренней программы телепередач, что сегодня гостем Юрия Летунова будет академик Челомей, я позвонил домой моим товарищам по Горьковскому телевидению Саше Малову, Саше Лугинину, Юре Беспалову, Олегу Луневу. А еще моему другу – кандидату физико-математических наук с мехматфакультета Горьковского университета Борису Хуторянскому, который был хорошо знаком с научными трудами Челомея.

Вся беседа Летунова с Челомеем была снята на киноплёнку и смонтирована, чувствовалось, что из передачи были вырезаны солидные куски и склейки по звуку сделаны встык, а «скачи» в изображении перекрыты не очень мотивированными кадрами – иллюстративного материала не хватало, а перебивок требовалось много...

Самое удивительное, что в беседе почти ничего не было о космосе, а если и было, то вскользь, как будто гость передачи непосредственно отношения к этой теме не имеет и судит о ней, так сказать, между делом в общем контексте своей научной деятельности. В эфире он был представлен как ученый в области механики, академик Академии наук СССР, дважды Герой Социалистического Труда.

Я как-то спросил Артюхина:

– Неужели там, на Западе, не знают, кто такой и чем занимается Челомей?

Юрий Петрович хмыкнул:

– Я тут был недавно в Оттаве, и меня пригласил к себе в кабинет главный канадский военный разведчик из их генштаба. Мило беседовали, потом он подошел к стене и раздвинул шторы, а за шторами всю эту стену подробнейшая карта Советского Союза. И на ней флажок воткнут не в Байконур, а в Ленинск! И он при этом хитро посмотрел на меня и сказал: «Господин полковник, зачем у вас все время говорят, что ваши ракеты улетают в космос из Байконура, мы же знаем, что космодром у вас в Ленинске, за шестьсот километров от Байконура!.. Почему вы нас так не уважаете?..» Считаю это моим ответом на твой вопрос...

Помнится, в передаче Челомей говорил, что его увлекает работа с парадоксальными явлениями, которые трудно подаются объяснению, и в этом большие резервы дальнейших научных открытий и разработок. Он спросил Летунова:

– Вы знаете, что по всем законам физики муха не должна летать?..

От Бориса Хуторянского я впервые услышал про теорию Челомея, что самыми устойчивыми системами в механике являются вибрирующие системы. И тогда же он рассказал мне о, казалось бы, невероятных опытах ученого. Он наливал воду в стеклянный сосуд с металлической гайкой на дне, клал в жидкость пластмассовый шарик от пинг-понга, который вначале плавал у поверхности, но как-то только воду заставляли вибрировать, этот легкий шарик опускался на дно – тонул! А гайка всплывала вверх!

Челомей говорил Летунову, что колебания могут быть страшно вредными и опасными: обрушить мост, погубить самолет в полете, но в то же время колебания помогают находить совершенно новые решения, которые опять же проще всего назвать парадоксами. Например, если одну луковицу посадить в горшок с постоянно вибрирующей землей, а другую – в горшок с неподвижным грунтом, то благодаря колебаниям в первом горшке зеленая стрелка на поверхность пробивается намного раньше и развивается более интенсивно, чем стрелка во втором горшке...

И в людях он искал чего-то необычного, неординарного, если хотите, парадоксального и говорил своим коллегам:

– Надо прислушиваться к неожиданным высказываниям и мыслям людей, только так можно найти талант или даже гений. А это поважнее, чем найти алмаз или еще какой-то драгоценный камень.

Примечательно в этих словах Челомея сравнение гения с драгоценным камнем. Он любил и хорошо знал минералы. И главное детище своего конструкторского гения – орбитальную космическую станцию назвал «Алмазом». Хотя для нас это был «Салют-3», а потом «Салют-5». Но об этом поговорим позже...

Челомею принадлежит идея создания пульсирующего двигателя. И в 1943 году в Москве ему был выделен старый самолетный ангар для сборки и испытаний этого авиадвигателя. В дружеских беседах со «своими» космонавтами Владимир Николаевич вспоминал, какой в округе стоял грохот, когда шли испытания. И признавался:

– Больше всего мы опасались, что люди в жилом районе станут паниковать, не началась ли бомбежка! Ведь времени с фашистских налетов прошло всего ничего...

Между прочим, похожий двигатель был установлен на немецких ракетах «Фау-1», которыми в июне 1944 года гитлеровцы обстреляли Лондон. Было разрушено 23 тысячи зданий, 18 тысяч человек были ранены, а семь тысяч погибли. Владимир Николаевич рассказывал, как в ночь с 13-го на 14 июня его срочно затребовал к себе в Кремль Георгий Маленков, курировавший в ЦК ВКП(б) авиационную промышленность и военную авиацию, и потребовал объяснений, кто у кого украл принцип пульсирующего двигателя: немцы у Челомея или Челомей у немцев. Владимир Николаевич объяснил, что никто ни у кого ничего не украл, просто идея, что называется, витала в воздухе и каждый сам дошел своим умом...

– Значит, мы тоже можем сделать свой дальнобойный реактивный снаряд? – спросил Маленков. – Придется вам этим плотно заняться!..

Но Ставка приняла решение не тратить время на собственные разработки, а воссоздать один к одному немецкую ракету «Фау-1». Аналоги ее были доставлены из Лондона. (В скобках заметим, что такие подходы были характерны для Сталина: когда после войны, в конце сороковых годов, решался вопрос о создании первой советской атомной бомбы, вождь потребовал от академиков Курчатова и Харитона приостановить работы над отечественным проектом и сделать точную копию с американской бомбы, секреты которой добыли наши разведчики. Важно было выиграть время. А уже после того как это взрывное устройство сработало на 30-метровой вышке в степи под Семипалатинском 29 августа 1949 года, было разрешено вернуться к собственным разработкам. Кстати, свои изделия и пошли в серию и были взяты на вооружение, потому что оказались в два раза легче американского аналога и в два раза мощнее его. К тому жегодились для использования с помощью авиации...)

Челомей был назначен главным конструктором специального конструкторского бюро по непилотируемой авиационной и ракетной технике. Через полгода он показал Ставке советский аналог «Фау-1», но высказался против применения этого ракетного снаряда при взятии Берлина из-за его большой убойной и разрушительной силы, которая в последние дни войны Красной армии уже не требовалась. Самое удивительное, что Сталин прислушался к мнению ученого...

...Вечером того дня я уезжал в командировку в Москву в Останкино, в главную редакцию информации Центрального телевидения. И в понедельник делился своими впечатлениями о передаче с теми, кто ее делал, – не с самим Летуновым, а с людьми, которые с ним над ней работали. И они рассказали, как монтировали пленку под пристальными взглядами «консультантов» – сотрудников соответствующей службы КГБ, как по первому слову этих людей вырезались целые куски разговора. Летунов не спорил с «консультантами», чтобы не дать ни малейшего повода для снятия передачи с эфира, настолько важным считал сам факт появления Челомея на телеэкране. Юрий Александрович молча наблюдал за манипуляциями, которые производили с кинопленкой «сторонние наблюдатели». Как только она вышла из проявки, они всю ее измерили до миллиметра. С той же точностью был выверен и метраж готового эфирного материала. А потом были вымотаны из корзины с отходами все оставшиеся срезки, склеены в общую ленту, и длина ее была зафиксирована в составленном акте. К счастью, ни кадра не пропало. Ленту из неиспользованных планов «консультанты» унесли с собой в запечатанных больших металлических коробках...

Услышав этот рассказ коллег, я только тогда по-настоящему понял, какую ответственность взял на себя, сохраняя несколько смотанных в рулончик кадров с изображением главного конструктора ракетно-космических систем.

30 июня 2004 года на Первом канале российского телевидения была показана передача «Секретный конструктор» о Владимире Николаевиче Челомее. В ней были использованы фрагменты из той передачи Юрия Александровича Летунова. Кинопленка, которую «перевели» на видео, за долгие годы хранения в архиве утратила чистоту цвета, резкость изображения, звук потерял ясность. В прежние годы строго ОТК допустило бы подобную съемку в эфир только в сопровождении целого ряда документов с влиятельными начальственными визами – «в по-

рядке исключения ввиду важности и уникальности видеоматериала». Сейчас же эта «пatina» прошедшего времени придает пленке особую ценность...

О Челомее в те годы, когда он еще активно работал, мы не раз говорили и с Валерием Рождественским, и с Вячеславом Зудовым, и с Юрием Петровичем Артюхиным. Они не просто любили и уважали его, они его боготворили! И от них это передавалось мне. Сейчас, вспоминая, о чем шла речь, я понимаю, что мои друзья-космонавты доверяли мне то, что человеку со стороны рассказывать было нельзя, небезопасно для них самих. Но во мне эта информация и оставалась, я ни с кем с ней делился. Пожалуй, только сейчас можно снять обет молчания, который я никогда не давал.

Помню, как им было обидно и горько оттого, что космическим разработкам Челомея после 1976 года не давали ходу. Из-за этого его космонавты, а это были военные космонавты – и командир, и бортинженер, – при самом высоком уровне подготовки становились «безработными», некоторые остались без повторных полетов, а иные так ни разу и не слетали на орбиту.

Как-то Валерий Рождественский мне сказал:

– Нам всем, кто на «Че» начинается, сейчас летать не дают, и не знаю, дадут ли... А ВэЭн говорит, что его новый космический корабль сядет точно там, где он забьет колышек... Понимаешь, он сделал пробный образец, покрыл его белой эмалью и послал на орбиту без экипажа. А когда он приземлился, то все поразились, потому что, пройдя через плотные слои атмосферы, он не обгорел, как все другие спутники, которые возвращаются черными, а остался таким же белым. Только кое-где чуть-чуть закоптился. ВэЭн вынул из кармана носовой платок и эти пятна вытер, а под ними нетронутая белая эмаль. А все объясняется просто: то ли сознательно, то ли по наитию – в любом случае гений всегда гений – Челомей нашел и употребил такой угол атаки при посадке, что его детищу оказался не страшен наружный жар, возникающий при трении об атмосферный воздух...

Однажды, будучи в гостях у Артюхина в Звездном городке и узнав, что он только что приехал от Челомея, я спросил:

– А что в кабинете у ВэЭна главное?

И услышал в ответ:

– Обычная школьная доска с набором мелков, на которой он тотчас просчитывает варианты обсуждаемых решений, переводит цифровые данные в чертежи и наоборот – чертежи в математические формулы...

Фирма Челомея – ОКБ – машиностроения располагалась в подмосковном Реутове. Туда к нему приезжали летавшие и не летавшие космические экипажи.

Так сложилось у Челомея, что он жил и творил в блокаде секретности, хотя сам был по натуре человеком очень эмоциональным, не скрывающим чувств, готовым поделиться своими впечатлениями с другими людьми. Он говорил «своим» космонавтам, что завидует им, потому что после полетов они имеют возможность открыто ездить по всему миру, отдыхать на Кубе. А вот он не может съездить даже в Польшу, чтобы побывать в маленькой деревеньке, которая называется Челомей. Как знать, может быть, там исток его рода?..

В кругу этих молодых военных, которые после полета в космос сразу же получали всемирную известность, он по окончании деловых занятий и бесед любил порассуждать о превратностях судьбы, о доле

случайного и предопределенного в жизни. Он рассказывал им, как в конце 30-х годов, когда гитлеровская Германия начала покорять одну европейскую страну за другой, его, молодого и перспективного ученого, вызвал Берия и предложил стать разведчиком, советским резидентом в Берлине.

— У нас там нет агентов, хорошо разбирающихся в технических проблемах оборонного значения, — сказал нарком внутренних дел СССР. — Ваши знания, использованные там, будут очень полезны для нас. То, что вы не знаете немецкого языка, не причина для отказа. Через полгода мы вас научим говорить по-немецки так, будто вы прирожденный немец. Мы позаботимся о том, чтобы у вас там был хороший дом, найдем вам хорошую жену. Вы будете неплохо жить, только нужно будет вести техническую разведку...

Челомей обвел взглядом двух молодых полковников авиации, в кабинете были и генералы с двумя и тремя звездами на погонах, и давние сотрудники КБ, но рассказ был адресован в первую очередь командиру и бортинженеру «Союза-23»:

— Ну, и что я, по-вашему, должен был ему ответить? В то время опасно было отказываться от поручений партии и правительства, а Берия был одним из высших руководителей страны. Сказав «нет», можно было вообще загнать лет на десять в Колыму вслед за Королевым. Я спросил, сколько времени у меня есть на раздумье. Берия ответил: «Даю вам сутки!» И тут меня прорвало: «Не нужны мне сутки, а сразу скажу, что я гораздо больше принесу пользы, если буду работать здесь военным конструктором, чем агентом в Германии!» Мой ответ прозвучал для Берии неожиданно, он не привык, чтобы ему отказывали. Стекла его пенсне удивленно блеснули, и он тихо сказал: «Хорошо, мы подумаем... Идите!» Оргвыводов не последовало... Вот я размышляю, что важнее — покориться судьбе или пойти ей наперекор? Как сделать единственно верный выбор? И вот что я вам скажу: нужно расслышать голос своей интуиции и довериться ей!.. Собственно говоря, вы поступили так же, когда поняли, что срывается стыковка с «Алмазом»...

Необходимое послесловие.

Комментарий через годы

...Почти через 25 лет после описываемых событий, летом 2001-го, когда Вячеслав Зудов был гостем моей передачи на Нижегородском телевидении, ему по телефону был задан вопрос: «Что же все-таки случилось у вас в полете, почему не удалось состыковаться со станцией “Салют-5”?»

Что касается меня, то от ставших мне за эти годы близкими друзьями Вячеслава и Валерия я давно слышал ответы на этот вопрос. Но каждый раз, когда кто-то опять и опять задавал его космонавтам, в их ответах возникали какие-то новые детали или подробности, о которых раньше не было речи. Я понимал, что дело тут в самоконтроле, в самоцензуре, которые вообще характерны для людей этой профессии. И только с годами эти чувства притупляются, появляется большая открытость. Да и просто уже нет смысла скрывать то, что было тайной за семью печатями много лет тому назад, а сейчас, лишившись грифа секретности, не принесет никакого урона ни престижу страны, ни ее обороноспособности...

– Вы знаете, есть инструкции, где сказано все, как поступать экипажу в том или ином случае. Еще в период подготовки мы с Валерием обратили внимание, что могут возникнуть нештатные ситуации, о которых в инструкциях ничего не сказано. Пусть они маловероятны, но они же могут возникнуть. За двое суток до старта во время связи с Центром управления полетами мы спросили, как нам поступать, если вдруг откажет система управления сближением нашего корабля со станцией. Корабль станет раскачиваться... В ЦУПе работают около тысячи или даже больше специалистов, у каждого из них кроме способности разбираться в общих проблемах есть своя узконаправленная сфера деятельности, в которой они сверхпрофессионалы и должны помогать нам находить решение, если мы его не знаем. Они сутки молчали, а потом нам пришел ответ: «Поступайте по инструкции!» Но в инструкции про это ничего не было сказано. Случилось на первый взгляд невероятное, можно подумать, что система управления сближением корабля со станцией мстила нам за то, что мы засомневались в ее исправности и задали каверзный вопрос ЦУПу. Но произошло именно то, чего мы опасались...

– Ты говорил мне, что у тебя все-таки была одна-единственная возможность выключить автоматику и состыковать корабль и станцию вручную...

– Но приходилось учитывать, что за время маневров, которые мы предпринимали в надежде, что автоматический режим все-таки работает, мы тратили топливо. И израсходовали его довольно много, так что у нас осталось только так называемое «рабочее тело», то есть такое количество топлива, которое составляет с кораблем как бы единый организм и может расходоваться только на возвращение с орбиты на Землю. При всех достоинствах «Салюта-5» у него был всего один стыковочный узел. И если бы я его занял, причалив вручную, то никакой другой «Союз»-спасатель не смог бы прийти к нам, чтобы забрать на борт и отвезти домой. По сути дела, мы могли бы стать пленниками станции. И ее пришлось бы вместе с нами опускать в океан и каким-то образом искать возможности нашего спасения после приводнения. Но все дело в том, что программой такой вариант не был предусмотрен, а предполагалось совсем другое: наработки всех экспедиций вместе с наиболее ценной аппаратурой будут эвакуированы на Землю на транспортных кораблях, а сама станция по окончании деятельности сгорит в плотных слоях атмосферы, и лишь обломки ее кое-где достигнут земной или водной поверхности...

Признаюсь, тогда в азарте, в обуревавшем нас желании оказаться внутри «Салюта», мы могли, несмотря на все запреты с Земли, принять свое решение и потратить «рабочее тело» на стыковку. Мы обговорили это между собой и были готовы к этому поступку, потому что рушилась многолетняя мечта: четыре раза мы дублировали другие экипажи, они уходили в полет, а мы начинали все сначала... И не окрики из ЦУПа побуждали нас не идти на отчаянный шаг, для нас начальства, по сути дела, уже не существовало. Просто верх взяла самодисциплина, помноженная на интуицию, и сознание, что нельзя быть эгоистами, потому что так будет хуже для дела, которому мы служим... И мы прошли мимо станции и пошли к Земле... А она встретила нас сильнейшим снежным бураном и соленым казахстанским озером Тенгиз... Ну, это особый и другой разговор...

Но и на этом испытания не закончились. Самое трудное было на Байконуре после возвращения, когда от нас ждали отчетов о полете.

Впервые в истории нашей космонавтики ТАСС сообщил, что отказала советская космическая техника. Раньше она тоже не раз и не два отказывала, но об этом никогда во всеуслышание не говорилось. А тут сказали. Значит, надо было признать, что сплеховали системы корабля «Союз». И тут началась война между двумя космическими гигантами – КБ Владимира Николаевича Челомея и КБ Валентина Петровича Глушко. А экипаж оказался между двух огней: мы же летали на корабле Глушко к станции Челомея, готовились к полету на той и на другой фирмах, и там и там сдали на отлично десятки экзаменов. В КБ Глушко в неудаче полета старались обвинить нас, будто мы что-то не так сделали и поэтому аппаратура повела себя неподобающим образом. Нам даже по-дружески советовали взять вину на себя и таким образом «прикрыть» недостатки корабля, обещали в самом скором времени предоставить нам другую возможность отличиться. Челомей нам всячески помогал выстоять и не поступиться истиной. Когда нас встречали в Звездном городке, правительственная комиссия еще окончательных выводов не сделала, и Владимир Николаевич своим присутствием рядом с нами демонстрировал всем, что мы под его надежной защитой и что он в обиду нас не даст. И не дал! В итоге правительственная комиссия признала действия экипажа правильными. И 5 ноября 1976 года был подписан Указ о присвоении мне и Валерию Рождественскому званий Героев Советского Союза. На торжественном приеме в Кремле после парада 7 ноября 1976 года Андриян Григорьевич Николаев сказал нам с Валерием: «Налейте в рюмки коньяка, пойдем знакомиться Леонидом Ильичом Брежневым!» Мы прошли через весь зал к главному столу. «Рад встрече с самыми молодыми нашими космонавтами! – приветствовал нас Брежнев. – Я из-за вас всю ночь не спал, ждал, когда вас спасут... Давайте выпьем за ваш подвиг – вы коньяк, а я морковного сока. Вот до чего дожил... Врачи не велят...»

А Валентин Петрович Глушко вместо поздравления сказал мне: «Вячеслав Дмитриевич, вы больше не полетите!..» Я бы, конечно, полетел, если бы министр обороны Устинов не мешал Челомею в осуществлении его космических программ. У Челомея был уже свой многоцелевой космический корабль. Но ему не дали подняться на орбиту. Из-за амбиций и ведомственной неразберихи не смогла проявить себя в полной мере челомеевская станция «Салют-5», которую Владимир Николаевич называл «Алмазом». Это было гениальное изделие, намного опередившее свое время. Она и сейчас была бы уникальной по своим возможностям. Она летала в космосе как самолет. И – сейчас уже можно сказать – несла на борту оружие, которое было испытано в космосе. Там была установлена пушка, и на ее вооружении было тридцать два снаряда. Были даже проведены пробные стрельбы. Челомей опасался, как бы из-за них не повредилась станция, не растрясла бы ее стрельба, не сдернула бы с орбиты. Но все закончилось благополучно. То, что в Голливуде снимали как фантастику звездных войн, реально произошло у нас на «Салюте-5» – «Алмазе», правда, в качестве испытаний...

Сейчас уже не секрет, что космонавты Челомея были военными разведчиками, вели наблюдение за наземными, морскими и космическими объектами. За ситуацией в космосе следили с помощью выведенного за борт станции перископа, действующего по тому же принципу, что и перископ в подводной лодке. А «вниз» смотрел фотоаппарат «Агат» с диаметром объектива в два метра, с фокусным расстоянием в шесть

метров. Пленка обрабатывалась методом сухой проявки. Фотофирма «Поляроид» занимала такую технологию гораздо позже. Специальная капсула, в которой было полкилометра готовой к печати кинопленки, весила полтонны. В случае приземления на чужой территории, если бы капсулой заинтересовались люди, не знающие ее кода, сработала бы программа самоликвидации, и пленка сгорела бы. Но все происходило штатно. И в советском Генштабе специалисты изучали уникальную посылку из занебесья. Правда, однажды часть того, что наснимали на орбите Павел Романович Попович и Юрий Петрович Артюхин, попала в руки американцев. А все потому, что наш Леонид Ильич Брежнев решил подарить кое-какие снимки президенту США Форду в 1975 году на Совещании по вопросам мира и безопасности, которое проходило в Хельсинки. Форда очень заинтересовал его кортеж в Вашингтоне, запечатленный с такой четкостью, что можно было сосчитать количество полос и звезд на флажке президентского «Линкольна». Наши дипломаты рассказывали, что после такого сувенира переговоры по разоружению стали гораздо продуктивнее и новые договоренности были отражены в итоговом документе Совещания.

Я напомнил Зудову, как однажды он показал мне сделанные из космоса две фотографии: фонтан кита в океане и выпрыгивающего из воды дельфина.

Вячеслав словно ждал, что я заговорю об этом:

– Понимаешь, мы были очень хорошо подготовлены. И видели многое, когда летали на «Союзе-23». И даже без особых приборов. В атмосфере бывают такие явления, их называют «окнами прозрачности», это определение ввели наши космонавты. Мне и Валерию Рождественскому посчастливилось их наблюдать и через них наблюдать Землю. Я, например, совершенно невооруженным глазом заметил у берегов США сухогруз с открытыми люками. Я точно определил, что это за корабль – марку его, окраску. Повторяю, мы были хорошо подготовлены...

Зудов несколько раз повторил эту фразу: «Мы были хорошо подготовлены...», не добавив при этом два слова, которые подразумевались: «...чтобы видеть!» Но тем не менее продолжал:

– А космонавты, работавшие на станции, видели, конечно, гораздо больше, потому что там была соответствующая аппаратура, которая позволяла выполнять во время пролета съемки земной и водной поверхности полосой в двести километров на протяжении всего витка. Представляешь, что это такое. Притом в разных ракурсах, к тому же в обычном видимом спектре, в ультрафиолете и в инфракрасном излучении. С очень высокой разрешающей способностью.

Очень давно, в первые дни нашего знакомства, Слава рассказал мне о задании, которое получили Борис Волинов и Виталий Жолобов, дублерами которых были Зудов и Рождественский. На «Салют-5» передали просьбу наших военных выяснить, где находится один из американских авианосцев. В последнее время он вдруг надолго пропал из поля зрения. И неизвестность беспокоила наш Генштаб. И космонавты отыскали его и пересчитали все «птички» на борту. Он отсиживался в одной тихой гавани. И делал это специально, чтобы озадачить наших генералов. Как только в печати появились его фотографии, авианосец вынужден был выйти из укрытия...

...Все лучшее, что было на «Салюте-5, в том числе системы управления орбитальным комплексом, было заимствовано у него создателями станции «Мир». Наш разговор в эфире с Зудовым происходил

вскоре после затопления «Мира» в океане, и, конечно, мы не могли не коснуться этой больной для многих из нас темы.

– Тут тебе звонят и спрашивают: «Мир» мог еще работать?

– Да, «Мир» мог еще работать, но только с экипажем на борту. Без экипажа – нет. Это было опасно. Потому что «Мир» был запрограммирован на пять лет работы на орбите, а он отработал в три раза больше – 15 лет. Много было поломок из-за износа систем, много было ремонтов. Без экипажа могла случиться авария, которую некому было бы устранить. Такая махина в режиме полного непослушания очень опасна.

– Но ведь экипажи у нас были, и очень опытные!

– Но не было денег! Были бы деньги, «Мир» и сегодня бы летал!..

Говорят, мол, сейчас есть МКС – Международная космическая станция. Но там мы все-таки гости, а не хозяева. И чувствуем себя там так, как чувствовали себя у нас на «Мире» экипажи посещения из других стран... Я уверен, что у России появится своя собственная станция на орбите и ее создатели обязательно воспользуются научным и конструкторским наследием Владимира Николаевича Челомея...

Ну, и заканчивая это повествование, решусь рассказать еще об одной маловероятной встрече с Владимиром Николаевичем. Почему – маловероятной? Потому что до сих пор не уверен, что она могла произойти при столь фантастических и обыденных обстоятельствах одновременно. В поезде московского метро!

Это было зимой или в начале весны 1983 года. Во второй половине дня, ближе к вечеру, я ехал от станции «Проспект Маркса» к «Университету». Кажется, после «Фрунзенской» освободилось место на диване, возле которого я стоял, державшись за поручни. И я сел. И вдруг увидел напротив себя через проход удивительно знакомого человека. Я даже сказал ему «Здравствуйте!», и он улыбнулся и кивнул мне в ответ. Только после этого я стал соображать, кто же это? Седой редкий зачес (меховая шапка лежала поверх небольшого кейса у него на коленях), небольшие припухлости под нижними веками, которые были видны за стеклами очков. Память прокручивала киноленту возможных встреч и остановилась на кадрах Звездного городка: Челомей! На нем даже была та же самая коричневая дубленка и так же расстегнута, как тогда, когда он обнимал за плечи Зудова и Рождественского, когда шел с ними по аллее Героев... Конечно, он меня не узнает и не может помнить, такими скоротечными были наши общения. Но Челомей ли это вообще? Наши взгляды снова встретились. Мы неловко покивали друг другу. Но тут на «Спортивной» вошли новые пассажиры и перекрыли наши «гляделки» друг на друга. Меня мучил вопрос: «Как может совершенно секретный человек один ехать в метро? А может быть, он не один? Где-то рядом в штатском его охрана?..»

Я вспомнил, как писатель Герман Нагаев, друживший с Сергеем Павловичем Королевым с тех пор, как катал с ним одну на двоих тачку с камнями на Колыме в 1937 году, рассказывал мне в Горьком в 1967 году на квартире нижегородского писателя Николая Ивановича Кочина, как в октябре 1957-го, вернувшись с Байконура после запуска первого искусственного спутника Земли, Сергей Павлович, запретив своей охране входить с ним в один вагон, сел в Подлипках в электричку, чтобы послушать, что люди говорят про его спутник. Это было рано утром, многие спешили на работу в Москву, пожилые женщины везли на рынок мешки с картошкой, корзины с овощами, бидоны с молоком. Коро-

лев затесался между ними, достал из кармана газету с аншлагом наверху через всю страницу: «Мир, затаив дыхание, слушает голос первого в истории человечества искусственного спутника Земли!» И сразу же соседки Сергея Павловича начали обсуждать это события, рассказывали, как не спали ночью, чтобы увидеть на небе светящуюся точку. А одна пожилая женщина прочувствованно сказала: «Ведь как жаль, что скрывают от нас человека, который все это придумал! Вот показали бы мне его, я бы ему весь бидон с молоком отдала бы задаром, чтобы пил на здоровье, а еще бы обняла и расцеловала!» Королев рассказывал, что чуть-чуть не выпалил: «Бабка, отдавай свой бидон, обнимай и целуй – это я!» – но, конечно, сдержался и, пожелав соседкам хорошей торговли, вышел на ближайшей платформе. Охрана едва успела выскочить за ним из двух ближних вагонов...

– Весь день я жил под впечатлением этой встречи в электричке! – признался Королев Нагаеву. – А придя домой, лег на диван, уткнулся носом в подушку и заревел. Мне было страшно жалко себя, потому что народ узнает обо мне только после моей смерти, а мои фотографии будут напечатаны в черных рамках...

Все так и произошло. И я вспомнил, как Челомей тогда в Звездном городке говорил нам с Маловым, что он не хочет судьбы Королева...

Может быть, Челомей вообще в метро едет на занятия в МГУ, он же преподает в Московском университете... И опять сомнения: да не Челомей это вовсе, просто похожий на него человек!..

Мы вышли с ним на станции «Университет». Неловко снова перекинулись. И, не сказав друг другу ни слова, пошли в разных направлениях: я на проспект Вернадского, он к МГУ. Я не видел, чтобы кто-то его сопровождал...

Протоиерей Владимир ГОФМАН

Родился в 1953 году в городе Городце Горьковской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, историко-филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского и Московскую духовную семинарию. До рукоположения в сан священника работал литейщиком на производстве, журналистом. С 1993 года – священник Русской православной церкви.

Автор ряда поэтических сборников, книг прозы и множества публицистических статей. Лауреат ряда литературных премий, за книгу рассказов «Персиковый сад» в 2012 году удостоен диплома 3-й степени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

КУПОЛА, СМОТРЯЩИЕ В НЕБО

Храмы Нижнего: между прошлым и будущим

Продолжение. Начало в № 5, 2019 – № 1, 2021

И ЕЩЕ ОБ УТРАЧЕННЫХ СВЯТЫНЯХ...

Когда-то в Нижнем Новгороде богослужение совершалось в 82 православных (включая единоверческие) храмах. Было – 36 часовен, 5 соборов, 31 приходская церковь, 27 домовых и 18 монастырских церквей. Лицо города было православным. Как и сердце.

Не много осталось после разрушения в лихую годину. «Строители новой жизни» не щадили прекрасные храмовые комплексы, надеясь, уничтожая церкви и церковнослужителей, уничтожить веру. Но, как известно, «врата адовы не одолеют» Церковь Христову (Мф.16:18). Веру уничтожить нельзя. Восстанавливаются святыни, строятся новые храмы Божии. И о тех, что утрачены навсегда, мы помним.

Н. Храмцовский в своей книге «История и описание Нижнего Новгорода» так говорит о Благовещенской площади (ныне Минина): «Площадь эта не велика, но редко можно встретить в губернских городах подобную: все здания, окружающие ее, каменные и очень красивы... На площади находятся две церкви: Благовещенская против гимназии (сейчас там стоит памятник Минину. – В.Г.) и святого Алексея митрополита, против общественного дома (в настоящее время на ее месте расположен фонтан. – В.Г.)...». Об этих двух храмах и расскажем.

Алексеевская церковь

Эта церковь была построена в 1642 году посредине Верхнебазарной (Благовещенской) площади «в воспоминание избавления народа от моровой язвы», бывшей в Н. Новгороде в 1655 году. Изначально она была деревянной и сгорела во время большого пожара 1715 года. В 1717–1719 гг. при митрополите Сильвестре (Волынском) перестроена в камне на средства прихожан и причта прежней церкви.

Главными храмоздателями выступили: священник Петр Иевлев и диакон Андрей Поздеев, капитан Ермолов и бароны Строгановы. Подьячий Тимофей Чичагов пожертвовал в храм Феодоровскую икону Божией Матери, богато украшенную. Эту икону впоследствии глубоко почитали нижегородцы. Иконостас был поставлен на средства бывшего вице-губернатора Юрия Андреевича Ржевского.

Спустя сто лет, в 1823 году, при архиепископе Моисее (Близнецове-Платонове), Алексеевская церковь была капитально перестроена, причем главный престол был посвящен Рождеству Пресвятой Богородицы (раньше он был освящен в честь Феодоровской иконы Божией Матери), а в трапезной устроены два придела: во имя Св. митрополита Алексия (правый) и Св. Александра Невского (левый). Главным храмоздателем на этот раз выступил вице-губернатор Ф. М. Стремоухов, который жил в Алексиевском приходе.

В обновленном храме поставили новый иконостас, все иконы в нем были написаны прихожанином церкви нижегородским живописцем академиком Петром Афанасьевичем Веденецким. Из почитаемых народом святынь в этой церкви была древняя икона Св. митрополита Алексия, греческого письма, икона эта находилась еще в деревянной Алексеевской церкви, а написана, по свидетельству М. Добровольского, в конце XVI столетия.

Среди украшений этой иконы особое место занимала панагия, в которой содержались частица Креста Господня, волосы великомученицы Варвары и частицы мощей праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, Св. Алексия Митрополита, священномученика Харлампия, мученика Иоанна Воина, Арсения Чудотворца, мученика Прокопия, Феодора Черниговского, Алексия человека Божия, первомученицы Феклы и Иоанна Блаженного.

У Храмцовского читаем: «Иконостас главного алтаря однарусный, в виде арки... отчасти сходен с петербургским Казанским: он отделан под белый мрамор и украшен ярко вызолоченными резьбой и колоннами; царские двери сквозной резьбы – на них представлен в древесных ветвях семисвечник... За клиросами находятся великолепные резные киоты в старинном вкусе с витыми колоннами, все ярко отзолоченные червонным золотом; в правом из них икона Воскресения Господня, а в левом – Феодоровской Божией Матери, бывшая храмовая, к которой жители Нижнего Новгорода имеют особенное уважение; она ныне украшена, кроме серебряных отзолоченных венца и полей, и жемчужного убруса, ризой, также жемчужной, с дорогими камнями. Стены холодного храма по местам покрыты живописными картинами – также работы господина Веденецкого, – представляющими страсти Христовы. Трапезные приделы однарусные, выкрашены белой краской и по местам отзолочены, образа в них частью иконописные, частью живописные... Снаружи Алексиевская церковь итальянской архитектуры, с одним большим, не очень высоким куполом; алтарь ее сделан выступом;

южный и северный фасады украшены колоннами, колокольня ее невысока, но пропорциональна самому храму; она увенчана шпилем. Вокруг всей церкви устроена деревянная решетчатая ограда. Вообще же Алексиевская церковь очень красива...»

Прекрасная была церковь, но и ее не пожалели новоявленные богоборцы. После революции она была взята на учет как памятник науки, в 1924 года губмузей обязал общину отреставрировать иконы и само здание храма. В 1928 году по инициативе бюро коммунальной секции Нижгорсовета, решено было снести церкви на Советской (бывшей Благовещенской) площади «как не представляющие архитектурной и исторической ценности, лишь мешающие благоустройству города». Чтобы соблюсти законность, организовали «требование общественности». В те годы это не составляло труда. В областной газете напечатали обращение рабочих Нижполиграфа о сносе церкви, его поддержали другие трудовые коллективы, и в результате храма не стало.

...Летом у фонтана на площади Минина снова станет многолюдно, будут сидеть на скамейках парочки, будут играть дети, а над фонтаном перекинется радуга... И маленький мальчик, подняв лицо к небу, увидит в воздухе сотканный из солнечных лучей белый храм.

Благовещенский собор

Первоначально на месте будущего храма стояла деревянная церковь во имя Св. великомученика Димитрия Солунского с приделом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Она была построена в 1378 году великим князем Нижегородским Дмитрием Константиновичем.

В конце XVII столетия церковь Святого Димитрия обветшала и тогда вместо ветхой деревянной церкви в 1696–1697 гг. построена была каменная пятиглавая Благовещенская. Освятил этот храм будущий митрополит Казанский и Свияжский Тихон (Тимофей Воинов).

О нем стоит рассказать особо. Н. Храмцовский пишет: «Еще в 1621 году, в приходе Димитрия Солунского, на Большой Печерской улице, недалеко от церкви Святых Афанасия и Кирилла... жил в собственном доме пушкарь Роман Иванов сын Войнов, с братом Иваном. Иван был усерден к церкви Божией, что свидетельствует вклад его в Димитриевский храм общей печатной Минеи, стоившей, по тогдашнему времени, значительной цены. Он имел сына Василия, женатого на Феодоре. Василий и Феодора сделались жертвой чумы: они умерли оба в один день 5 октября 1659 года и похоронены в церкви Димитрия Солунского. После них остался сын Тимофей не более одного года. Жена подъячего Панкратия Самарина Наталия взяла к себе сироту – она доводилась ему теткой – и заботилась о его воспитании и насаждении в душе его благочестия. В отроческом возрасте Тимофей твердо знал грамоту; любимым его занятием было чтение Святого Писания, молитва и пение в церкви Святого Димитрия, у гробов своих родителей...»

По жизни благочестивый Тимофей избрал монашеский путь. Он принял постриг от патриарха Иоакима, а в 1693 году был возведен в сан архимандрита московского Новоспасского монастыря. Тихону тогда было только тридцать пять лет. 8 октября 1697 году, при митрополите Трифилии (Инихове), Тихон освятил в Нижнем Новгороде Благовещенский собор с приделами Св. Димитрия Солунского (правый) и

трех вселенских святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого и с каменной колокольной.

Много владыка Тихон пожертвовал собору разной церковной утвари и богослужебных книг, а в 1700 году, проезжая через Нижний Новгород в Казань, пожертвовал еще и колокол «во 100 пудов 28 фунтов». До самой смерти, последовавшей в 1728 году, митрополит заботился о благосостоянии этого храма.

Через сто лет, когда собор снова обветшал, нашелся продолжатель дела владыки Тихона – коммерции советник Ф. П. Переpletчиков. Его стараниями и усердием собор опять засиял благолепием. Это было в 1831 году.

Благовещенский собор стал истинным украшением города. Снаружи он был построен в византийском стиле, пятиглавый, с небольшой колокольной, устроенной над папертью в виде опрокинутого колокола. Центральная глава была покрыта железом, остальные – черепицей. Главы венчали древние прорезные кресты.

Читаем у Храмцовского: «Ниже карниза всю ту часть церкви, где находится главный алтарь, или холодный храм, опоясывает кайма из расписанных зеленых кафлей, очень красивых и хорошо сохранившихся... Иконостас главного придела был устроен в соответствии со вкусами того времени (образцом служил Казанский собор Санкт-Петербурга). Стены украшены живописными изображениями, писанными на холсте, а верх сводов расписан водяными красками. Иконостасы в обоих трапезных приделах одинаковые, выкрашенные синей краской, с колоннами, отделанными под белый мрамор, с ярко вызолоченной резьбой...»

В соборе было много древних богато украшенных икон. Имелись также старинные большие серебряные евхаристические сосуды и водосвятная серебряная чаша, а также ковш серебряный, вызолоченный, с гербами императрицы Елизаветы Петровны.

Как уже говорилось, много утвари и книг пожертвовал сюда митрополит Тихон. Среди них Евангелие 1681 года в серебряном окладе, украшенное жемчугом и изумрудами с рельефными изображениями сошествия Господа во ад и четырех евангелистов. И еще одно Евангелие меньшего размера с собственной надписью Тихона. Также на престольный крест с частью животворящего древа Господня и частицами мощей угодников Божиих, обложенный серебряными листьями и украшенный камнями, с литым распятием, под которым находится следующая надпись: «Построил в милости Божией смиренный Тихон, царствующаго града Казани и Свяжска и прочих градов митрополит; мироздания 7218, от рождества Бога 1710».

И еще интересная деталь. На колокольной собора были два колокола, из которых на большом находится следующая надпись, сочиненная, по предположению, самим митрополитом Тихоном:

Возопи в слух кимпане людем правоверным,
Возвещай час молитвы гласом твоим безмерным
Возбуждай ленивых к церкви приходи
Еже бы им молитвы к Богу приносить.
Аще твоего гласа слушати не станет
И на общую молитву с людьми кто не встанет
Имати Бог такового ленивца смирят
И в день Страшнаго суда мщенье воздати.

А на другом колоколе сверху: «Благовестите день от дня спасение Бога нашего» и внизу: «Созижду церковь, и врата адовы не одолеют ей».

Не одолеют...

В 1920 году городской комитет коммунального хозяйства при Нижегородсовете запросил НКП о сносе Благовещенской церкви. Заведующий Главнаукой при НКП ответил 10 апреля 1920 года, что «Главнаука не препятствует» сносу храма при условии «тщательной фиксации обмерами и фотографиями под руководством музея». Однако храм чудом просуществовал до 1929 года, когда вместе с Алексеевской церковью был приговорен к сносу, чтобы расчистить место для парадов и демонстраций. Поначалу, по совету Главнауки, переделали церковь «под гражданский тип строения», и Нижгубисполком решением от 4 апреля 1929 года отдал здание храма под клуб инвалидов. Но, по настоянию Горсовета, 8 апреля 1930 года было принято решение церковь снести как «стесняющую движение». Снос церкви был завершён 18 августа 1930 года.

На месте Благовещенского собора стоит памятник спасителю Отечества гражданину Козьме Минину. Хочется видеть в его жесте не только призыв к борьбе с интервентами, но и к нашей совести, чтобы не допустили мы в своем Отечестве новых гуннов. Чтобы ничего не разрушали, а строили, воссылая хвалу Богу.

Подробнее об этих храмах можно прочитать в книгах: *Добровольский М.* Путеводитель по святым местам и церковным достопримечательностям г. Н. Новгорода. – Н. Новгород, 1912, *Храмцовский Н.* История и описание Нижнего Новгорода, Книги, Нижний Новгород, 2005, *Макарий Миротубов.* Памятники церковных древностей, *М. Добровольский* «Краткое описание Нижегородских церквей, монастырей и часовен», Нижний Новгород. Типография Губернского Правления, 1895 г.

Литпроцесс

Леонид ЮЗЕФОВИЧ

Родился в 1947 году в Москве, детство и юность прожил в посёлке Мотовилиха в Перми. В 1970 году окончил филологический факультет Пермского университета, служил в армии в Забайкалье, работал учителем истории в разных школах. Защитил кандидатскую диссертацию по русскому дипломатическому этикету XV–XVII веков.

Автор романов, а также историко-документальных книг. Лауреат премий «Национальный бестселлер» (2001, 2016) и «Большая книга» (2009, 2016). Произведения переведены на немецкий, итальянский, французский, польский, болгарский, сербский, испанский языки.

Живет в Москве и Санкт-Петербурге.

БОЛЬШЕ ЧЕМ БИОГРАФИЯ: СЕРГЕЙ ЕСЕНИН ГЛАЗАМИ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

Захар Прилепин. Есенин. Обещая встречу впереди. М.: Молодая гвардия, 2020

Это одна из лучших биографий, которые я когда-либо читал. Впрочем, это не вполне биография.

Это документальная проза, мастерски выстроенная, интонационно и ритмически выверенная, насыщенная реалиями хорошо знакомого автору мира, населенная десятками полнокровных персонажей, которые не только в качестве свиты играют короля, но живут сами по себе. Наконец, это просто захватывающее чтение. Начиная со второй четверти книги читаешь с нарастающим интересом, а от последних четырех сотен страниц трудно оторваться. Я прочел их за полтора дня.

Такие книги не пишутся, а складываются в процессе самой жизни. Отсюда многозначность, многослойность прилепинского «Есенина», воспринимаемые не как результат сознательных усилий, что часто вызывает недоверие, а как производное от многолетнего сосуществования автора и его героя. За годы близости отношения между ними не могли не меняться, и это оставило в книге свой след.

Не каждый писатель способен написать биографию, тем более биографию другого писателя. Статью – пожалуйста, ведь в таком тексте можно по-новому выявить себя на фоне другого, а потом с легким

сердцем разорвать эту ни к чему не обязывающую связь, но написать такую биографию, как у Прилепина, – значит быть готовым если не на полное самоотречение, то на самоуменьшение и подавление своей писательской индивидуальности точно. Ты можешь втайне отождествлять себя с героем или, по крайней мере, видеть свое с ним сходство и сходство его эпохи с твоей собственной, но не это заставляет тебя тратить свою единственную жизнь на реконструкцию чужой. Истинная причина – любовь или, если выражаться менее пафосно, жгучий, отчасти необъяснимый интерес, который для пишущего человека есть разновидность любви. На этом причинно-следственная цепь обрывается. Любовь, в отличие от ненависти, причин не имеет.

Биограф свободно выбирает героя и тут же лишается свободы. Теперь его сковывает чувство долга перед избранником и всеми, с кем он был связан. Все они как смогли прожили свою жизнь и умерли, этого достаточно, чтобы отнестись к ним с уважением. Прилепин не судит их и не пользуется ими, чтобы через них высказать что-то для него важное. Даже для какого-нибудь вороватого Ивана Приблудного у него находится доброе слово. В огромной книге о самой, может быть, важной и страшной эпохе русской истории, о временах, когда ангелы и демоны то и дело менялись личинами, нет сколько-нибудь заметных отрицательных персонажей. Это высшее писательское искусство – уметь сказать правду, никому не предъявляя обвинений и не вынося приговоров. Ну, может быть, по какому-то частному поводу. А человеку как личности, всей его жизни – никогда.

Несколько лет назад Прилепин выпустил отличную биографию Леонова, но при ее чтении пульс мой не учащался. Кто-то любит Леонова, кто-то предпочитает Добычина или Бабеля, а кто-то и вовсе Ивана Шмелева. Я спокойно отношусь ко всем этим любовям. Ни с Леоновым, ни с Бабелем я не делю ложе и не напеваю абзацы их прозы на утренних прогулках. Иное дело – поэты. Здесь мои чувства сильны, а вытекающие из них мнения не всегда справедливы. Помню, как один хороший прозаик сказал при мне, что считает Андрея Белого поэтом более значительным, чем Блок. С тех пор этот прозаик для меня не существует. Думаю, это ревностное чувство не чуждо и любящему поэзию Прилепину, а уж как оно было близко его герою, и говорить нечего. Тем не менее автор ему не поддался – ни один поэт здесь не унижен за счет Есенина, ни одному не указано его место в прихожей.

Есенин не принадлежит к числу самых моих любимых поэтов, но, как всякий выросший в России человек, я помню наизусть десятки его строф и сотни строк. Он во мне растворен – с детства, с маминого голоса, с одной из двух поэтических книжек в нашей домашней библиотеке (вторая – Блок, Маяковский появился позже; Пушкин и Лермонтов не в счет). Некоторые периоды моей жизни четко маркированы есенинскими стихами. Когда в юности я жил в Забайкалье и один из друзей написал мне, что моя оставшаяся в Перми подружка крутит роман с нашим общим приятелем, я, помню, твердил целыми днями: «Пускай ты выпита другим, / Но мне осталось, мне осталось / Твоих волос стеклянный дым...». Тот факт, что волосы изменницы никак не подпадали под такое определение, не имел значения. Эта девушка и тот приятель, у которого был с ней роман, и друг, известивший меня о ее неверности, давно умерли, но есенинский «стеклянный дым» до сих пор рвет мне сердце.

За последние лет десять я прочел несколько биографий русских поэтов XX века. Мне кажется, главная проблема этих прекрасных жизнеописаний – в герое. Он остается набором сведений о нем или выглядит как человек, который позировал художнику, стоя за москитной сеткой. Иногда слышишь, что полезнее прочесть сборник документов и воспоминаний о каком-нибудь историческом персонаже, чем его биографию. Как историк я должен разочаровать любителей первоисточников: глядя на героя глазами разных людей в разные периоды его жизни, мы никогда не сложим из рассыпанной перед нами мемуарной мозаики цельный образ, если не посвятим этому не очень благодарному занятию долгие месяцы, а еще лучше – годы. Кто-то должен собрать вместе кусочки смальты и не просто разложить их в правильном порядке, но и дохнуть на них собственным тварным теплом.

Первую пару сотен страниц прилепинского «Есенина» прочитываешь скорее из добросовестности, с чувством, что автор отдал тут долг условностям, а так-то сократил бы константиновское детство или даже отрубил бы его, как Чехов советовал поступать с началом рассказа, когда рассказ закончен. Лишь позже понимаешь, что это позволяет Прилепину в дальнейшем просто рассказывать, избегая иссушающих текст объяснений. Первая пара сотен страниц делает героя тяжелым и в силу этой тяжести – понятным, как заложенный в основание шахматной фигуры свинец придает ей устойчивость. На третьей сотне из тысячи с лишним книжных страниц вдруг замечаешь, что, хотя автор по-прежнему ничего тебе не объясняет и не пытается залезть в душу герою, ты вдруг начинаешь его понимать. Герой не разобран, что у него внутри, не вполне ясно, но никаких вопросов его поведение больше не вызывает. Более того, начинаешь испытывать живейшую симпатию к этому не особо, в общем-то, и приятному, хитроватому, чудовищно тщеславному Сереже Есенину. Прилепин сумел сделать так, что мы почти физически чувствуем отмеченное всеми современниками невероятное есенинское обаяние. Масштаб личности поэта угадывается еще и по силе воздействия его на людей, а не только по стихам.

Обычная правильная биография – жанр рациональный, читатель шагает над бездной по прочному мосту из цитат и фактов, едва чувствуя дыхание клубящейся между опорами тьмы. У Прилепина мост подвесной, шаткий. Он не фантазирует, он всего лишь комментирует, иногда позволяет себе дорисовывать картинку, но мы все время ощущаем смешанные с ужасом и отчаянием азарт и счастье подлинной жизни, не сводимые к сведениям о ней.

Вот Есенин устраивает очередной скандал, попадает в милицию и проводит там ночь. А утром следующего дня одновременно выходят «Известия» с его «Железным Миргородом» и «Правда» со статьей Троцкого, где Есенин назван одним из трех, наряду с Маяковским и Тихоновым, лучших советских поэтов. Рассказ об этом Прилепин завершает необязательной вроде бы ремаркой: «Сентябрьское утро; один из главных поэтов огромной страны, жмурясь на солнышке, помятый и улыбающийся, выходит из отделения в сопровождении любящей его брюнетки (Галины Бениславской, которая вызволила его из заточения. – Л. Ю.)... Галя чуть поддерживает Сергея, они проходят мимо лотка, где продают две главные государственные газеты; в одной этот поэт кланет капиталистический Запад, во второй – большевистский вождь со всеми неизбежными оговорками славословит поэта. Жизнь во всей ее полноте».

Кто-то поморщится, читая это никакими документами не подтвержденное «жмурясь на солнышке», но только не я. Тут же, через десятилетия и прочие разделительные вехи, я чувствую родство с этим везунчиком. Мне легко представить себя, молодого, в той же ситуации. Разве что вместо брюнетки будет блондинка, вместо «Известий» – газета «Молодая гвардия», орган пермского обкома ВЛКСМ, с моими стихами, а вместо «Правды» – «Вечерняя Пермь» с благосклонной рецензией на выпущенный областным издательством поэтический альманах, на обложке которого в числе прочих есть и моя фамилия.

В книге множество рассеянных по тексту точных мыслей и наблюдений. Они потому и волнуют, что не имеют ничего общего с отвлеченным умозрением и, чувствуется, родились в тот момент, когда автор пропускал через себя именно этот кусок жизни героя. Рассказ о событиях, слитый с размышлением о них как о частном случае чего-то большего, превращает биографию Есенина во что-то большее, чем просто биография.

Вот, говоря об умирающих отношениях Есенина с имажинистами, Прилепин замечает: «Есенин отдалялся от имажинизма не в силу исчерпанности школы, – хотя брать оттуда ему действительно было уже нечего, – а в силу исчерпанности дружбы или, шире, молодости».

Или о состоянии Есенина после внезапной смерти друга, поэта Ширяевца: «Он ведь видел его за пять дней до смерти, потому и был потрясен... Не может же смерть без каких-то предварительных кружений взять и клюнуть в голову! Так быстро можно только самому собраться и уйти. И причина ухода вовсе не должна быть социально вычерчена и очевидна. Сама по себе жизнь – достаточная причина, чтобы умереть».

Есть здесь и еврейская тема – куда от нее денешься в книге о Есенине. Мне как «носителю еврейской крови» (выражение Прилепина применительно к Шершеневичу и Мариенгофу) кое-какие вещи могут быть здесь неприятны, но ни малейших оснований оскорбляться у меня нет. Все сказано прямо и в то же время деликатно. Это вообще особый человеческий, а как следствие – и писательский дар: без специальных усилий, без натужности, которая сводит на нет благие намерения, всех понимать, но неизменно держаться той стороны, которую выбрал как свою.

От себя добавлю, что, когда за обвиненного в антисемитизме Есенина вступались Михаил Слонимский, Андрей Соболев, Абрам Эфрос или ничем не прославившая свое имя слушательница литературных курсов Зельма Гельфанд, тут, помимо прочего, проявлялась та же неотягощенная национальным чувством тяга к справедливости, которая приводила еврейских юношей и девушек в ряды заступников русского крестьянства – народников и эсеров. Лучше всего об этом сказал автор «Романа с кокаином» М. Агеев, он же Марк Леви, в поразительном рассказе «Паршивый народ».

Прилепин не ищет оправданий многочисленным есенинским безобразиям последних лет жизни, он даже редко пытается их объяснить. Что тут объяснять? Все понятно, оправдательные документы в виде стихов давно предъявлены, а сам Есенин уже настолько живой, что его органика не требует комментариев. В большинстве случаев Прилепин не старается и заполнить таинственный зазор между Есениным-человеком и Есениным-поэтом. Для него несомненно, что в самой этой загадке больше смысла, чем может иметь любой ответ.

Зато мнимые загадки его не интересуют. В искусственной тайне всегда есть дух пошлости, ее создателям изменяют и логика, и вкус. Версия об убийстве Есенина неприемлема для Прилепина не потому, что он как государственный и поклонник СССР не желает винить в его гибели советское государство, а потому что любая мутная конспирология вокруг смерти Есенина – оскорбление памяти не только его друзей, запросто объявляемых убийцами, но и самого поэта. Принять ее – значит трагедию подменить остросюжетной мещанской драмой с участием спецслужб, усомниться в том, что завершенность судьбы оказалась для него не совместима с продолжением жизни.

В есениноведении я профан. Не мне судить, насколько основательно и оригинально все то, что Прилепин говорит о стихах Есенина, но, если он хотел нарисовать портрет поэта с едва ли не случайно доставшимся ему чудным даром, упорно венчающего «розу белую с черною жабой», отмеченного «роковой печатью» или «особой метой» времени, в котором он жил, и народа, из которого он вышел, Прилепину это удалось. Его книга – из тех немногих, достоверно воссоздающих историю реальных людей, при чтении которых возникает ни с чем не сравнимое чувство, что пока последние страницы не перевернуты, жизнь героя еще длится.

Эдуард КУЗНЕЦОВ

Родился в 1941 году в Горьком. Окончил химический факультет Горьковского госуниверситета и более 40 лет проработал на Горьковском автомобильном заводе.

Крупнейший в России коллекционер пародии, эпиграммы, шаржа, исследователь сатирических жанров, автор 12 книг по этой тематике и более сотни статей в российской периодической печати. Лауреат премий имени Горького (2006, 2012) и «Бриллиантовый Дюк» (Одесса, 2013).

Живет в Нижнем Новгороде

ЗЕМНАЯ, НО НЕ ПРИЗЕМЛЁННАЯ

О стихах Людмилы Калининой

Строка Леонида Завальнюка «Деревья, птицы, облака...» всякий раз приходит на ум, когда читаешь стихи Людмилы Калининой. Родные пейзажи насыщают их лесными и луговыми ароматами, грозowymi и метельными ветрами, плеском воды, птичьим гомоном, разноцветьем трав. Одно перечисление упомянутых в стихах деревьев распаивает перед читателем целый мир с дубравами, ельниками, березняками, сосновыми борами, с ветлами и вишнями, тополями и черемухами, яблонями, вязами, клёнами.

Есть такая затёртая, но обладающая глубинным смыслом фраза: родом из детства. К Калининой она относится самым непосредственным образом: в её стихах масса деталей и ощущений, навеянных деревенским детством. Тут и сказочные фантазии – липовая нога медведя, царевна в хрустальном гробу, черти в трубе, тут и элементы реального быта – печка, клубок с вязальными спицами, вёдра на коромысле... И яркие воспоминания о родительском доме, о материнских наставлениях, о пережитых праздниках. Впечатления детства не только запомнились, но и не отпускают всю жизнь. Из далёких детских лет в минуты испытаний приходит на помощь и лечит давнее чувство домашней защищённости:

У порога, знаю наперёд –
Стоит печку обхватить руками,
Ледяная боль воспоминаний
Медленно
С ломотой
Отойдёт.

Биография Калининой богата и разнообразна: ей довелось пожить и в городе, и в деревне, потрудиться и в провинциальной глубинке, и в столице, быть и исполнителем, и руководителем, общаться с людьми разного уровня. Знакомясь с её стихами, читатель познаёт автора как человека умудрённого опытом, но одновременно не чуждого сомнениям, склонного к противоречивым раздумьям. Условия земного бытия воспринимаются им (и это передаётся читателю) не монохромно, а в многоцветной повседневности – от забот, проблем и несчастий до озарений, праздников и чудес.

Поэзия Калининой – земная, но не приземлённая. В ней нет заумных рассуждений, модного философствования, кокетливого заигрывания с читателем, в ней – монолог человека, видящего мир по-своему и умело приобщающего к нему потенциального собеседника. Происходит это без дидактики, банальностей и стереотипов: в стихах поэта нет упрощенного подхода к действительности, нет записного оптимизма, но нет и надлома, пасования перед сложностями существования. Кредо поэта (в прямом и переносном смысле): сквозь метель увидеть весенние всходы.

Природа – постоянный объект внимания Калининой. Уже говорилось о деревьях, населяющих её стихи, к ним можно добавить десятки названий трав и цветов, малых и больших обитателей лесов и полей. Без мистики и символизма деревья, цветы, птицы, звери входят в плоть её стихов одними из действующих лиц (может быть, и не главными, но всегда – не второстепенными). Пожалуй, только у Паустовского можно встретить подобное пристальное внимание к окружающей природе, не абстрактно-визуальное, а внутренне увлечённое и заинтересованное.

Бор задумчивый, дремучий,
Ты стоишь на чистых мхах,
На песчаных зыбких кручах,
На кукушкиных слезах...

Созерцательность, без которой невозможен контакт с природой, у Калининой не пассивная, не равнодушная, а внимательная и прочувствованная.

Слежу за трепетом листа,
Что с ветки падает на землю –

казалось бы, чего проще и обыденней, но за этим целый ворох впечатлений и чувств. Поэтому мало сказать, что Калинина – мастер пейзажа: он у неё не фон, не декорация, а то, без чего жизнь не может состояться в полном объёме, без чего и горе и радость (да и вообще судьба) однобоки. Даже когда речь идёт о важных событиях или о личных переживаниях, мысль поэта не останавливается на сугубо сюжетных поворотах, их неизменно сопровождают шум ветра, свет звёзд, весенний гром, завыванье вьюги... Не случайно в названиях её книг «Апрель в разбеге» и «Птица в сентябре» главные временные отметины – месяцы слома природы, её возрождение и засыпание – напрямую связаны с чувствами и ощущениями людей. Они берегут и тревожат душу любого неравнодушного человека.

Нельзя сказать, что городу не нашлось места в лирике Калининой. В разных сюжетных вариантах он время от времени появляется. Но у поэта

и на улицах мегаполиса мысли то и дело возвращаются туда, где «деревья, птицы, облака»:

На дальний свет лесной глуши
Иду сквозь пёстрый блеск рекламы.

При таком трепетном отношении к природе естественно, что стихи автора оказались пропитаны русскими фольклорными мотивами. Поэтическое слово Калининой накрепко связано с народным творчеством, в её стихах можно встретить переключки со сказками, песнями, плачами, заклинаниями, не удивляет появление в них Домового и Лешего, Бабы-яги, горюч-камня, Жар-птицы, Китеж-града... (Берёза у неё называется подругой, дождь – дорогим гостем). Нередко мороз, ветер, вьюга, метель преподносятся как символы испытаний и неблагополучия, и наоборот – огонь, весна, солнце, пение птиц – воспринимаются как явления жизненного оптимизма.

Образность поэтического языка Калининой базируется не на экстравагантных выдумках, а рождена естественным ходом стиха, всем строем чувств: «нас связывает то, что разлучает», «недогоревшее – не тронь», «не повернуть дорогу вспять»... Параллельно рождаются своеобразные словосочетания, основанные на умении видеть и чувствовать по-своему: кленовая ладонь, око проруби, колючки печали, сосновый звон, продрогшие двери, растаявший огонь, пятерня мороза на окне... У неё даже метель гудит как в паровозной топке.

О стихах Калининой писали в газетах, журналах, интернете. О них говорили на творческих встречах в библиотеках, городских и сельских клубах, на них писали пародии (на скучные и невыразительные произведения пародий не пишут).

По словам Калининой, в последнее время её всё больше занимает поэзия гражданская. Да, с годами даже самых популярных поэтов-лириков начинает волновать гражданская тематика: накопленные впечатления, жизненный опыт подталкивают к освоению прозы. Не избежала этого и Калинина. Она всегда очень трепетно относилась к поэтам старшего поколения, с любовью отмечала тех, у кого училась, чьи стихи ложились на душу. О наиболее близких, наставниках писала эссе и мемуарные заметки. Недавно вышедшую книгу «До слёз любя страну родную» она посвятила людям нелёгкой судьбы, кровно связанному с отечественной литературой – протопопу Аввакуму, Николаю Клюеву, Борису Корнилову, Александру Люкину, Фёдору Сухову. Калинина немало поработала над составляющими книгу очерками; они не явились плодом всего лишь застольных размышлений. Пришлось поехать по разным местам, повстречаться с множеством людей, поработать в архивах, отыскать неизвестные и неизученные рукописи, документы, письма. Тут не возникает сомнений в интересе поэта к общественным проблемам. Но не забыта была и лирика – в ней тоже немалое место уделено гражданской тематике:

В сердце кольнёт – и оно растревожено,
Боль на мирскую тревогу помножена...

О многом в стихах не говорится «в лоб», но подразумевается и в строчках, и между ними:

К синю морю убегают реки,
Знаю, не уходят реки вспять...
Мы с тобою жили в прошлом веке,
Нам с тобою было что терять...

Когда-то лет 20-30 назад Калинина написала эпиграмму на Никиту Михалкова, часто приезжавшего в Нижний Новгород в перестроечные годы. Эпиграмма была, что называется, на злобу дня, не только о личности, но и о ситуации.

Когда идёт ко дну культура,
Чтоб удержать — нужна фигура!
Самозабвенно и открыто
Бьёт в вечевой набат Никита.

То, что эпиграмма «зрила в корень», сегодня становится особенно ясно. Как оказывается, при необходимости и лирический поэт может резко и чётко выразить свою гражданскую позицию и в сатирической форме.

Ясно, что сегодня богатый спектр возможностей позволяет Калининой свободно выходить на контакт с читателями в любой ипостаси: поэта, историка, литературоведа, критика, публициста. Поэтому и дальнейшие встречи с ней ожидаются с неослабеваемым интересом.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и библиографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 05.04.2021.
Выпущено в свет 26.04.2021.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Заказ
Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13